

6

ГАММЛЕЯ

Литературно-художественный журнал

Гаммлея

Израиль
2002

6

ГАЛИЛЕЯ

Литературно-художественный журнал

№ 6

**Федерация Союзов писателей
Государства Израиль
(северное отделение)
Центр культуры олим
Министерства абсорбции
Литературное объединение “Галилея”
Амута “Мишпаха – байт хазак”**

**Издательство
Федерации Союзов писателей
Государства Израиль
2002-2003**

“Галилея” – общеизраильский журнал

“В переводе с оригинала слово “Галиль” (Галилея) обозначает два понятия. Первое – некое пространство земного проживания, очерченное кругом, округ. Второе – сверток. Я бы разыграл эти понятия следующим образом: округ – это пространство, сверток – свернутое наподобие священного свитка время этих мест, несущее события, ставшие поистине главнейшими в жизни человечества”.

Из напутствия Ефрема Бауха первому номеру журнала “Галилея”

**Журнал выходит в свет при содействии Министерства абсорбции
Государства Израиль**

Главный редактор Марк Азов

Редакционная коллегия:

**Валерия Барташник, Виктор Зильман, Михаил Лезинский,
Анна Реак (ответственный секретарь), Юрий Супоницкий,
Грегори Фридберг, Роман Цивин,**

Художник – Мирьям Азова

На обложке фото Грегори Фридберга

OCR Давид Титиевский, июль 2019 г., Хайфа

Copyright “Galilea”

**No part of this publication may be reproduced in any form or by any
means, without permission**

All rights reserved

ISBN 965-8798-27-6

Я ДЕРЕВОМ БЫЛА...



Анна ФИШЕЛЕВА

Я ДЕРЕВОМ БЫЛА...

Всего лишь дерево срубили,
Всего лишь дерева не стало.
Одним гвоздем пошевелили
В кресте распятого квартала

Но, ухватив за полы тучи
И потащив за рельсы город,
Мы все ползем, привстав на сучьях,
Оставив небо без опоры.

* * *

Я, может, этим деревом была.
А может быть, соседнею осиной.
Разломом влажным – желтой древесиной.
Лишайником в шершавинах ствола.

Я продолжала странную игру:
Распространялась, слушала, тянулась.
К рассеянному небу прикоснулась,
Развеялась, забылась на ветру

В мой бедный бок впирается пила.
Я накренюсь со скрежетом и скрипом.
Нет, я кричу невыкричанным криком
И падаю. Я деревом была

Анна Реак-Гофштейн

ПАМЯТИ АННЫ ФИШЕЛЕВОЙ

К сожалению, имя поэта Анны Фишелевой знакомо не многим. Еще к большому сожалению, стихов Анна Фишелева написала не так уж много. И больше не напишет. В апреле 2002-го исполнился год, как она покинула этот мир. Вышли в свет две ее книги. “Дожди. Деревья” – при жизни. “Города, дороги” – посмертно. Поэзия Фишелевой – явление великое, уникальное. В ее творчестве, идущем из самых глубин души, нет напряжения, потуг. Это поток эмоций, мыслей, глубоких философских раздумий, облеченный в такую легкую словесную оболочку, в такое жонглирование словами, которое под силу лишь Великому Мастеру. Уже у самой черты, уже предчувствуя финал, даже о смерти она говорит легко, как будто смеясь над самой собой. А это дано только сильной личности.

*Со смертью наперегонки
Стишата я кропаю.
Свои ленивые мозги
Работой занимаю.
Быть может, там,
За кромкой дня,
Не будет ручки у меня.
Ну да! Не будет ручки –
Писать вот эти штучки.*

Анна Фишелева жила в нашем городе, среди нас, но не на виду – она не любила “выходить в свет” и не искала популярности. Я познакомилась с ней и ее стихами здесь, в Нацрат-Илите. Вначале со стихами – они потрясли меня. Они проникли в мою душу, просочились в каждую мою клетку. Так откликлось мое сердце лишь на стихи Марины Цветаевой. Как удавалось ей простые слова складывать в строки, за которыми, как за закрытыми ставнями, угадывался подтекст, полный боли, одиночества, поиска ответов на вечные

вопросы бытия. И конкретика, сжатость стихотворной формы давала эти ответы:

*Ты маленький. Но мир не так велик.
Не унывай. Он всем пошит по росту.
Прочны стропила. Крепок звездный остов.
А я – скорлупка в гнездышке Земли.*

Каждый находит в этом мире свое место, свою нишу. Ниша Анны Фишевой была интровертна, но не отстранена, не чужда, миру – она была открыта для всех, кто в ней нуждался.

*Меня не слушает никто.
Я вся – одно сплошное ухо.
Я – это только орган слуха.
Меня не слушает никто.*

*Меня не слушает никто.
Я слышу все: беззвучный шепот,
Обиды, смех, скольженье, топот. –
Меня не слушает никто.*

Боль других – будь то дерево, травинка или собака; люди близкие или в далекой Чечне – была ей близка. Ее огромные библейские глаза плакали не только от боли собственного тела.

*Не сплю. Ожидаю восьми,
Припасть к телерту-телеглазу,
Лизать эту рану, заразу –
В отрепьях на пастбище мин.
Россия скребется во мне,
Чечня загоняет в чахотку.
Ты, Боже, не прав ни на йотку –
По-черному топят в Чечне.
Не сплю. Ожидаю восьми.
Смыкаются челюсти века.
О Боже! Отдай человека,
Возьми мою душу, возьми.*

Трудно поверить, что Анна Фишелева начала писать стихи лишь в 54 года. Ее восприятие мира так по-детски чисто и наивно, она видит суть явлений, самое ядро, отмечая мирские суетные покровы, в которые мы, взрослые, привыкли рядить все. Ее манера стихосложения не дает поверить, что строки эти написаны немолодым уже человеком. Впрочем, она и сама принимает свой зрелый возраст по-детски, и то, о чем многие пишут слезливо и с сожалением, она – шутливо и дурашливо.

*Я – маска бабушки седой.
Старушки, тронутой забвеньем.
Ворчу, талдычу изреченья,
Заветы мудрости пустой.
Распространилась я в себе,
Граница – ношенная кожа.
Сосуд божествен и безбожен –
Ловушка радостей и бед.
Мне хорошо сидеть во мне,
Подслеповатой оболочке,
Казаться внуку или дочке
Необитаемой вполне.
Мне хорошо сидеть в тюрьме
И видеть свет в кромешной тьме.*

Помню, как трудно было мне готовить передачу о поэзии Анны Фишелевой на радио “Коль рэга”. Делать анализ талантливых стихов – верный способ все испортить. Тогда я предпочла просто читать стихи, предпослав им несколько строк о поэтессе. В ее стихах много раздумий о Боге, о мире, окружающем нас, о смерти.

*Я закрываю Мир. Открытие его
Так долго, так нелепо продолжалось.
Вся колготня на жалости держалась,
На горечи. И больше ничего.*

Стихи ее искренни. Это, по сути, дневник поэтессы, исповедь, выворачивание себя наизнанку. Она писала не для чужих глаз – для себя. Обе ее книги стихов изданы благодаря настойчивому участию близких ей людей, сумевших оценить ее высокий талант. Вот что пишут о ней люди, имевшие счастье быть знакомыми с ней.

Вильям Баткин

“...Я КРИЧУ НЕВЫКРИЧАННЫМ КРИКОМ”

Имя израильской поэтессы Анны Фишелевой – не на слуху, не в “обойме” громких имен. Участница Второй мировой войны, на фронт ушла со студенческой скамьи Харьковского университета, в Израиле жила с 1994 года, автор книги стихов “Дожди. Деревья” (1997), член редколлегии литературно-художественного альманаха “Галилея”, жила в Нацрат-Илите. Увы, этот глагол – лаконичный, исчерпывающий, – я вынужден применить в прошедшем времени. Увы, в конце апреля 2001 года Анна Фишелева умерла в Харькове, где гостила у дочери – известной поэтессы Инны Сухоруковой. Ее покойные родители – Анна Яковлевна Фишелева и Борис Васильевич Сухоруков – были не просто милыми интеллигентными людьми, любящими и писавшими стихи, зачастую, по тем временам, крамольные, – они были знатоками русской, украинской и мировой поэзии, в их доме – Сухоруковском – умело и ненавязчиво приобщали к культуре молодую поросль, в пятидесятых годах – и автора этих строк.

Чем пленила меня поэзия Анны Фишелевой?

Прежде всего – страстным, сильным голосом и предельной искренней исповедальностью, и своеобразной, чистой, как январский снег Хермона, русской речью, и отточенностью стиха, точностью метафор, которыми щедро пересыпаны ее строки. Стихи этой внешне хрупкой женщины напрочь лишены слезливой сентиментальности, в мастерской напряженности стиха нет нервного возбуждения, в мастерстве – нарочитой искусности или сноровки.

*Сама себя преследую, как тать.
Душа сидит неровно в брennom теле.
И хочется тихонько расшатать
И вынуть, будто щепочку из щели.*

*Мой дом жесток. И широка постель.
О старость! Одиночества синоним.
А ветры беспощадных скоростей
Рвут тишину с приспущенных ладоней.*

*Молчу, молчу. Мой бешеный покой
Вам ни к чему. И одарить вас – нечем.*

*Слежу, как затихает под рукой
Лохматый век, который так не вечен.*

Намеренно в своих прощальных строках об Анне Фишелевой я предоставляю слово самой поэтессе – уверен, читатель сам оценит, высоко и по достоинству ее поэзию, особенно стихи, написанные в Израиле, – у нее свой взгляд на свою, на нашу судьбу.

*...Нет времени на то, чтоб полюбить,
К Святой земле прижаться и прижиться.
Нет времени на то, чтоб возвратиться,
Нет времени, нет времени забыть.*

Или:

*...Я глажу одиночество, как пса,
По шерсти и чишу его за ухом.
И всем нутром и потаенным слухом
Храню времен прошедших чудеса.*

Проходит время, и радость общения с Землей Обетованной диктует иные строки, отыскиваются или отлавливаются иные образы.

*И вот хамсин, отвязанный, нагой,
Всей широтой раскованной натуры
Придавит роцу пятернею бурой,
И камни заклокочут под ногой.
Тогда – твоя. И рядом, на горбе,
Завоют эвкалипты и заплачут.
Я в этом доме есть. Живу и значу.
Клеймо меняю в масть своей судьбе.*

Судьбе было угодно, уверен – сама поэтесса изменила масть своей судьбе, – ее безмолвная воля выполнена: родная дочь закрыла ей глаза, на черноземном харьковском погосте – дождалось место рядышком с другом, мужем, поэтом.

Благословенна ее память.

“В НЕБЫТИИ ХОЧУ СОБОЙ, САМОЙ СОБОЮ БЫТЬ”

Марк Азов

Я знал Анну Фишелеву с первых послевоенных лет. Ее муж, Борис Сухо-руков, поэт и фронтовой корреспондент, был моим другом. Все мы – и Анна Яковлевна тоже участник войны – вышли из шинели, но не гоголевской, а серой солдатской. Мне кажется, Аня всю внешнюю оболочку жизни всегда ощущала на себе, как шинель, жесткую, колючую (в Украине говорят “кост-рубатую”). Вся в бытовых заботах о родных, чужих и просто случайных людях, всеобщий исповедник, носитель горестей и радостей окружающих людей, атакованная болезнями, как осажденная крепость, – это она, но и не она.

Главное – огонь, клокочущий внутри. Как под земной корой – неостываю-щий шар всепорождающей плазмы.

Вот она моет посуду в доме, переполненном поэтами, а внутри ее растут стихи, которые многим и не снились. Тихие стихи, но в них впрессованы взрывы.

Многие читающие люди в Израиле, узнав, что я из Нацрат-Илита (пусть не обижаются другие поэты), говорят:

– А-а! Это у вас есть Анна Фишелева.

У нас нет Анны Фишелевой. Не уберегли. Это и ко мне относится.

Анна Парчинская

Сначала я познакомилась с ее стихами. Они выделялись из многих и мно-гих, напечатанных в русскоязычных газетах.

Я запомнила имя автора, чтобы не упустить следующие публикации. Как я радовалась, когда представилась возможность познакомиться с ней лично!

Анна Яковлевна была удивительно теплым и скромным человеком. Не-смотря на плохое самочувствие, она была готова выслушать любого пишу-щего, радуясь удачным строчкам. Она всегда исходила из презумпции талан-тливости автора. При этом сама она редко соглашалась прочитать что-то свое.

Но эта женщина могла сказать о себе:

*Мне не с кем быть самой собой,
Такого друга нет.
Мне надо быть травой, рабой,
Лисой, метущей след.*

*А я – прямая, как доска,
Уперлась в твердь торцом.
Я из единого куска
Изваяна творцом.*

*Уже пора трубить отбой,
Уже не надо плыть,
В небытии хочу собой,
Самой собою быть.*

Больно думать, что мы больше никогда не услышим ее ласковый застенчивый голос.

Виктор Зильман

Еще несколько дней назад среди нас жила Женщина, которая в полной мере отвечала всем строгим требованиям экзамена на талант. Для того чтобы это понять, не требовалось слишком много времени: достаточно было прочесть хотя бы несколько строк с любой страницы из написанного ею, как и нескольких минут просто разговора с нею. И сверх этого – удивительная, почти детская свежесть взгляда на окружающий мир, невероятная искренность и эмоциональность. Она – это видно и по ее стихам – любила быстрые дожди раннего лета. И в ней самой было что-то от такого дождя.

Поэтов не бывает слишком много: слишком дорог материал, идущий на них. Их даже меньше, чем непозтов, их понимающих, и уж заведомо меньше, чем мастеров располагать столбиком строчки с рифмами на концах.

Анна Яковлевна, около года назад Вы подарили мне тогда только вышедшую Вашу небольшую, но такую весомую для всех, понимающих этот язык, книжечку. Я обещал Вам ответить своей. Видит Бог, я очень старался, желая предстать в достойном виде перед таким экспертом. Но – завозился, не успел, опоздал... И теперь с чувством невосполнимой утраты говорю Вам – прощайте, Анна! Прощайте, Поэт.

В ней было столько тепла, это общение доставляло немало приятных минут, а иногда и часов. Ее нужность ощущается и сейчас, когда она так далеко!

Прощаюсь с ней, оставаясь рядом в стихах и словах, которые у нее всегда – от чистого сердца.

*Ваш голос, ласковый и чистый
Растаял где-то в дебрях звезд,
Оставив свет далеким близким,
Как связи мост.*

Фаина Дибнер

Иглой под сердце эта весть! “Ушла Анна Яковлевна Фишелева”... – наша Анечка. Седая девочка с глазами неба... Наш друг и советчик. Бесконечно добрый человек. Поэт. Женщина.

Мы – “пишущая братия”, “тяжелый народ” – ходили к ней, как к “ребенку”. По всем вопросам! Она – распахивалась настежь. Ей было тяжело, она уставала от нас, бедная... Но сколько души – в ее стихах! И сколько души – в душе... Какой талант любить! Не таланты, а – людей! Мы говорили о поэзии, о любви, о жизни... И еще: борщом всех кормила...

Рядом с ней – маленькой и хрупкой – было тепло и защищенно. Я прижималась к ее груди: “Вы такая... “мамная”...” Она и осталась такой. Навсегда.

...Иглой под сердце эта весть: “Ушел из жизни теплый человек”. И сразу похолодало.

Да сохранит Г-сподь ее тепло в людях!

Лион Надель

Дорогая Анна Яковлевна! Я встречался с Вами всего два-три раза, по телефону беседовал не часто, жаль.

Какая радость была общаться с Вами, беспредельно доброжелательным человеком! Как Вы умели заметить у наших общих знакомых – поэтов Галилеи – оригинальное стихотворение, яркую строчку, что-то талантливое и доказать это собеседнику.

Я давно, с 80-го года, еще в Харькове, был поклонником поэтического таланта Вашей дочери – Инны Захаровой. В Израиле читаю и перечитываю Ваш единственный, бесценный сборник “Дожди. Деревья”. В него вошли и

стихотворения, написанные в Израиле: “Я привыкла к Нацрат-Илиту” и другие. В разделе “И эта горечь – азбука моя” есть и “Два стихотворения о Чечне”.

Не сомневаюсь, что Вашим стихотворениям суждена долгая-долгая жизнь! Хочу, прощаясь с Вами, привести Ваши строчки:

*Мои безгласные стихи
Как бы написаны по смерти.
Они нечаянны, поверьте,
А слезы яростно-тихи.*

*Но я хочу придумать чудо:
Пусть мимолетная рука
Коснется дней моих слегка.
Пусть кто угодно. Пусть – Иуда.*

*Кто может дерево понять?
Кто может зарево обнять?
И лбом согреть стекло ночное,
Что было мною, было мною?*

Вот так, Анна Яковлевна, каждое, почти каждое Ваше стихотворение хрестоматийно.

Грегори Фридберг

Когда уходит близкий человек, в душе остается незаполненная ниша. Те несколько лет, что в Нацрат-Илите жила Аня Фишелева, оставили глубокий след в культурной жизни города. Она редко выходила из дому – но ее успели узнать и в городе, и в стране.

Когда я рассказал Шуламиту Шалит о смерти Анны Фишелевой, она сказала только: “Какая большая поэтесса была, какая величина ушла!”

Все мы горюем вместе с родными Ани.

Видно, нарушено равновесие на том свете, не хватило большого поэта и праведного человека, и Господь забрал нашу Анну.

Юрий Супоницкий

*Между нами дорога: ни ветра, ни слез, ни тоски:
Бесконечная лента пустого и стылого шляха.*

*Это просто судьба, что не сцена сегодня, а плаха.
Декорации те же, столбы, небеса и пески.*

*Так уходят поэты, свечу погасив на столе,
Фаворитам печали объятия вечности сладки.
Но, листая покрытые копотью строчек тетрадки,
Мы вдруг видим все дальше и дальше в пугающей мгле.*

Дани Мирошенский

С Анной Яковлевной я встречался дважды в жизни. Второй раз – у Марка дома, после очередного с ним выступления. В этот-то раз я и почувствовал: от нее исходит свет, тепло, спокойствие и удивительная доброжелательность. Такой она для меня и останется.

Виктор Нарыжный

*Есть удивительное свойство у людей,
Тех, что в обычной жизни неприметны:
Их не хватает, уж когда их нет –
Увы! Поэты тоже смертны.*

РОСКОШЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Уважаемая редакция!

Я бесконечно благодарна вам за страницу “Индекса”, посвященную памяти Анны Фишелевой.

К сожалению, до сих пор я мало была знакома с ее творчеством. Из тех немногих публикаций, которые мне попадались, в памяти осталось только имя, а в душе – теплый след, интерес к продолжению знакомства. И вот эта печальная весть, и вслед за ней – целая страница, венок посвящений, трогательная дань ее памяти. Каждый из авторов этой страницы сам по себе интересен и дает повод говорить о том, что русское поэтическое слово живет и развивается, его ветвь, пересаженная на израильскую почву, приносит полноценные плоды. Взаимное притяжение светил, их сближение и концентрация усиливают свечение каждого и рожают новые озарения. Все вместе авторы сумели воссоздать образ – зримый и выразительный. Из того, что сказано и процитировано, возникает представление об удивительной женщине, незаурядной, наделенной мудростью, духовным совершенством, высоким поэтическим даром. Да, судьба щедро одарила ее. И при всем этом:

“Мне не с кем быть самой собой...”

Эта строка – начало прекрасного стихотворения – оказалась для меня потрясением. Строка, в которой почти нет существительных и глаголов, одни местоимения, но какой глубокий смысл в ней заключен, какой емкий трагический подтекст! Знаменитая формула Экзюпери о роскоши человеческого общения здесь получила свое развитие, словно раскрылись новые глубины, ведущие к постижению человека, тайны его бытия, его предназначения. Да, общение – это благо, но как важен уровень общения, тот уровень, при котором можно быть понятым, оставаясь самим собой. Это тот идеал, та высота планки, достичь которой, увы, удастся лишь в редких случаях. В кружение дней, во все убыстряющемся беге времени человек, несущий в себе свой собственный мир, приходит и уходит, не успев полностью раскрыться и обогатить окружающих, так нуждающихся в обогащении, хоть и не всегда сознающих это.

В не столь давние времена существовало понятие “женская поэзия”. Такое словосочетание носило отпечаток иронии, снисходительного пренебрежения. Но затем этот термин стал звучать все глуше и постепенно вышел из употребления, по мере того как вершил свою грозную поступь XX век, давший нам такие имена, как Цветаева, Ахматова, Ахмадулина, Матвеева, Тушнова. Я думаю, не будет преувеличением продлить этот ряд именем Анны Фишелевой. Хочется надеяться, что ее произведения будут изданы и оценены, и поняты, и этим будет продолжена ее жизнь, к которой в самой полной мере применимо определение Пастернака:

*Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других,
Как бы им в даренье.*

Еще раз спасибо всем!

София Коган (Афула), газета “Индекс а-Галиль”, 1.06.2001

Анна Фишелева

* * *

Наш шарик микроскопичен.
Каждый из нас – колоссален.

Нанизан на посвист птичий.
Смешон. Индивидуален.

Мы дружно сорим под ноги
И к Богу хотим добраться,
Дабы облапошить Бога –
На жестком миру остаться.

Но где бы нас ни носили
(Или не носили) ноги,
Мы все-таки были, были
И стали землей в итоге.

* * *

Распятъя подъемных кранов
Венчают Голгофу дня.
В патлатой листве каштанов
Пошаливает сквозняк.

Уже вечереют лужи,
А окна еще слепы.
И падает пена с кружек
На бурую шерсть толпы.

На дне стадионной ямы
Безумный свистит, вопит.
А души его слоями
Посмертно текут в зенит.

* * *

Мертвые терпеливы.
Я затаюсь под спудом.

Отбарабанят ливни –
Сразу меня забудут.

Не шевельну рукою,
Не обозначусь тенью.

Ляжет на дно со мною
Каменное терпенье.

Мертвых манят надежды,
Вложенные в столетья.
И между мной и между
Вечностью – встреча светит.

Может, зарница летом
Или угрюмость зданья,
Или безветрье веток
Выведут на свиданье.

В поле, на горьком ложе,
В завязи водоема,
В чьей-то душе похожей
Выплывет звук знакомый.

И просочится мимо.
И заметет забвенье.
Мертвым необходимо
Каменное терпенье.
И живым.

* * *

Душа подвешена за ушко,
Чтобы проветрилась слегка,
Душа распята для просушки,
Как шкурка белого зверька.

Ушла в себя, забилась в щелку,
Покрылась корочкой-виной,
Отъединилась втихомолку
И не общается со мной.

* * *

Как выметено чистенько внутри,
И как извне изнемогает площадь.

Поземка уши жесткие топорщит,
Мой вызов нем. И безголосен крик.

Я проплыву в печали желтых ламп,
В смятение веток – непричастна тайне.
Горбатый мир, попутчик мой случайный
Уже уходит по своим делам.

* * *

А время обрабатывает раны
Накладывает ниточки – минуты,
Заклеивает пластырями – днями,
Культю мою баюкает тихонько.
Ах, время!
Убывает от рожденья,
А может – убывает от зачатья,
А может – пребывает после смерти?

Галактики расходятся во мраке,
И мы с тобой в стремительном разбеге...

* * *

Бог, видимо, мной доволен,
Проснулась, а горя – нет.
Заносит оазис боли
Сыпучим песком сует.

* * *

В раздумье человек на берегу
Прослеживает пасмурную реку.
Она, тоску сбывая человеку,
Так много слез скопила на бегу.

Нам не понятен осторожный лес:
Чужие тайны и чужие смыслы
Сомкнулися, привстали и нависли –
Неведомое стойбище древес.

Сухая степь – прабабушка моя.
Старухина растресканная кожа.

Завет земли. Связующее ложе.
И неба закругленные края.

Пускай в степи останется мой прах.
Приклеится к подножию былинки,
Запорошит вельветовые спинки
Полдневных пчел. Рассеется в ветрах.

* * *

Утро пробует голос. Едва
Потеплело на сердце у ночи.
Вылезает на свет голова
Из соцветья земных оболочек.

Я покуда стою на полу,
Не жива, но еще не убита,
Собираю в скупую полу
Шестеренки разбитого быта.

Отдаляюсь от стен не спеша,
Утекаю по каплям сквозь щели.
Но цепляется влажно душа
За рассветы и пыльные ели.

* * *

Нирвана. Полдень. Сизый свет.
Колючий зайчик на машине.
И есть вопрос. И есть ответ –
Куда податься мне отныне.

Прощай, Израиль золотой,
Беспечный. Каменный. Манящий.
Где был поставлен на постой
Мой день пустой и вопль вящий.

Вернусь на брюхе, аки пес,
Уткнусь в бетонные колени.
Из-под ворот, из-под колес,
Из-под могил сбегутся тени.

В БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

Нет. Птицей не хочу,
И тучей – не хочу.
Вот разве веткой –
По ветру пластаться.
А лучше – ветром,
Мальчика касаться,
Догнать, обнять,
Погладить по плечу.

Станислав Минаков

“НЕ БОЙСЯ, БОГ...”

Есть устойчивое впечатление, что лучшие тексты Анны Фишелевой писаны сразу на скрижалях. И не менее устойчивое впечатление, что Харьков “прозевал” настоящего поэта. Пока кто-то, зная себе подлинную цену, вел “подковерную” борьбу за лауреатства и прочие земные блага, заглядывая той или иной власти в рот, никому не известный поэт Фишелева творила шедевры.

Выверенное дыхание, ровное, и, как кажется, единственно возможное отношение к Богу. Но при этом – высказывание, сразу потрясающее любого читателя (я проверял неоднократно, начав с себя):

*Не бойся, Бог! Тебя я не покину
В твоей холодной яме голубой.*

Уже две эти строки, завершающие 12-строчное сочинение, выводят Анну Фишелеву за пределы возможного разговора о “достоинствах”, о “возможности включения в любые, самые взыскательные антологии”.

Филолог М.Красиков восклицает в послесловии к книге Фишелевой “Города. Дороги”: “Но где, у кого вы прочитаете такое!.. Это совершенно другой уровень мышления, совершенно другой взгляд на вещи. Трагизм человеческого бытия здесь соразмерен с трагизмом бытия Божьего. Не помощи, сочувствия и защиты молит у Бога человек, а сам дает Ему это, ощущая породненность с Ним через боль, без которой немыслима жизнь...”

Действительно, нигде у “близлежащих” поэтов мы не найдем “такого”. Однако мне представляется, что равную интонацию и высоту духа можно поискать в Писании. У пророков.

Процитированной сентенцией поэт абсолютно оправдывает возложенные на человека надежды Творца. Часть творения (человек) становится действительно соразмерной Творцу и великим сердцем своим уже обнимает не только все творение в целом, но и самого Творца, проявляя невиданное, “обратное” сострадание! Здесь нет ни капли гордыни, столь присущей любому человеку, нет самовозвеличивания или эпатажа. Это уже тот космический (если не сказать “космогонический”) уровень, где все-все, – и как бы остается за скобками земного бытия, и при этом удивительным образом сострадательно содержит его в себе. И, значит, высшая цель Творца оказывается достигнутой.

*Восходит ввысь единственная нота.
Вы слышите? Над полем вековым
Нам души завораживает кто-то
Поземкой острой, ветром низовым.
Мой Бедный. Всеблагой и Вездесущий!
Тебя постигла неудача. Да.
Ты этой болью вяжущей, сосущей
Меня к себе приклеил навсегда.
Не разогнешь невидимую спину.
А то, что Ты бессилен – бог с Тобой.
Не бойся, Бог! Тебя я не покину
В твоей холодной яме голубой.*

Апрель 2002, Харьков

Елена Минкина

ПОЛАНИЯ

И это называется выходной день! Суп, стирка, ковры надо пропылесосить. Да еще все время боюсь прозевать телефон. Можно, конечно, перенести его из салона и поставить здесь, но вдруг он соскользнет с кухонного стола? И как это люди обходились совсем без телефона! Раньше ковры – это была обязанность Авива. но сейчас, когда он возвращается на выходные со своим ужасным рюкзаком и с автоматом и прямо на пороге начинает засыпать, просто нет сил просить его о чем-нибудь. А погода какая хорошая. Не то, что летом. Опять все зазеленело, солнышко такое мягкое. Можно, конечно, и не возиться с этим супом, не жарить лук, кто сейчас готовит клецки! Да сегодня и супы уже почти не варят, в крайнем случае намешают из пакетика. Бр-р! Пока я жива, в моем доме не будет этих синтетических супов!

Я – полания*. Может быть, это все объясняет. Мой муж любит шутить, что полания – не происхождение, а диагноз. Такие вот у него шутки. Его любимый анекдот:

– Зачем полания встает в пять утра и варит мужу кофе?

– Чтобы, когда муж встанет в шесть, кофе уже был холодным.

Хотя я родилась совсем не в Польше, а здесь, в Хайфе, на верхнем Адаре. А уже потом родители купили квартиру на Кармеле. Тогда он еще не был престижным районом, цены вполне умеренные, и много воздуха. На горе буквально другой климат, вы можете месяцами не включать кондиционер. Впрочем, кто этого не знает! Так что теперь я обладательница огромной квартиры в фешенебельном месте. Целое состояние! При желании можно спокойно купить две квартиры на Адаре, только поменьше, конечно. Или в

** В Израиле принято называть евреев, выходцев из разных стран, по стране исхода: “русские”, “аргентинцы”, “румыны”. “Полания” – еврейка из Польши.*

Рамат-Ицхаке. Новый район, тоже на горе. Но там окна смотрят прямо на заводские трубы в промзоне. Бр-р-р! Отвратительное зрелище!

Мои родители познакомились в молодежном движении. Мы все участвовали в молодежном движении, в левом, разумеется, хотя моя дочь Таль и посмеивается сейчас над нашими идеалами. Недавно я встретила бывшего товарища по нашему движению, Эли Айзенберга. Толстый солидный доктор-анестезиолог в большой черной бороде и почти лысый. Лысый, представляете! Но все в тех же мятых штанах и футболке без ворота. Милый прежний Айзенберг!

– Ты знаешь, – возмущенно запыхтел Эли, размахивая руками, – мой сын на бар-мицву* потребовал купить ему костюм! И галстук! Нет, ты скажи, кто его растил?! Ты можешь представить меня в галстук?

Мы не признавали галстуков. Мы не признавали костюмы, платья и всю эту ерунду, принятую у религиозных. Еще не хватало, чтобы нас с ними путали! Мы хотели равноправия, мирного созидания, дружбы с соседями, транспорта по субботам. Нельзя стоять два тысячелетия, упершись носом в Стену! По вечерам мы бродили по улицам и пели песни о свободной Родине. Но кашрут соблюдали почти все. Даже киббуцники, хотя мы старались про это не говорить. Я и сейчас не люблю смешивать молочное с мясным, в конце концов, это же просто вредно для желудка!

– Представляешь, – сказал Айзенберг, – заведующий хотел вклеить мне дежурство на Песах! Прямо на вечер! Видите ли, я не религиозный! Знаешь, что я ему ответил? “Я тысячу раз мог переехать в Америку, причем на совершенно другую зарплату, о чем ты прекрасно знаешь. Но я живу в нашей нелепой и нескладной стране именно потому, что только здесь у меня есть все права сидеть за столом в пасхальный седе́р, спокойно сидеть в собственном доме, с собственными детьми и читать пасхальную агаду так, как ее читали мой отец и мой дед, и, я надеюсь, будут читать мои сыновья! И ты можешь переставлять кого угодно, христиан или мусульман, меня это совершенно не интересует. Я отработаю за них в Рамадан или на Рождество, если хотите!”

Милый прежний Айзенберг! Наверное, мы все выглядим нелогичными, но как хорошо, что друг другу ничего не надо объяснять.

Я живу в квартире моих родителей. Так мы решили после развода. Мой муж выплатил мне половину за нашу прежнюю квартиру, а я отдала эту половину брату, правда, еще немного добавила, конечно. Хотя брат мог бы и уступить. Ему этот дом совершенно не нужен. Большую часть времени он

* 13-летие мальчика, отмечается как большой праздник.

вообще проводит в Америке. У него там бизнес. По крайней мере, ему так кажется. Почему я так говорю? Потому что этот бизнес, если он существует в реальности, должен иногда приносить доход. А моему брату он приносит одни убытки. А ведь ему уже почти пятьдесят. В прошлом году от него ушла жена, не вынесла скандалов и долгов. Пока он жил здесь, я еще ухитрялась их мирить, в принципе у него доброе сердце, хотя, честно говоря, мало кому пожелаешь такого мужа. Может быть, мы отвечаем за грехи каких-то предков? Хотя, по-моему, это не очень справедливо, мы ведь даже не знаем своих ближайших родственников за исключением родителей. Покойных родителей, я хотела сказать.

Нет, в Польше я была. Нас возили со школой. Все знают эту программу – памяти Катастрофы. По местам лагерей уничтожения. Так странно было ходить по городу и понимать речь на улицах. И надписи. В совершенно чужой стране! Нет, я плохо говорю по-польски, но понимаю свободно. Это от родителей. И идиш. Все мои приятели понимают идиш, хотя для нас это лишнее знание, конечно.

Мы говорили только на иврите, и в школе, и в нашем движении. Я запрещала маме даже обращаться ко мне по-польски в присутствии других детей. С какой стати я должна была терпеть эти насмешки и издевательства! Тем более, я была настоящей коренной саброй.*

С тех пор многое изменилось. Посмотрите, “русские” вообще не хотят учить иврит. Вы можете это понять? Впрочем, Израиль для них просто кормушка. Возможность получить пособие и льготную машину! У нас другой родины не было. Разве только Польша с ее лагерями уничтожения. Впрочем, не стоит об этом. Ненавижу политику!

А если поставить телефон на табуретку у стола? Так и он не упадет, и я не буду привязана к салону. Ведь надо же, наконец, закончить обед! Через час Таль вернется с занятий, привезут из школы Лею. Слава Богу, что организовали, наконец, такую хорошую подвозку. А то приходилось все бросать и мчаться за ней в самый час пик. Но могли бы сделать и бесплатную. Мало того, что у тебя ребенок аутист, так ты еще должен за все отдельно платить!

Нет, конечно, я и сама могу позвонить, что здесь особенного! Для того и придумали мобильные телефоны, чтобы можно было узнать, где твой ребенок. Но я обещала. Даже поклялась. Какой смешной мальчик, он так и сказал: “Мама, поклянись, что ты не будешь мне звонить! Не будешь делать из меня посмешище”. И все потому, что первый месяц я приезжала к нему через

** Сабра – вид кактуса со съедобными плодами. Так называют себя евреи, родившиеся в Израиле.*

день. Я старалась приходить незаметно, стояла в тени за палатками, но эти паршивцы, конечно, замечали! “Авив, твоя польская мамаша уже здесь!”

И зачем, спрашивается, кричать? Я просто хотела убедиться, что там нормальные условия. Если у вашего ребенка до десяти лет была непрерывная астма, а потом начались такие же непрерывные синуситы, разве вы не будете беспокоиться, как он там дышит, в этой ужасной пустыне?

Стиральная машина опять грохочет, всегда так при отжиме, чини не чини. Давно пора новую купить. С моей-то зарплатой! Но Меира это, конечно, не интересует, он алименты на детей платит, что еще! Все, отстучала, отжимает она все-таки неплохо, нечего говорить. Конечно, развешивать я сейчас не буду. Тут время нужно, все телефоны прозеваешь. Нет, детям я не поручаю, им лишь бы побыстрее, а ведь главное – растянуть хорошо, особенно на швах. Тогда можно вообще не гладить.

Слышала бы моя мама, что я стелю неглаженое белье! Вы не представляете, она же всю постель крахмалила! И только домашним крахмалом. Сама заваривала в кастрюльке какую-то гадость, похожую на клей. Все простыни у нее были абсолютно белые, с ручной вышивкой по краям. С ума можно сойти! Она их откопала через десять лет после войны. Да, да, откопала из-под земли в их бывшем огороде. Ее родители закопали ночью перед уходом в гетто, у них там что-то вроде погреба было. Вот они и решили на время спрятать, завернули в клеенку и ложки, и простыни, и скатерти. Тоже с вышивкой! Кажется, это называлось макраме. Все сохранилось! Еще место очень удачное оказалось, прямо под яблоней, легко запомнить. Мама сразу нашла, хотя перед войной ей было десять лет. Ни родителей, ни братьев, ни соседей, никого не осталось, а скатерти и простыни целехоньки!

Нет, мама не рассказывала, как она спаслась. Мама никогда ничего не рассказывала и не спрашивала, она констатировала факты:

– Это платье тебе не идет, оно подчеркивает бедра, а они и так у тебя слишком широкие, а грудь, наоборот, плоская, лучше надень блузку с рюшами.

– Девочка из приличной семьи не должна так громко хохотать и петь, к тому же у тебя нет слуха, лучше сядь в сторонке и помолчи.

– Нет ничего отвратительнее нестриженных ногтей, к тому же у тебя короткие пальцы, незачем обращать на них чужое внимание.

Моя подружка Яэль отращивала ногти неимоверной длины и носила обтягивающие платья, и хохотала на переменках так, что, казалось, стекла вылетят из рам. В доме у них гремела музыка, на спинке стула запросто мог висеть лифчик, в прихожей вразнобой стояли туфли, а в раковине мокла вчерашняя посуда. И при этом Яэль была счастливой. Даже имя у нее было

счастливое, звонкое, без всякой связи с нудными праведниками из Торы. Да, я же не сказала, что меня зовут Хавой. В честь маминой погибшей матери. Попробуйте что-то возразить! По этой же причине моему брату досталось не менее удачное имя Мордехай.

А Яэль прежде звали Ольгой. Прямо как дочку Ротшильда. Нарочно не придумаешь! Но ее мама не упиралась в имена предков и прочие глупости. Новая страна, новое имя, чего лучше!

Ну да, Яэль была “русская”. Они приехали втроем из какой-то прибалтийской республики. Оказывается, этих республик несколько, две или три, а может, и все четыре! Вернее, они приехали вдвоем – Яэль и ее мама на седьмом месяце беременности. Авиталь уже здесь родилась. Вы думаете, ее маму смущало, что она – одиночка, да еще дети неизвестно от каких пап? Вы думаете, она принялась прибирать соседские виллы, горестно вздыхать и одевать детей в старые платья, подаренные хозяйками этих вилл? Как бы не так! Двух лет не прошло, как она уже работала в престижной электронной фирме. Никто и не заметил, когда она успела выучить иврит и окончить курсы! А по вечерам она гуляла в парке со своими прекрасными дочерьми, в прекрасных платьях, с прекрасными белокурыми волосами и прекрасными современными именами. Можете не сомневаться, еще через полгода у нее появился поклонник или как теперь говорят, друг, разведенный адвокат в серебристом “форде” последней модели. Другая женщина может всю жизнь прожить в Израиле и не найти такого друга! На выходные друг увозил маму Яэль в своем “форде” в какие-то роскошные поездки, а я шла ночевать в эту веселую суматошную квартиру, где мы чуть не до утра шептались, жевали корнфлекс, любовались спящей белокурой Авиталь, рассказывали друг другу страшные, как нам тогда казалось, секреты. И вот однажды глухой дождливой ночью Яэль рассказала мне, как она жила с мамой и папой в чудесном городе с большими старинными домами, город назывался Рига, я до сих пор помню это странное слово. Папа был пожилой, добрый и очень тихий, а мама наоборот – ужасно молодая и веселая хохотушка. И каждый день ее провожали с работы студенты, потому что она преподавала физику в университете. И вот однажды Яэль увидела как один студент, высокий и прекрасный, как молодой король, стал перед мамой на колени и принялся обнимать ее ноги. А мама вдруг заплакала. А потом папа ушел из дома, а на его месте стал жить этот студент и ночевал в папиной постели, и брился в их ванной, вкусно поскрипывая блестящей бритвой, и пел по утрам на кухне, мешая кофе и откидывая назад длинные светлые волосы. А потом мама забеременела, ее все время тошнило, она совсем не могла есть, но держалась, пока не потеряла сознание прямо на лекции. Маму отвезли в больницу, а Яэль, которой уже

исполнилось четырнадцать лет, осталась одна в квартире с прекрасным студентом, и однажды ночью он встал на колени у ее постели как когда-то стоял перед мамой, и принялся целовать ее голые ноги, и живот, и груди, и она понимала, что происходит что-то ужасное, но не могла его оттолкнуть, а наоборот, обняла дрожащими немеющими руками. А потом студент еще несколько раз приходил к ней, и обнимал, и качал на руках как маленькую, и только просил ничего не рассказывать маме. И когда мама вернулась, наконец, из больницы, она не могла смотреть на нее от стыда и ужаса, и молчала, и редела в подушку, а потом все-таки рассказала, трясаясь и задыхаясь от слез. А мама только гладила ее по голове, целовала и гладила по голове, а сама раскачивалась из стороны в сторону, как заводная кукла. А потом они очень быстро собрались и уехали в Израиль. Вот и все.

Боже мой, телефон! Я же чуть не прозвала со своими дурацкими воспоминаниями. Да! Да, я слушаю! Меир? Что случилось?! Что-то с мальчиком?!!!

А почему ты тогда звонишь в середине дня? Ты еще скажи, что соскучился! Нет, Лея в школе, их привозят после трех. Наверное, помнит, кто знает, что у нее в голове! Мог бы приходиться почаще, она бы чаще вспоминала. Ты думаешь, если ребенок аутист, так она ничего не чувствует? Хорошо, хорошо, я не начинаю.

Ты еще что-то хотел сказать? Авария? Два вертолета?! Боже мой. Боже мой!! Нет, еще не звонил. Откуда я знаю, где он находится, ты отец, ты мог бы знать! Конечно, я сразу позвоню. Не волнуйся, с твоим давлением еще не хватает волноваться. Да, такая вот жизнь.

Боже мой! Два вертолета! Семьдесят мальчиков, лучших мальчиков, цвет страны. Боже, если ты существуешь, пощади меня, пощади моего ребенка, мою надежду, мою единственную радость...

Так. Совсем рехнулась. Кто собственно сказал, что Авив в Ливане? Они должны быть на учениях. Он же сам рассказывал, что их перебрасывают на учения. Куда-то далеко. Ха, далеко, в этой стране! Все равно, есть безопасные места. После того как погиб Гай Ицкович, их отряд перевели с границы. Всему есть мера! Гай. Чудный мальчик. Они так дружили с Авивом...

Нет! Так можно сойти с ума! Суп убежал, белье не вывешено. В конце концов, что случится, если я позвоню? Имеет право мать позвонить собственному сыну, когда в мире происходят такие ужасы. Два вертолета! Так, ноль пять два... только бы связь была! Что это? Почему телефон звонит? Где телефон звонит?! Может, это у соседей? Нет, прямо рядом... Боже, это Авива пелефон!* Под столом! Забыл!! Бедный мальчик, в такую рань вставать, с этим ужасным рюкзаком, себя самого забудешь!

Зато на душе полегчало! Вот почему он не звонил! А я-то умираю! Такой внимательный мальчик и чтобы с утра не позвонил!

Мой сын всегда был мне утешением. Даже во время беременности меня почти не тошнило. Не то что с Таль! Она воевала со мной еще до рождения, еще до задержки месячных я так позеленела, что мама тут же заметила, но про это лучше не вспоминать! Любой запах вызывал дурноту, при виде автобуса меня начинало рвать еще на остановке, я качалась от ветра и мечтала просто умереть. А Таль родилась почти четыре килограмма, она свое всегда возьмет! В два года она начала говорить и сразу принялась меня поучать:

– На улице дождь, а ты не надела ребенку куртку!

– Зачем ты идешь с ребенком посреди дороги, ты что, не знаешь, что здесь машины!

– Ребенку утром надо давать молоко, а не суп.

Под ребенком, конечно, подразумевалась она сама. Я до сих пор не смею сделать ей ни одного замечания, все равно она окажется права. Видела бы моя мама эти отрезанные воротники, этот лифчик черного цвета, торчащий из-под белой майки! А противозачаточные таблетки в учебнике истории? А вечное вегетарианство, анемия, походы к врачу за витамином В-двенадцать? Она, видите ли, не может есть ничего живого! Абсолютно ничего! Кроме своей мамы, конечно.

Когда я была беременна первый раз, мой муж принес с работы такой анекдот. В родильном отделении ждут три отца: марокканец, эфиоп и поляк, вдруг выходит доктор и говорит: “Дорогие друзья, все ваши жены родили прекрасных здоровых девочек, но случилась ужасная неприятность, мы их перепутали”. На этом месте марокканец встает и кричит: “Дайте мне выбрать! Я сразу узнаю свою дочь по голосу крови!” Он бросается в детское отделение, хватает чернокожую девочку и довольный выходит с ней обратно. Доктор осторожно спрашивает: “Вы уверены, что именно она – ваша дочь?” – “Я согласен на все варианты, – отвечает марокканец, – только не принести домой поланию!”

И при этом именно Таль, эту истинную маленькую поланию, Меир обожает больше всех! Когда его младшая сестра выходила замуж, он пригласил на свадьбу ее одну, даже матери не постеснялся. Впрочем, не большая потеря, я всегда с трудом терпела их родственников. Просто обидно за Авива.

Нет, сначала он радовался, конечно, как и любой мужчина. Как-никак сын, подтверждение его мужского достоинства. А потом началось – “плакса, трус, ашкенази несчастный!” И все потому, что ребенок боится прыгать с крыльца и не хочет играть в его ненаглядный футбол! А то, что мальчик читает с

** Чудо-фон (иврит), закрепилось как название мобильного телефона.*

четыре лет? А скрипка? А первое место на олимпиаде по математике? А лучшие сочинения в классе, их даже зачитывали на родительском собрании? Нет, все не важно, раз он не умеет драться и не набил морду этому несчастному Дуди!

Почему я его вечно защищаю? А кого же мне защищать! Кто еще помогал мне тащить тяжелые сумки, хотя у самого пальчики синели от боли? Кто обнимал меня перед сном и говорил: “Ты моя самая лучшая”? Кто приносил мне подарочки на день мамы, и день женщины, и даже на Хануку? Однажды наш преподаватель по физике, тишайший Ицик Лейбович, вдруг прислал мне букет роз. В чудесной плетеной корзинке с лентами. Я бы и не догадалась, от кого, если бы наша химичка Циля, которая случайно проходила мимо магазина именно в эту минуту, не заметила и не разболтала всей школе. Меир устроил скандал. С какой стати, вопрошал он, вздымая руки к небу, этот учительшка дарит его жене розы среди бела дня?! Может быть, у его жены день рождения? Или она получила высокую должность? Или она просто дает повод чужим мужчинам вот так запросто при всех посылать ей цветы? Когда он сломал корзинку об колено и вышвырнул в окно, я заплакала.

– Мама, – спросил мой мальчик, – тебе нравится этот учитель?

– Даже сама не знаю, – вдруг ответила я, как говорила бы со своей подругой. – Может, нравится, а может, твой папа никогда не баловал меня вниманием. И страшно обидеть их обоих.

– Ты знаешь, мама, – сказал мой мальчик, – мужчины народ крепкий, ничего с ними обоими не случится. Делай, как тебе лучше!

Боже мой, а почему он вдруг забыл пелефон? Ведь он такой собранный, аккуратный? Никогда не разбрасывал ни книги, ни игрушки, даже в раннем детстве. Это он в моего отца пошел. Мой отец был добрейший человек, но немного помешанный на аккуратности. И еще он любил рассказывать смешные истории. Наверное, ему хотелось наговориться за себя и за маму. Правда, в их жизни случалось не так много смешного, но его это не останавливало. Одной из его любимых смешных историй была история про концлагерь. Вернее, как он выжил в концлагере. И все потому, что попал в эксперимент. Немцы затеяли такой эксперимент – влияние облучения на потенцию мужчин. Для этого они отобрали пятьдесят самых молодых и крепких парней с самыми крупными... (тут папа выразительно похлопывал себя пониже пряжки). Каждое утро их выводили во двор, ставили кругом на колени и требовали спустить штаны. В центре стоял рентгеновский аппарат. Но папа быстро смекнул, что руководители эксперимента не хотят рисковать собственной потенцией и прячутся в здании за свинцовой дверью. Как только аппарат включали, и надзиратель уходил, папа плотно закрывал свое богатство рука-

ми, обмотанными полами куртки. Вот и вся хитрость! Но благодаря ей папина потенция сохранилась вполне успешно, в чем вы и можете убедиться! На этом месте он торжествующе указывал на нас с братом.

По субботам папа молился. Он ходил в ашкеназскую синагогу прямо за нашей школой. Надевал старенький *талес*, шляпу, подмигивал незаметно нам с братом. Когда-то, когда мы были еще совсем маленькими, он брал с собой Мордехая, надевал на его стриженую голову веселую вышитую кипу. Но потом перестал. Может быть под давлением мамы. Мама категорически отказывалась соблюдать субботу. Прямо с утра она с ожесточением принималась мыть кастрюли или чистить и без того сверкающие ложки все из того же огорода, или гладить свои ненаглядные скатерти. Правда, пылесос не включала и старалась не очень стучать, чтобы не слышали соседи. Обычно папа миролюбиво усмехался, глядя на мамнины подвиги, аккуратно складывал *талес* и ложился вздремнуть на маленький диванчик в кабинете. Дальше начинался привычный спор.

– Интересно, где был твой Бог, когда убивали моих братьев и родителей?! – шептала мама, ожесточенно глядя мимо отца.

– Наверное, он все силы бросил на спасение тебя, моя голубка, – вздыхал папа, – а заодно и ваших фамильных богатств.

Мама, не глядя, швыряла в отца свежевыглаженной скатертью и уходила на кухню. Папа ловко увертывался, поднимал упавшую скатерть, аккуратно складывал по проглаженным бороздкам. Потом, притворно сокрушаясь, подтягивал старые пижамные штаны и укладывался на другой бок. Обычно на этом разговоры о религии и заканчивались.

Но однажды я услышала, как мама молилась. В тот день, когда у отца случился удар. Я узнала еще утром, но не смогла сразу приехать в больницу, Авиву было три месяца, я еще кормила его грудью. А у Таль как раз началась ветрянка. Только к обеду Меир сменил меня. Папа лежал с закрытыми глазами, часто и неровно дыша. Правые рука и нога его были как-то неестественно вывернуты, одна щека вздувалась в такт дыханию. Мамы нигде не было, ни в коридоре, ни в больничном дворе. Я вдруг страшно испугалась, что с ней тоже что-то случилось, и помчалась к ним домой. Дверь в прихожей была открыта, мама стояла в спальне, прижавшись лицом к стене.

– Благословен будь, Господин мой, Бог наш единый, царь мира... – торопливо шептала она начало молитвы, – прости, прости за сомнения, наверное, я тебя просто не поняла, Господи. Но ты же великодушен, ты же щедр, пощади его, прошу, только пощади его. Ты не смог спасти маму и братьев, я понимаю, тогда было слишком много горя, нас было слишком много, а ты ведь

одни. Но сейчас, сейчас, когда все так мирно, когда ты все вернул детям моим, когда ты стал так мудр и щедр, я прошу, пощади. Пощади его!

Она вдруг стала сползать по стене, цепляясь руками, я в ужасе стояла за дверью, не зная, подхватить ее или уйти незаметно. Ночью папа умер.

Господи, что только не лезет в голову! Нет, я совсем распустилась, нервы никуда. Может быть, позвонить Меиру? Надо же ему рассказать, что мальчик просто забыл пелефон. Ему же опасно волноваться с его давлением. Ха, рассказать, а если подойдет жена? Жена! Нет, этого я сейчас просто не вынесу!

Меиру всегда нравилась Яэль, с того момента, как она появилась в нашей школе. Да что там нравилась! Весь класс знал, что Меир Эзра влюблен в новенькую “русскую”. Но никто не смеялся, потому что Меир был лучшим футболистом школы. И лучшим математиком. И самым красивым парнем. И он открыто и спокойно ходил за своей длинноногой Яэль, бережно держал ее тонкую светлую руку в своей широкой и смуглой, гладил ладонью кудрявые белые волосы. Яэль тихонько смеялась, отнимала руку, задорно потряхивала чудесными волосами, и никто кроме меня не знал, что она так же безумно влюблена в Меира, просто почему-то не хочет это показать. И уж совсем никто не знал, что еще одна девчонка влюблена в Меира, так влюблена, что им обоим и не снилось, что она просто не дышит, когда он проходит рядом, что весь стол ее набит черновиками и старыми контрольными Меира, что она спит с его драным футбольным мячом под подушкой и в темноте целует этот мяч, обливаясь слезами и стараясь не всхлипнуть вслух. Никто не знал, потому что этой девчонкой была я сама.

Нет, у нас с ним были прекрасные отношения, он почти любил меня. Но только потому, что я была подругой Яэль. Мы часто занимались вместе, особенно математикой, Меир классно умел объяснять, Яэль восторженно крутила головой. “Ми-иша, – говорила она нараспев, – Ми-иша, какой ты умный, просто страшно!” Да, так она его придумала называть на русский лад, хотя я никогда не могла понять, что общего между заурядным именем Меир и этим ее Ми-шей. Мной Яэль тоже восхищалась. Я не была большим математиком, зато блистала в ТАНАХе и истории, а ей плохо давались гуманитарные науки, наверно, из-за языка, чаще всего она просто переписывала у меня готовую работу. Потом они провожали меня до дому, махали на прощание и уходили в парк, взявшись за руки. Из окна наплывал высокий голос Хавы Альберштейн, это была модная тогда песня “Как дикий росток”, наверно, кто-то крутил пластинку:

*Завтра я буду так далека отсюда,
Не ищите меня,*

*Тот, кто умеет прощать,
Простит мою любовь...*

А я молча лежала в своей комнате, уткнувшись головой в подушку, и мечтала умереть.

И вдруг у них что-то разладилось. Нет, это было уже после школы. Я первой ушла в армию, Меир перенес дату, потому что надеялся попасть в летные войска, а Яэль ждала призыва только осенью, она была на несколько месяцев моложе. Однажды Меир пришел ко мне один, я как раз отсыпалась после сборов, дома стояла мертвая тишина, даже мама прекратила свою воспитательскую деятельность. Я сидела на низкой кушетке, а он – на полу у окна, молчал, крутил в ладонях скомканную сигарету. Я не знала, что ему нужно, да это было и не важно, просто дышать с ним рядом, тихо любоваться сильными руками, выпуклыми плечами под выгоревшей майкой, складкой у губ. Главное было не думать, что этими руками он обнимает Яэль, а этими губами наверняка целует ее вечно смеющиеся губы.

– Хава, – сказал он хрипло, – ты мне очень близкий человек, потому что ты – подруга Яэль, и я только с тобой могу об этом говорить.

Мне вдруг стало холодно, хотя как раз начался август.

– Хава, скажи, я похож на сексуального маньяка? Или просто на какого-то грубого идиота? Я ведь люблю ее! Разве она этого не знает?

– Это все знают, – умно сказала я, но у Меира не было сил обращать на меня внимание.

– Хава, я понимаю, она девушка, она боится, но ведь я же не убить ее хочу! И не каких-нибудь случайных отношений. В нашей семье это не принято, мой отец из Ирака, ты же знаешь. И потом, что, у меня сестер нет и я не знаю, как это у девчонок?.. Хава, я ей говорю, давай поженимся, а она смеется. Или плачет. Ты что-нибудь понимаешь? И когда я ее целую, она же просто не дышит, дрожит вся, а потом вдруг вырвется и убежит. Хава, скажи, что мне делать?

Я вдруг чувствую, как холодная черная волна накрывает меня, и я уже знаю, что сейчас скажу, и леденею от ужаса, потому что нельзя такое говорить, и все-таки говорю, отчаянно глядя Меиру в глаза.

– Ты зря так переживаешь, – говорю я, – напридумывал проблем! Все не так страшно.

– Что? – испуганно спрашивает Меир, – о чем ты?

– Все о том же, – улыбаюсь я немеющими губами, – ты просто усложняешь. Возьми и просто приходи поздно ночью, все само получится. Тем более

Яэль сейчас одна, мама со своим другом в отпуске. У них это проще, разве ты не видишь? Только предупреди заранее, а то еще застанешь кого-нибудь.

– Кого? – в ужасе спрашивает Меир, – о чем ты?

– Господи, да ты просто младенец, – опять улыбаюсь я, – к ней приходят иногда, разве ты не знал? Или ты думаешь, среди русских есть хоть одна девственница?

– Ты врешь! – Меир вскакивает на ноги, и я почти мечтаю, чтобы он ударил меня своими тяжело сжатыми кулаками. – Ты все врешь!

– Ну, подумай, зачем мне врать, – из последних сил говорю я, – ты же спросил, вот я и стараюсь тебе помочь. Сам можешь убедиться, тебе она точно не откажет.

Конечно, это было не слишком хорошо, скажете вы. И как я могла не пожалеть Яэль, свою подружку?

А меня кто-нибудь жалел? Разве она когда-нибудь думала, каково мне ходить за ними, смотреть, как Меир прижимает ее светлую голову к своему плечу, как дрожат его пальцы? Я просто не могла больше жить в этой тоске, в этих ужасных блузках с рюшами, плоских старушечьих туфлях (каблук портит ногу!), вечных уроках и правилах хорошего тона. Я умирала от желаний. Я страстно хотела вот так хохотать на весь дом, и обнимать его крепкую шею, и уходить с ним в темноту парка, взявшись за руки...

*Волшебство детства и буря
Были в моих объятьях
Я знаю, что чужой огонь
Зажег мои ночи...*

Да, ничего плохого для Яэль я и не сделала, если подумать. Той же осенью она отказалась от службы в армии и уехала в Америку. Окончила там школу медсестер, вышла замуж. Это же мечта всех русских – оказаться в Америке. Что им наша нелепая страна! Кстати, у нее четверо детей, дочь и три сына. И ни один из них никогда не будет служить в боевых войсках или даже в охране. Так что, можно считать, я ей обеспечила спокойную счастливую жизнь.

Телефон! Наконец-то!

– Авив, мальчик мой! А... это ты, Меир, извини, знаешь, у вас стали очень похожие голоса. Нет, не звонил, ты знаешь, он забыл пелефон... Меир!! Ты, что, плачешь?! Нет, нет, просто показалось. Да, я тоже слышала, два вертолета. Семьдесят. И все погибли...

...Меир, скажи мне... скажи мне... Ты что-то знаешь?.. Меир, ты знаешь про Авива?!!! Поклянись. Поклянись его здоровьем. Ну, хорошо. Ну, ладно. Прости.

Боже мой, я совсем распустилась! Бедный Меир, он так расстроился из-за этих вертолетов. Семьдесят мальчиков! Но Авив не там. Авив на учениях. Просто он не может позвонить. Такой рассеянный ребенок!

Никогда не видела Меира плачущим. Нет! Все ты видела и все ты помнишь, нечего обманывать саму себя!

Он сидел на том же месте у окна, злые черные слезы катились по его щекам, злые грязные слова шептали его губы.

– Все правда! – выкрикнул он сдавленно и, морщась как от яркого света, принялся стучать кулаком по колену. – Ты сказала правду, Хава!

– Что? О чем ты? – выдавила я, холодея.

– Ты была права! Она впустила меня! И я был с ней! И я был не первый! Ха!

– Подожди, ты что-то не понял...

– Что тут было не понимать? Она сама сказала... Она сказала, что не может ничего объяснить, потому что она – плохая и гадкая и я не прошу... Идиот! Тупой влюбленный осел! Никогда, никогда не хочу ее видеть!

Он уткнулся головой в мои колени и заплакал, скорее, завыл, давась ненужными злыми словами... Я чувствовала жаркие руки через полотно брюк, черная стриженная голова плотно прижималась к моим ногам, бедра стали мокрыми от его слез... И тогда я легла с ним рядом на пол и принялась целовать эту ненаглядную голову, руки, обожженную шею в вороте военной рубахи...

– Я люблю тебя, Меир, радость моя, безумие мое, я так люблю тебя, бедный... бедный... любимый мой...

Да, он испугался на какое-то мгновение, отпрянул, и вдруг жадно стиснул меня своими немислимыми руками, закрыл горячими губами мои губы, рванул пояс брюк.

Мне было больно, невозможно больно и невозможно хорошо, он сжимал меня все сильнее, давась слезами, он все сильнее кусал мои губы и наконец рванулся, задрожал в моих руках... и он был мой, что бы ни случилось раньше, сейчас он был только мой, во мне, на мне...

Я заплакала. Он тяжело отшатнулся, испуганно посмотрел на свою одежду, запачканную моей кровью...

Он схватил мои ладони дрожащими руками и прижал к лицу, к обжигающим своим губам.

– Хава, милая, прости! Почему ты не остановила меня? Почему ты не сказала мне? Ты пожалела меня, милая моя, добрая моя...

Потом он уехал на сборы. Какие-то длинные учения в пустыне. Три месяца. Меня тошнило дни и ночи, мама, конечно, сразу заметила, поздней ночью, чтобы не услышал отец, устроила жесткий унижительный допрос, с размаху ударила по дрожащей щеке. Из армии меня отпустили без большого шума, хотя, девчонки, конечно, сплетничали и шушукались.

Под хупой я стояла с уже заметным животиком. Мама Меира кривила губы и отворачивалась. Моя мама отказалась покрыть голову и только в последний момент набросила нелепую синюю косынку. Стакан выскользнул из-под ноги жениха и откатился в сторону, гости тихо засмеялись.

– Ничего не поделаешь, брат, женился на полание, попадай под каблук, – усмехнулся отец Меира и резко прихлопнул стакан блестящим ботинком.

– Всю жизнь мечтала породниться с сефардами, – шепнула мама.

*Тот, кто любил меня, вернется на ваши поля
В вашу пустыню,
И он поймет, я была среди вас,
Как дикий росток.*

– Алло, сынок! Таль, это ты, извини. Давай, говори скорее, что тебе нужно, я жду звонка от Авива. Что за глупости, конечно, я тобой интересуюсь, просто ты же видишь, что творится в стране. Такая страшная авария! Нет, нет, с чего ты взяла, Авив совсем не там. Их перевели на учения. Просто он забыл пелефон, поэтому до сих пор не звонил.

– Что ты хотела мне сказать? Остаешься у Дани? Опять? Ты ведь уже оставалась на этой неделе! Да, извини, конечно, ты сама можешь решать. А что думает его мама по этому поводу? Она тебя любит? Ну-ну. Нет, почему, я хорошо понимаю, она тебя любит. У нее ведь нет собственных дочерей, мужа, сына, наконец, кого ей любить, кроме тебя! Ну, извини, совсем я не стараюсь тебя обидеть, просто я волнуюсь, что ты опять останешься голодной. При всей любви вряд ли она станет готовить твои дурацкие вегетарианские котлеты. Хорошо, картошка так картошка.

– Таль, подожди еще минутку. Не бегай там после душа босиком. На улице зима, а я не думаю, что у них есть ковер в коридоре. Откуда мне знать? А то я не знаю этих “румын”! Таль! И не вздумай бросить мокрое полотенце на стуле! Это тебе не дома. Ну, хорошо, хорошо. Целую.

Вы слышали? Она ее любит! А с другой стороны, почему такую девочку не любить? Волосы прекрасные, глаза выразительные, на нее с детства на

улице оборачивались. И умница. Год после армии, а уже в университете! Экономика и управление! Не то что эта современная молодежь, до тридцати лет по Индии болтается! И характер хороший, умеет за себя постоять.

Да, я тоже думала, что умею за себя постоять. Довольно долго у меня это неплохо получалось.

Собственно, я сразу почувствовала, хотя была совсем молодая. Таль только отдали в ясли. Слишком он веселый стал. И все думает о чем-то своем. И что это за конференция в Мигдаль-Эмеке? Да еще с ночевкой. Тоже мне, центр науки! Конечно, я ничего не стала спрашивать. Просто положила письмо вместе с конвертом на стол. От такого растяпы только и можно ожидать – любовное письмо носил в кармане брюк! Сотрудница из его же отдела! До какой пошлости могут женщины дойти, даже не придумаешь. Он разозлился, конечно, опять со своими анекдотами начал выступать. “Почему, – говорит, – полания закрывает глаза в середине секса? Потому что она не может видеть, что кто-то получает удовольствие!”

Но Мигдаль-Эмек на этом все-таки закончился. Наверное, и другие увлечения были, я сразу замечала, как у него глаза загораются, но уже не так волновалась, не до глупостей ему стало – двое детей, совсем другие заботы, да и очень он сыном гордился! Только зря он сказал, что я Авива специально завела, чтобы его удержать. Я всегда хотела двух детей подряд, и в доме веселее, и растить легче. Это, конечно, его мать настроила! “Зачем таким молодым второй ребенок”? А у самой шестеро. Интересно, ей кто-нибудь советовал?

Вообще, его семья – это особый разговор! На каждый праздник по двадцать человек являются, не важно, устал ты или занят. И все с подарками, один дороже другого! Чтобы родственники оценили их щедрость и любовь. Такая показуха, просто тошнит! Я уж не говорю про свадьбы! Последние гроши вывернут, в долги залезут на десять лет, но чтобы платье у невесты было из самого дорогого салона и чтоб не менее трех горячих подавали, пусть потом все и выбросят. Главное, перед соседями похвалиться, какой зал сняли да во сколько обошлось. Никогда я этого не пойму! А имена! Хотели, чтобы я девочку Рахелью назвала. В честь какой-то тетки Меира, которую и не помнит никто! С сыном еще хуже, дальше Шломо и Йоси у них фантазия не продвигается. Так они мне и не простили. А ведь какие красивые имена у детей – роса и весна! Правда, я сама малышку Леей назвала, в честь мамы, но это же совсем другое дело! Как раз была годовщина маминой смерти.

Хотя, по правде сказать, никогда она меня не жалела. Даже в последнюю минуту обо мне не подумала. Оставила сиротой с двумя малыми детьми, крутись как хочешь! Пусть кто-то другой верит, что она эти таблетки по

ошибке приняла. Это моя-то мама, которая все рецепты точно по граммам помнила!

Через месяц после папиной смерти она вдруг в заграничное турне собралась. По всей Европе! Я не говорю про деньги, я ее денег не считала, хотя мы как раз на новую квартиру копили, но ведь есть какие-то правила приличия. Нет, купила новое пальто, чемодан на колесиках, все как положено, и укатила, никто и охнуть не успел. И вернулась такая веселая, детям дорогие игрушки привезла, свитера из натуральной шерсти. Я потом эти свитера одной уборщице подарила, разве дети согласятся шерсть надевать, да еще в нашем климате! А на следующий день ее в кровати нашли, уже холодную. И ни записки, ничего! Но я то знаю, неинтересно ей стало жить. Брат в Америку уехал, а больше ничего ее не интересовало, ни я, ни мои дети. И что все реву, восемнадцать лет прошло! Мамочка моя!

А квартиру мы через год все-таки купили, вполне удачную, до самого развода там прожили. Но эта, конечно, лучше, и светлей, и воздуху больше, особенно в маминной спальне. Только для малышки нет отдельной комнаты, а ей как раз тишина важна.

Никто сначала не понял, что она больна. Ребенок как ребенок, смеется, кушает, прыгает. Только все играет одна, и на вопросы не отвечает, хотя вроде и слышит. Бедная девочка! Может, она специально отгородилась: что ее ждало в этом мире? С рождения без отца.

В принципе мы жили совсем неплохо. Путешествовали, по субботам устраивали пикники с друзьями, каждую весну ездили в Эйлат. У Меира от работы были льготные путевки. И я даже обрадовалась, когда ему предложили работу в Реховоте. Далековато, но зарплата высокая. И не будет времени на его вечные глупости и увлечения. Первое время мне все казалось, что Яэль вернется, даже по ночам снилось, но она так и осталась в Америке. А мама ее вышла замуж за своего друга, и они вместе с Авиталь уехали куда-то. И почему я никогда не интересовалась, куда? В такой стране разве трудно узнать!

Нам исполнилось по тридцать пять. Говорили, я мало изменилась, а Меир очень возмужал, похудел, даже виски поседели. Но все равно был очень красивым. Возвращался он поздно, иногда и ночевал в своем Реховоте, и все молчал о чем-то, до полуночи сидел у компьютера. Я думала, от дороги устает, даже была довольна. Прежде меня, честно говоря, утомляли его сексуальные стремления. Вечно он спешил, все ему было мало, рвался, стонал, закрыв глаза, и иногда мне казалось, что он где-то далеко от меня, что он и не замечает меня вовсе, хотя пальцы его больно впивались в мои плечи. А тут стал нежен

и тих, полюбил приносить цветы, и сам их расставлял в тяжелые низкие вазы в гостиной, а однажды после обеда вдруг поцеловал мне руку.

Все узнала, конечно, Циля. Наверное, Господь Бог специально создает таких людей, чтобы жизнь не казалась нам слишком привлекательной.

– Хавеле, – воскликнула она в полный голос после одного из наших обычных нудных собраний, – Хавеле, ты не поверишь, как тесен мир! Вчера я была у сестры в Реховоте и буквально нос к носу столкнулась с твоим мужем. Он вел под руку девушку. Совсем молодую. И, кажется, прилично беременную. Да, да, определенно беременную, месяцев семь, не меньше!

Самое смешное, что я вспомнила в этот момент один из вечных анекдотов Меира. Полания говорит своей подруге: “Как ты сегодня чудесно выглядишь! И прическа, и косметика такая удачная, и платье”. – “К сожалению, не могу сказать тебе то же самое”. – “А ты что, не можешь соврать, как я?”

– Конечно, – сказала я, лучезарно улыбаясь, – это любимая сестра Меира. Самая младшая. Она как раз год назад вышла замуж.

– Что ты говоришь, – восхитилась Циля, – надо же, чтобы брат с сестрой были так непохожи, она же абсолютная блондинка, просто светится!

Нет, я знала, что делать. В тот же вечер я пошла к своему гинекологу и попросила убрать спираль. Он не возражал, многие женщины в моем возрасте хотели еще одного ребенка. Потом я терпеливо дождалась следующих месячных, я не могла зря рисковать. Меир, конечно, ни о чем не подозревал. Я точно рассчитала дни, надела прозрачное белье, включила тихую музыку... Я так мечтала, чтобы получился мальчик, но уже через неделю знакомая тошнота подступила к горлу. Точно как с Таль. Главное было – скрыть до трех месяцев, чтобы не возникла идея аборта. Пришлось срочно сочинить про болезнь желудка, благо Меир ничего не понимал в медицине. Я отправилась на телефонную станцию – дети целый день болтают с друзьями, столько денег уходит. Важно было беззаботно улыбаться и говорить легко, как бы между прочим. Через час распечатка с телефонными разговорами за последний месяц лежала в моем кармане. Я нашла номер Реховота, звонили в основном по утрам, когда у меня уроки, а вечером только в четверг. Ну, да, по четвергам у нас педсовет. Я должна была услышать их разговор, я должна была бить ее же оружием.

В четверг вечером я ушла как обычно, но тут же вернулась через заднюю дверь и босиком пробежала в спальню, там была вторая трубка. Конечно, он ничего не заметил, он никогда ничего не замечал. Он даже молоко в холодильнике не мог найти, хотя я всегда ставлю сбоку на дверцу. Наконец, раздался звонок, я дождалась, когда Меир ответит, потом бесшумно сняла вторую трубку.

– Ми-иша, – сказал женский голос со страшно знакомой интонацией, – Ми-ша, родной, любимый мой, он улыбается! Точно как ты! И морщит нос. Ты просто умрешь, когда увидишь!

Я готова был поклясться, что никогда не слышала этот голос. К тому же она говорила совершенно чисто, без малейшего акцента, у Яэль никогда так не получалось. Это и не была Яэль. Это была Авиталь. Маленькая красавица Авиталь, которую мы вместе укладывали спать в их нескладной веселой квартире, и потом бегали любоваться пухлым нежным личиком и разметанными кудрями. Ей и сейчас должно быть не более двадцати.

Я на цыпочках вышла на лестницу и бесшумно закрыла дверь. Борьба закончилась. У меня не было больше сил. Просто не было сил. Яэль все-таки победила меня.

Утром я бежала из своего дома. Я поспешно собирала вещи, покрикивая на ничего не понимающих сонных детей. Благо они уже были достаточно большими. Почти до самых родов я скрывала беременность от Меира, тем более это было не сложно, он почти не возвращался из Реховота. Я родила в срок хорошую крупную девочку. Таль и Авив бегали за молоком и фруктами, коллектив учителей приобрел все самое необходимое, включая коляску. Но моя девочка не захотела войти в этот мир. Кто знает, может быть, она права?

Нет, невозможно так сидеть и ждать! Позвоню его командиру. В конце концов, я ведь не интересуюсь их военными тайнами, просто я мать и имею права знать, где мой ребенок! Вот и карточка у меня хранится...

Нет нигде! Конечно, Авив спрятал! Такой скромный мальчик, все боится, что я кого-то побеспокою. Совсем еще малыш, как будто я не знаю, где он может прятать, у него всего-то один ящик в столе запирается. И точно тем же ключом, что наша кладовка. Вот она, карточка, под дневником! Он давно ведет дневник, но уверен, что никто не знает. Нет, не подумайте, что я читаю чужие дневники. Но это ведь не чужой, а моего сына, должна же я знать, что беспокоит моего мальчика. Вот, последняя запись от вчера. Как раз перед уходом.

“Сигаль меня не любит. Теперь я знаю абсолютно точно, сам видел вечером, как она целовалась с Матаном”.

Бедный мальчик! Сколько у тебя еще будет таких Сигаль, смешно сказать!

“Хорошо, что нас завтра перебрасывают, некогда будет ни о чем думать. Только трудно представить отряд без Ицковича. Как страшно видеть мертвого человека – вот лежит перед тобой, все на месте, спина, ботинки, даже старые царапины на руке, а его самого уже нет”.

Боже мой, за что наши дети должны это выносить!!

“А вдруг со мной такое случится? Последние дни я все время об этом думаю. Может быть, правду говорят, что существует предчувствие?”

Ну, случится так случится. Сигаль поплачет, конечно. На плече у Матана. Отцу я давно не нужен, Таль только своим Дани интересуется, малышка просто никого не замечает. Ей даже лучше, моя комната достанется. Вот только мама. Даже страшно подумать, как она не дождется звонка и примется звонить на пелефон, знаю я ее клятвы! И автоответчик станет твердить одно и то же... Нет! К черту! Хотя что-то я должен для нее сделать. Можно ведь забыть пелефон. Так, случайно забыть, но не очень заметно, под столом, например. Тогда у нее будет еще несколько часов покоя. Хотя несколько часов...”

Нет, нет, это не предчувствие! Никакое это не предчувствие, просто истерика. Бедный мальчик, он так переутомился, переживает из-за Ицковича. Да еще эта Сигаль, чтоб она провалилась! Надо успокоиться, обязательно надо успокоиться. Вот белье не вывешено. А погода такая хорошая. Солнышко мягкое, все цветет, не то, что летом. Вон дети бегают. И машина подъехала. Какая-то незнакомая машина. Люди выходят, все в военной форме. Вот, пожалуйста, не все же военные под бомбами! Эту девочку я где-то видела. Сигаль! Я совсем с ума схожу, их в форме и не отличишь. А зачем они приехали целой группой?! ... Они что... сообщать приехали?! Нет, нет, мало ли машин на улице. К нашему подъезду идут. Ну так что, у нас в доме шесть этажей. Главное не думать, не думать ни о чем. Вот сейчас малышку привезут, пока можно позвонить кому-нибудь. Вот я Меиру позвоню.

А почему... почему плакал Меир... Нет, он поклялся здоровьем Авива. ... Но ведь если человека нет... если человека уже нет... тогда можно...

Лифт остановился! Зачем звонить так громко? А если я отдыхаю? А если меня совсем нет дома? Конечно, меня нет дома... меня просто нет дома!

Благословен будь, Господин мой, Бог наш единый, царь мира... Благословен будь... Благословен будь...

“И ВСЕ-ТАКИ ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЖИТЬ”

Рина Левинзон

И все-таки давайте будем жить,
Как будто ничего нам не грозит,
Чтобы свою мелодию сложить,
Чтобы любви единственной служить,
Покуда свет еще сквозь тьму сквозит.
И все-таки давайте будем петь,
Пусть жарок день и пуля холодна...
Нам надо еще многое успеть
И чашу жизни – всю – допить до дна.
Мы над бедой умеем ворожить
И нам давно не привыкать к огню,
Нам умирать десятки раз на дню...
И все-таки давайте будем жить!

* * *

Прекрасна суета сует,
Все наши хлопоты дневные,
И волшебство ночных бесед.
Их отражения двойные.
Я выбираю этот свет,
С его крадущейся повадкой,
С его негладкой жизнью краткой
С его загадкой вековой...
Я выбираю мир живой.
Я выбираю белый свет
С его судьбой, его загадкой,
С его старинною закладкой
На букве той, которой нет...

* * *

Еще так рано-рано,
еще звезда видна
над темнотой Ливана,
над высотой окна.

И справа свет, и слева,
все – в зареве одном.
Поделится напевом,
поделится вином.

Продолжится дорога,
застынет в горле крик.
Поделится тревогой
в горчайший этот миг.

Поделится молитвой,
трагедией слепой.
Перед последней битвой
поделится судьбой.

Авторский перевод с иврита

* * *

Живите,
владейте тем,
что вы награбили у нас.
Но не будет вам покоя.
Убитые младенцы плачут
в каждой комнате,
в каждом отнятом доме.
Разве не слышите вы
их плач
в этих золотых монетах,
в этих дорогих картинах?
Но и теперь не насытились вы,

и страна моя маленькая
для вас —
еще один неубитый еврейский
младенец.

* * *

Это осень без осени.
Сны
Остаются в другом измерении.
Подождем до ближайшей весны,
До сиянья ее, озаренья.

Это небо без вечных Небес,
Это страх, возвратившийся снова.
Подождем до ближайших чудес,
До открытия вещего Слова.

Иегуда Амихай

НОЧЬ ШЕСТОГО ДНЯ

Ты придешь ли ко мне ночью ранней,
На дворе уже сухо белье,
Пусть война никогда не устанет,
Мы сейчас далеко от нее.
И дороги летят бесконечно,
Их сравню с одиноким конем...
Мы дом свой закроем вечером
С плохим и хорошим, что в нем.
Мы знаем с тобой, что граница
Близка и туда нам нельзя.
Отцы за нас будут молиться,
И с молитвой сольется слеза.
Пусть земля не темнеет от гнева,
Вновь над городом гаснут огни,
И начальную заповедь неба
Мы двое закончить должны.

Перевод с иврита Рины Левинзон

ЗА ЧТО ВСЕ ЭТО МНЕ?..

За что все это мне?..
Звездочка одна в снах моих –
словно капля на стекле ночном
готова скользнуть вниз...
За что все это мне?..
Лицо твое в ладонях моих –
словно слепая луна в окончании тьмы
И весь этот возраст печальный,
и вся эта грустная радость
в конце жизни моей...

* * *

Падают лунные лучи
и серебристые чешуйки
в ладони листа,
который в окне моем,
а в комнате моей
я лежу рядом с тобой,
сыт этой временной пищей
в ленивости сна.
И ночь
шепчет
все эти мужские глупости...
На устах твоих –
улыбка
вечности...

* * *

Ложь твое –
речное ложе
в сезон дождей,

и только ты знаешь,
куда течет поток,
и куда он несет меня,
когда плыву я
в твоих закрытых
очах...

* * *

В пламени
дом мой,
и сам я горю,
горю.

И разве важно,
что она жена,
и разве важно,
что я ей муж,
в пламени дом мой,
и сам я –
всего лишь
очаг для нее.

НЕЖНОСТЬ

Помню пальцы твои –
Десять осенних капель.
По моему лицу
Нежно они стекали.
Синий зрачок звезды –
В ресницах березы.
Ветер схватился рукой
За распахнутый ворот.
Лебеди улетели,
Листья навзничь упали.
Всё текут по лицу моему
Осенние капли..

ИЕРУСАЛИМ

Иерусалим – он всего-навсего небольшой город,
даже если никому не возвращать ничего.
И мы обойдем все стены его
со всех сторон,
и только вас не будет,
а Иерусалим весь –
он всего-навсего город, что был
Иерусалимом с его воспоминаниями,
город, весь, что был
и без стен, до тех пор
пока он тоскует по вам,
он столица вселенной,
той, что есть – вы.

Перевод с иврита Ал.Воловика

Анна Реак-Гофштейн

ХАМСИН

*В болотных травах
Кричит в печали птица,
Как будто бы вдруг
Вспомнила она то,
О чем лучше бы забыть.
(Из поэзии дзен)*

Хамсин придавил Якова, едва он переступил порог. Жаркий тяжелый воздух не двигался, не трепыхался, не струился. Он обжигал, поражал неожиданной силой, какой-то неземной властью, дьявольской жестокостью. За соседним забором замерли еще вчера буйствовавшие в своем неистовом цветении розы; притихли лилии, исчез их крепкий, пьянящий аромат, как будто они стремились спрятаться, показаться незаметнее и в тишине и забвении переждать эту напасть. Поникли листочки мяты. Герань, раскинувшаяся у каменного забора могучим деревом, робко прижалась к горячим камням. Лишь кактус торжествовал в этом безумном горниле. Его толстые листья, окаймленные колючками, упруго топорщились, а красные цветы на высоком крепком стебле гордо взирали на мир, заявляя всем своим нежным, измученным соседям: “Слабаки! Это не ваш мир. Что занесло вас, изнеженных европейцев, сюда? Или сбрасывайте свои шелковистые цветочки и обрастайте колючками, как я, или погибайте. Третьего не дано. Здесь царствую я, *цабар*, – колючий, толстокожий, грубый и неприхотливый”. Цветы слушали хамсинный бред кактуса, не перебивая: жалели силы на пустой спор с ним, да и знали по опыту, что хамсин – явление преходящее. День-другой – и жара спадет, ночью выпадет обильная роса, а на рассвете голубой воздух вновь огласится пением птиц, жужжанием пчел, стрекотом кузнечиков. Кто тогда услышит скрипучий голос кактуса?

Выйдя из дома, Яков постоял под навесом, надвинул пониже соломенную шляпу и нырнул в жар. Он перебежал дорогу, чтобы идти в тени домов, но и тень не спасала. Хамсин всегда действовал на него угнетающе. Он с отвращением посмотрел на поникшие цветы и торжествующий кактус. “Все здесь не наше, – подумал он, – удушливое, колючее, грубое. Кому мы нужны на этой “исторической”?”

Рядом по дороге проносились, сигналив ему, такси. Стоило поднять палец, и машина затормозила бы, приняв его в свое прохладное чрево. Но для Якова это была непозволительная роскошь. Три шекеля можно истратить более разумно. Он старался не думать о жаре, механически считал свои шаги и думал, что все это к лучшему, что сухой жар полезен (не зря же люди ходят в сауны). Обезвоживание ему не грозило, так как он всегда брал с собой бутылочку с замороженной водой. В такую жару лед быстро таял, но вода долго оставалась холодной.

* * *

Яков, старый холостяк, привык жить бобылем, умел управляться со своим нехитрым холостяцким хозяйством, не боялся никакой работы. Его растила рано овдовевшая мать, для которой он был единственным родным существом. В День Победы, когда во всех домах накрывали столы, пили и пели, устраивали во дворах танцы под гармошку или патефон, мать Якова запиралась в своей комнате и зажигала 36 свечей, по числу погибших родных. Яков притихал, видя ее заплаканные глаза, когда она выходила из комнаты в полдень. Она обнимала голодного мальчонку и ставила на стол лишь одну тарелку – для него.

– А ты, мама? – вопросительно поднимал на нее глаза Яков.

Мать качала головой и вновь уходила в комнату.

Яше казалось странным, что мама постится и плачет в этот день. Однажды он спросил ее об этом.

– Я не знаю, когда убили каждого из них, сынок. В этот день я поминаю их всех, – ответила мать.

– А почему ты не ешь? – спросил Яша.

– У нас не принято есть в такой день.

У Яши возникало множество вопросов: у кого, “у нас”? Почему у соседей принято в этот день веселиться, есть и пить? Разве мы не тот же советский народ? Но он никогда не спрашивал. Поев, он вынимал из ящика письменного стола шахматы отца, раскладывал деревянную коробку и расставлял на

клетчатом поле коричневые и желтоватые фигурки из слоновой кости. Он научился играть по самоучителю. Любил играть сам с собой, разбирать простенькие этюды из отрывного календаря. Затем записался в школьный шахматный кружок и даже обыгрывал некоторых ребят. Мама работала учительницей младших классов. Когда Яша был в шестом классе, она перенесла инфаркт и после этого стала часто и подолгу болеть. Мальчик взял на себя все заботы по дому. Он почти не общался со сверстниками вне школы, а потому друзей у него не было. Да и после, в институте, у него не было друзей, да и девушек тоже. Так прошла жизнь. Мать умерла, а Яков, втянувшись в заданный однажды ритм жизни, не хотел его менять: работа, магазины, дом. В выходные он любил поиграть в скверике в шахматы с соседскими стариками. Он и сам быстро старился и к выходу на пенсию выглядел глубоким стариком, хотя чувствовал себя неплохо, не хуже, чем двадцать и даже тридцать лет назад.

Однажды, вынимая газеты из почтового ящика, он обнаружил записку на небрежно вырванном из тетради листке в клетку: “Жидовский агрессор, убирайся в свой Израиль!” Внизу была изображена свастика. До этого Яков не сталкивался с антисемитизмом вот так, лицом к лицу. Ему припомнился лишь один случай, который и антисемитским-то и не назовешь. Однажды, обыграв в шахматы соседа, он пошел к дому и услышал за спиной, как переговариваются на скамеечке игроки:

– И ты туда же с суконным рылом в калашный ряд! Неужели надеялся обыграть еврейчика? Шахматы – это же их национальная игра.

Получив записку, Яков сразу же стал хлопотать об отъезде в Израиль.

* * *

Уже в Израиле Яков понял, что приехал вовсе не в райский сад и даже не в страну, где его ждут и готовы принять как брата в большую дружную еврейскую семью (именно так он представлял себе репатриацию). Он прошел все этапы абсорбции: разочарование, почти отчаяние, озлобление, депрессию. Все удалось преодолеть, кроме неприязни ко всему местному, по его мнению, чуждому, отторгающему его, как инородное тело. Но надо было как-то жить, и Яков принялся искать работу. В его возрасте это было непросто. И все же он нашел именно то, что соответствовало его привычкам и характеру: *метанель* – работник по уходу за стариками.

Вот и знакомая дверь на втором этаже. Здесь живет один из опекаемых Яковым старичков. Всего их трое: два дня в неделю на каждого. Вначале был

один старичок – румынский еврей, с которым он говорил на идиш. Они так сдружились, что его подопечный звонил ему каждый вечер и они подолгу беседовали о жизни. Затем появился второй, который прослышал о добросовестном и душевном *метанеле*. Этот был из Польши. Он, кроме идиша, немного знал русский. А совсем недавно появился третий старичок, бывший киевлянин, поселившийся в Израиле в начале семидесятых. Его звали Павел.

У своих подопечных Яков выполнял разную работу: сопровождал их к врачу, ходил в магазины и аптеку, убирал, готовил, гладил одежду. Только Павел никогда не просил его о традиционных услугах. Он просил лишь составить компанию в прогулках и беседе. В доме у Павла было всегда чисто, в холодильнике было достаточно еды, а одежда была чиста, выглажена и аккуратно развешана в шкафу. Когда Яков спрашивал, кто все это делает, Павел улыбался и отвечал, что это совсем не сложно и он все делает сам. “Слишком дорогое удовольствие для одинокого человека, – добавлял он, – использовать приходящего всего два раза в неделю приятного собеседника для такой ерунды. Уверен, что твои подопечные просто-напросто лентяи. Если бы они все это делали сами, у них не было бы времени прислушиваться к болячкам, да и болячек было бы меньше”.

– Шалом, – сказал Яков, входя и снимая шляпу.

– Шалом, шалом, – радостно заулыбался Павел. – Жарко?

– Это не точное определение. На улице просто пекло.

– Ну-ну, – снова улыбнулся Павел. – Проходи, попей холодного лимонаду.

Павел поставил на стол запотевший кувшин, в котором плавали кружки лимона и листочки мяты.

Яков с удовольствием выпил стакан кисло-сладкой освежающей жидкости.

– Хорошо, что ты не опекаешь ортодоксальных старичков. Они бы тебя сразу объявили иноверцем.

– Почему? – растерянно спросил Яков.

– Истинный еврей не обнажает голову. Этим он выражает почтение Богу.

– Да я ведь неверующий. А снимать шляпу, по-моему, – признак вежливости.

– Ну-ну, – повторил Павел. – Как ты смотришь на то, чтобы погулять?

Яков испуганно вскинул на него глаза. “Вы должны делать все, о чем вас просят ваши подопечные”, – инструктировали работодатели. Яков всегда следовал инструкции. На сей раз просьба Павла показалась ему безумной.

– Гулять в такую жару?

– Я знаю местечко, где совсем не жарко и вполне можно насладиться хамсином.

– Как можно наслаждаться хамсином? – хмыкнул Яков.

– Пойдем, увидишь, – ответил Павел.

Он на несколько минут ушел в свою комнату и вернулся готовый к прогулке – в отутюженных брюках, голубой рубашке и голубой же кепке. (Восьмидесятидвухлетний Павел выглядел моложе своего опекуна). Якову ничего не оставалось, как последовать за ним.

Они прошли через двор и вышли на незнакомую улицу, прошли по ней немного и свернули в переулок, ведущий к небольшой сосновой рощице. В тени сосен стояли каменные скамейки и столы. Они уселись визави. Скамейка оказалась на удивление прохладной. Павел вытащил из своей сумки небольшой термос и два пластмассовых стаканчика:

– Вот, захватил холодного лимонада.

Они молча сидели на скамейке в звенящей хамсинной тишине. Воздух был напоен запахом раскаленной хвои. Где-то невдалеке стрекотал сверчок. По столу, лениво шевеля усиками, ползала какая-то букашка. Тишина и покой царили в мире.

– А ты говоришь, что хамсином нельзя наслаждаться, – сказал Павел. – Я полюбил хамсин в холодной тюремной камере.

– Вы сидели в тюрьме?

Павел молча кивнул.

– За что же вас посадили?

– За любовь.

Яков с удивлением посмотрел на собеседника. Тот засмеялся.

– Не слыхал о таком преступлении? Когда-то очень давно я учился в университете. Был романтическим юношей, иначе не пошел бы на филфак. Зачитывался Достоевским и Львом Толстым. На первой же консультации перед вступительными экзаменами я обратил внимание на худенькую девушку с огромными печальными серыми глазами. В эти глаза я влюбился мгновенно. Она сидела в аудитории, когда я вошел. Аудитория была полна людей, но я увидел только ее, вернее, только эти глаза. Мне вспомнились слова покойной бабушки: “Грустные глаза – признак еврейской души”. И потому я решил, что девушка – еврейка. Рядом со мной сидел мой друг Сашка по кличке Рыжий. Он толкнул меня в бок и прошептал, склонившись ко мне:

– Смотри-ка, дочь полковника милиции Мельника тоже поступает на филфак, – и он кивнул в сторону девушки.

Полковник Мельник был хорошо известен в городе своим махровым антисемитизмом. Поэтому версия о еврейской душе сразу же отпала. Когда девушка встала, я увидел, что одна нога у нее чуть короче и суше другой. Она заметно хромала.

Мы познакомились, и я сразу понял, что нравлюсь ей. Правда, она старательно делала равнодушный вид, но ее глаза не лгали.

Я поступил в университет, Люся, разумеется, тоже. И тут мы словно сошли с ума. Минуты не могли прожить друг без друга. Вскоре я предложил Люсе руку и сердце, совершенно не задумываясь, как мы будем жить, смогу ли я обеспечить комфортную жизнь избалованной и привыкшей к исполнению каждой своей прихоти полковничьей дочери. Она ответила согласием и пригласила меня прийти на следующий день, чтобы познакомиться с родителями. Но знакомство не состоялось: в ту же ночь меня арестовали. А на завтра арестовали моего отца. Нам предъявили абсурдные обвинения. Но они умели допрашивать, эти нелюди. Они вели допрос в одном помещении в течение нескольких часов, избивая то меня, то отца. Мы оба сознались во всем, что нам предъявили. Я не мог видеть окровавленный беззубый рот отца (а прежде я всегда любовался его ослепительной белозубой улыбкой), не мог слышать, как трещат его кости. Отца забили насмерть у меня на глазах. Я был близок к помешательству. Тогда, видимо, сработал какой-то внутренний защитный механизм, и я потерял память.

Воспоминания возобновляются с лесоповала. Мое место на нарах оказалось между двумя священнослужителями: справа от меня был раввин, рав Яков, которого даже блатные уважительно величали Яков Абрамович, слева – православный священник, отец Алексей, которого лагерники звали “юродивый”. Он был удивительно похож на Алешу Карамазова. Лагерное начальство, разместив их рядом, рассчитывало, что между иудеем и христианином начнутся распри. Но оба священнослужителя оказались людьми мудрыми и интеллигентными. У них всегда находились слова утешения и ободрения для тех, кто был сломлен. Иногда я просыпался ночью оттого, что они бормотали молитвы: они не клали в рот куска без благословения. Именно они, два священнослужителя, стали моими главными учителями в жизни.

Все началось с болезни. Я простыл и дрожал от озноба. Два моих соседа укрыли меня всем тряпьем, которое только у них было. Яков Абрамович тихонько молился, сидя на нарах и раскачиваясь, а священник молча лежал на тощем соломенном тюфячке и лишь время от времени крестился. Рав Яков, наклонившись к самому моему уху, прошептал:

– Ты ведь еврей, правда? Повтори за мной коротенькую молитву. Он услышит тебя, только открой рот. Он исцелит тебя, только открой свою душу. Ты согласен?

Мне трудно было говорить, и я молча сжал его руку.

– *Ду бист а гутер ингеле,** – сказал Яков Абрамович и погладил мою голову. От этого простого прикосновения я вспомнил маму и бабушку, вспомнил, что когда-то жил совсем иначе. Что же сделали со мной и за что? Я заплакал, а старый раввин утирал мне глаза и нос, совсем как маленькому и беспомощному ребенку.

– *Вейн, зунеле, вейн!*** – приговаривал он. А затем твердо сказал:

– А теперь повторяй за мной: *“Шма, Израэль, Адонай элохейну, Адонай эхад!”****

Я повторял за ним эти непонятные слова и чувствовал, что идут они из самого сердца. Рав Яков еще долго, почти беззвучно молился, а я пребывал в какой-то блаженной полудреме-полубреду. Мне стало жарко, и я уснул. Утром я с трудом поднялся и поплелся со всеми на работу. Был холодный день с сильным ветром. Мне было так холодно, что, казалось, еще немного и я свалюсь неподвижной ледышкой. Рядом со мной работал отец Алексей. Его дырявая телогрейка и разваливающиеся ботинки вряд ли грели, но по его виду нельзя было сказать, что он, как другие, страдает от холода.

– Неужели вам не холодно? – спросил я.

– Как же, сын мой, холодно, как и всем. Но я, работая, вспоминаю об апостоле Павле, и это согревает меня.

Уже в бараке, когда я прилег на нары, он вдруг обратился ко мне:

– Позволь мне рассказать историю твоего тезки.

Я молча взглянул на него.

– Павел был евреем, набожным евреем, и звали его Савл. Когда господь наш Иисус проповедовал свое учение, был схвачен, распят, воскрес и вознесся... – При этих словах я, помню, рассмеялся, но священник продолжал тем же спокойным тоном: – ...начались страшные гонения на его апостолов и всех верующих в него евреев. Одним из самых жестоких преследователей был Савл. В Святой Книге так написано о нем: “Савл терзал церковь, входя в дома, и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу”. Учение Иисуса Христа между тем распространялось его учениками все дальше и дальше. И вот однажды Савл выпросил у первосвященника письмо в синагоги Дамаска, чтобы и там выявлять и преследовать христиан. Он получил письмо и двинулся в Дамаск. Путь его занял несколько дней. А в последний день, когда он уже приближался к Дамаску, обрушился на тот край жестокий хамсин...

– Что обрушилось? – переспросил я, не понимая.

* *Ты хороший мальчуган (идиш).*

** *Плачь, сынок, плачь (идиш).*

*** *“Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един” (иврит).*

– Жестокий хамсин. В арабских странах и Палестине случается страшный жар, который зовут хамсином, – стал объяснять мне священник, и я до сих пор не знаю, откуда ему были известны подробности этого явления. – В такие дни воздух жарок и густ, как сахарный сироп. Все видится как бы в мареве. Небо становится светлым, земля горячее и беспощадно жжет голые ступни....

Я лежал на нарах в холодном бараке. Еще минуту назад я не знал, как согреть свое окоченевшее тело. Рассказ отца Алексея был так реален, что я почувствовал тепло в руках и ногах. Мне показалось даже, что я вижу это выгоревшее небо и красно-желтую раскаленную почву.

– Савл шел с караваном, обдумывая свои коварные планы, как вдруг засиял огонь небесный. Свет был так силен, что Савл упал на землю. И тут воззвал к нему Иисус, которого он преследовал, вопрошая, за что он его гонит. Он велел Савлу идти в город, а там будет указано ему, что делать. Поднялся Савл с земли и ничего не видел. Понял он, что ослеп. И тогда бывшие с ним люди повели его за руку к Дамаску. Савл не видел ничего, зато другие чувства обострились: кожа сжалась от жара, слух ловил, кроме чавканья жующих верблюдов, еле слышный стрекот кузнечиков и звон цикад. Он сжимал чью-то грубую шершавую ладонь с твердой, мозолистой кожей и молча шел, не зная, что его ждет...

Мне нравилось слушать эту красивую сказку. Я, ээк, у которого в жизни не осталось ничего, кроме срока в этом вонючем, холодном бараке, лежал и улыбался, наслаждаясь жаром пустыни... Хамсин... Я словно перенесся туда и брел по жаркой однообразной местности. Пот струился по моему лицу, и я расстегнул рубашку.

– У мальчика жар, – услышал я голос справа.

Это пришел раввин. Его холодная костлявая ладонь легла мне на лоб.

– Это не жар, – прошептал я, – это просто хамсин. – Я открыл глаза и, улыбаясь посмотрел на старика.

– Ты сказал “хамсин”? – спросил он. – Откуда ты знаешь про хамсин? – Он взглянул на отца Алексея. – Вы рассказали мальчику о хамсине?

– Да, рабби, – посмотрел ему в глаза священник.

– Вы назвали меня “рабби”? Вы знаете, какой смысл вкладывают в это слово?

– Да, рабби. Это означает – учитель.

– Как же я, иудейский раввин, могу быть учителем православного священника?

– Мне было откровение, рабби, – встав на колени и прижав руки к груди. прошептал священник. – Мне было откровение. Во сне я видел Илью-пророка. Он сказал, чтобы я учился у вас, рабби, ибо вам через святую Каббалу открыты великие тайны.

При слове “Каббала” раввин вздрогнул и пристально посмотрел на священника. А тот продолжал:

– Илья-пророк поведал мне, что и наше пленение – промысел Божий. Задача наша – помочь спасению этого юноши. Мне велено было рассказать ему об апостоле Павле.

Я лежал между ними и чувствовал, что какая-то великая сила заполнила небольшое пространство над нарами. Воздух над нами был наполнен странными сияющими пятнами и шарами. Сильно пахло озоном, как после летней грозы. Я чувствовал себя сопричастным великому событию: два мудреца, представлявших, как мне тогда казалось, полярные философии, берутся спасти меня! Но тут только дошел до меня смысл сказанного. Спасти? Я рассмеялся.

– Ты смеешься? – склонился надо мной Яков Абрамович.

– Как же вы собираетесь спасти меня? Если вы можете это сделать, почему сами не спасетесь?

Они вновь взглянули друг на друга.

– Загубленное поколение, – пробормотал раввин и, повернувшись ко мне, сказал: – Имеется в виду совсем другое – спасение души.

Раввин и священник приступили к своим вечерним молитвам, но я уже ничего не слышал – я уснул. Утром я проснулся совершенно здоровый. Мне казалось, что я спал много часов, так хорошо я себя чувствовал...

– Э, голубчик, – вдруг спохватился Павел, – заговорились мы с тобой. Посмотри-ка на часы. Время мое уже давно истекло.

Яков посмотрел на часы: без четверти четыре! Павел открыл термос и разлил лимонад в стаканчики:

– *Лехаим!* Спасибо тебе, что так внимательно слушал меня. Знаешь, Яков, можешь в следующий раз не приходить, я подпишу тебе бланк.

– Что вы! Это вам спасибо. Но если вы не хотите, чтобы я приходил, я не приду...

– Ты меня не понял. Сегодня ты был со мной дольше положенного, значит, в следующий раз можешь отдыхать.

– А я-то хотел напроситься к вам в гости. Уж очень интересно узнать, что было дальше.

– Тебе действительно интересно? – пристально посмотрел на него Павел.

– Очень.

– Знаешь что, завтра пятница, то есть *эрев шабат**. Приходи ко мне на ужин. Только не поздно, чтобы мы успели поговорить.

– Нет, нет, спасибо, у меня дома еда есть. Я поем дома, а если вы разрешите, потом приду.

– Слушай, Яша, я ведь приглашаю не потому, что тебе дома есть нечего. Вместе встретим субботу. Поговорим. Приходи.

В пятницу хамсин бушевал до самого заката, а потом вдруг присмирел. Повеял прохладный ветерок. Небо затянули облака. Яков шел к своему подопечному уже не как *метанель*, а как гость, и потому приоделся: надел черные брюки, белую рубашку, думал даже галстук повязать, но решил, что это будет ни к чему. С утра, делая покупки в *маколете***, он долго раздумывал, что купить.

– Какая у тебя *баайя**** – спросил хозяин-ватик.

– Да вот, пригласили на ужин, а идти с пустыми руками как-то неудобно.

– Так возьми бутылку вина или водку.

– Водку я брать не буду, а вот вино, пожалуй, возьму.

Павел, видимо, ждал – отворил, как только Яков приблизился к двери. Он тоже был в черных брюках и белой рубашке с кипой на голове.

– Шалом, – сказал Яков.

– *Шабат шалом*, – ответил Павел, и Яков, смутившись, повторил за ним:

– Да, да, *шабат шалом*! Вы извините, я в религии абсолютный дилетант.

– Это не религия, а традиция. Но ты не смущайся, голубчик, проходи.

Яков вошел, держа за спиной пакет с бутылкой вина и не зная, как вручить ее Павлу. Но тот сам спросил:

– Ты принес что-то? О, отличное вино. Спасибо. – Он поставил бутылку на стол.

Вино действительно оказалось хорошим. Поужинав, Павел и Яков сидели на балконе в приятной вечерней прохладе и потягивали вино. Молчали. Яков с непривычки немного захмелел. Слегка кружилась голова, и тело казалось удивительно легким. Ему было очень приятно в обществе Павла. Павел сидел, прикрыв глаза, и Яков подумал, что он задремал.

– Отца Алексея придавило деревом, – вдруг тихо произнес Павел. – Я думаю, что его просто убили. Он всегда был очень осторожным, а тут оказался в самом опасном месте. Когда я прибежал, он был еще жив. Я схватил его

* *Эрев шабат (иврит)* – наступление субботы.

** *Маколет (иврит)* – небольшой частный продуктовый магазин.

*** *Баайя (иврит)* – проблема.

за руку и он слегка сжал мою ладонь. Губы его шевелились. Я склонился над ним и услышал тихий, как шелест, голос: “Всегда иди Божьим путем”.

Он был жив еще какое-то время, но уже ничего не говорил. Я плакал всю ночь. Рав Яков не сказал мне ни слова. Лишь утром по пути на работу он спросил меня:

– Он сказал тебе что-то перед смертью?

Я повторил последние слова священника.

– Он был достойный и чистый человек, – тихо сказал рав. – Не забывая его предсмертных слов.

Отец Алексей был действительно человек необыкновенный – скромный, мудрый. Он многому научил меня.

После смерти священника за мое обучение принялся раввин. Прежде он почти не вмешивался в долгие рассказы отца Алексея. Лишь время от времени говорил мне: “Никогда не забывай, что ты – еврей”. Теперь же каждый вечер после долгого утомительного дня старый раввин учил меня. Вначале я выучил *лошн-кодеш* – древнееврейский язык. Затем рав Яков стал обучать меня гематрии – числовому значению букв и всему, что с этим связано. Рав торопился дать мне как можно больше знаний, как будто чувствовал, что скоро уйдет.

Это случилось в один из промозглых ноябрьских вечеров. Весь день шел мокрый снег. К вечеру подморозило и снег повалил крупными хлопьями. Вскоре вся земля стала белоснежной, праздничной, как невеста перед венцом. Нас загнали в вонючий, грязный барак – наше холодное постылое жилье. Я влез на нары и вытянул свои замерзшие ноги. Вскоре пришел рав Яков. Когда он влез на свое место, я увидел, что руки его дрожат, а впалые, обычно желтые щеки пылают лихорадочным румянцем.

– Яков Абрамович, – сказал я, – вы больны, у вас жар. Ложитесь, я принесу вам воды.

– Нет, нет, – бормотал он. – Я скоро уйду, да и ты тут не задержишься. Близок конец дьявола, сдохнет он, как последняя собака.

– Отдохните, вы больны, – пытался я остановить его, как мне казалось, бред.

– Нет, нет, – замахал руками рав, – некогда отдыхать. Слушай и запоминай все, что я тебе сегодня скажу. Помнишь, священник говорил о спасении души? Сегодня я открою тебе тайну спасения. Сегодня ты более подготовлен, чтобы понять. Каждое слово в святой Торе говорит об этом. Надо только понять. Захотеть и суметь понять. Помнишь, каким словом начинается Тора? “*Берешит*” – “Вначале”. Это не обычное слово, как и каждое слово в Торе. Но в “*Берешит*” – весь смысл творения, начало и конец, смысл всего

существования. Смотри, буква “бет”, с нее начинается слово. Она как бы отсекает все, что было до того. Это начало новой истории. На то, что это не первое творение Отца небесного, а лишь новая история, указывает коротенький хвостик, выступающий снизу снаружи за вертикальную линию. Этот штришок как бы связывает это творение с предыдущим, первым. Буква “бет” имеет, как ты помнишь, еще и цифровое значение “2”. Значит, история в Торе описывает второе творение Элохим. – Рав Яков говорил торопливо. Его дрожащие руки беспрестанно что-то чертили на тощем тьюфяке. Мне было страшно смотреть на него, но в то же время я не мог отвести глаз от его запавшего беззубого рта, окруженного седыми торчащими волосками.

– Постарайся запомнить все, что я тебе говорю. Вот, смотри, вторая буква “рейш”. Видишь, как она выглядит? – Рав чертил букву. – Верхняя часть – ровная линия, она там, в царстве Божьем, она символизирует силу, энергию, мощь Творца, свет Его. Достаточно малой струйки этой силы, – видишь, как тонка линия, опускающаяся вниз, ее нижняя проекция – просто точка, – и свершается творение. Теперь – “алеф”. Это двусторонняя связь небес и души. Эта буква указывает на то, что все в мире взаимосвязано. Мир един, неделим, взаимопроникающ. И это – основа основ. Не зря “алеф” – первая буква алфавита. А то, что человек чувствует себя обособленной, самостоятельной личностью – иллюзия и ошибка. Дальше идет буква “шин”. Она указывает на то, что все в мире триедино. Три силы спускаются вниз и обретают единое земное тело...

– Так ведь и в христианстве все триедино. Так говорил мне отец Алексей, – вставил я. – Бог-отец, Бог-сын и Бог – Святой Дух.

– Ша! – гневно прошипел рав. – Ша! Не смей перебивать! У меня совсем мало времени. Запомни, в каждом человеке, в каждом, есть искра Божьего света. Она имеет вид трехлепесткового цветка – вот эти три лепестка буквы “шин”: сила Бога, мудрость Бога и бесконечная любовь Бога. Это частица солнца, ведь солнце – “шемеш” – начинается с буквы “шин”. Следующая буква – “юд”. Этакая маленькая капелька, – рав стал рисовать дрожащим, скрюченным пальцем запятые. – Видишь, как мала она? Она немного напоминает миниатюрную “рейш”, но сила ее не достигает земли, она повисает в пространстве. Ты спросишь, почему? Отец небесный дал своим творениям новый мир, отделив его от ошибок прошлого буквой “бет”. Он излил на каждого свет свой через букву “рейш”, через “алеф” дал возможность двусторонней связи. Он разъяснил, что в каждом есть Его сила, Его мудрость и Его любовь. Но приняли ли люди бесценный дар Божий? Нет! Вспомни историю Адама и Евы и всех их потомков. Они закрыли душу,

спрятали ее за непроницаемый экран плотских страстей, тем самым перекрыв все каналы, по которым может поступать всепробуждающий свет Божий. Буква “юд”, в которой сконцентрирована вся сила Вселенной, повисла в воздухе. Человек закрыл путь Божественному. Результат – западня буквы “тав”. Все закрыто, нет доступа ни свету, ни воздуху. Но все явления Божьи не однозначны. Вся прелесть творения в том, что Господь дал человеку свободу выбора, сделал его равным себе. Закроешься на плотском, физическом, материальном и обретишь в конце концов пустоту, тщетную суету. Это состояние незаполненности знакомо очень многим. Не зря люди ищут утешения в пьянстве, наркотиках, азартных играх. Однако этот путь – погоня за пустотой. За этим следует конец, распад, катастрофа, возвращение в состояние первоначального хаоса. И тогда коротенький хвостик внизу снаружи буквы “тав” станет соединяющей линией, ведущей к следующему акту творения. Но до последнего момента дает Господь человеку право выбрать свет и свободу, вырваться из тугих пелен материального мира и просто легонько поддеть ножку буквы “тав”, приподнять ее, приоткрыть западню, и тогда хлынет свет, ибо концентрат буквы “юд” с радостью отдаст весь потенциал – “ехолет” – хранимой энергии и превратит мрачную западню в яркий день “йом”. Человек обретет силу, мудрость и любовь Бога, станет цельным, триединым, и по тонкому стебельку буквы “рейш” поднимется к высшей форме просветления. В слове “берешит” – вся история человечества от сотворения мира до двух вариантов конца: исправление души и обретение власти над Вселенной или – конец, распад...

Рав Яков зашелся в кашле. Я побежал за водой. Когда я вернулся с алюминиевой кружкой в руке, рав лежал с закрытыми глазами, судорожно хватая воздух.

– Выпейте воды, Яков Абрамович, – я попытался приподнять его голову. Он залпом выпил воду, вновь приподнялся, опираясь на локоть, и торопливо заговорил:

– Слушай, сынок, вот это старое пальто, которое больше походит на тряпку, возьми себе. – Старик кряхтя приподнялся, и стал вытаскивать из-под себя потрепанное подобие одежды.

– Спасибо, мне не нужно, у меня есть телогрейка, – стал отказываться я от подарка.

– Молчи, – гневно прошептал раввин, – молчи, ибо не знаешь цены тому, что я дарю тебе. Храни это пальто, а когда выйдешь отсюда, – тут рав пома- нил меня пальцем, и я наклонился к самому его лицу, – когда выйдешь отсю-

да, – шептал рав, – тебе, конечно, будет нелегко поначалу. Так вот, когда станет совсем невмоготу, отпори подкладку.

Старик опять закашлялся, лег и закрыл глаза. Постепенно его дыхание успокоилось, он, видимо, уснул. Я приподнялся и посмотрел на него. Через маленькие оконца барака пробивался лунный свет, усиленный сиянием снега. Лицо старика было умиротворенным и спокойным. Мне вдруг показалось, что он умер. Страх охватил меня. Страх потерять этого самого близкого мне, по сути, человека. Я пытался уловить хоть какое-нибудь движение в его лице. Оно было неподвижным, иссохшим, мертвым. Вдруг раввин открыл глаза и поманил меня пальцем.

– Послушай, – едва слышно прошептал он. – Послушай, сынок, мы много говорили о Творце, но я вдруг понял, что не сказал самого главного. Все, чему я тебя учил, не столь важно. Важно знать, каков Он. Он – лишь дух, сила, энергия. Энергия любви, полного прощения, сострадания.

– Как же Он допустил такую несправедливость? – спросил я. – Как допустил, что мы, ни в чем не виновные, погибаем в этой проклятой тюрьме?

– Не Он допустил, а ты Его не допустил сделать себя счастливым. Откройся для Него. Не ищи Его в дальних странах, не обвиняй Его в своих бедах, а более всего – не пытайся скрывать от Него ничего. Это невозможно. Он – внутри каждого. Он готов прийти к тебе на помощь каждое мгновение, только открой путь Ему. Ищи Его лишь в себе, сынок.

Утром Яков Абрамович не смог подняться. А я вынужден был идти на работу. Мысли мои в тот день были беспокойны. После работы я поспешил к своему учителю, но его койка была пуста. Рав Яков скончался, так сказали мне.

Предсказания старого раввина я припомнил, когда умер Сталин. Я вспомнил слова рава: “Близок конец дьявола. Сдохнет он, как последняя собака!” Осенью начались амнистии и заключенных стали отпускать.

После освобождения мне не разрешалось жить в больших городах. “Поселение” – таков был мой адрес. Я остановился в живописной сибирской деревеньке. От одного из бывших зэков я узнал, что в местном колхозе счетовод-бухгалтер скоро уходит на пенсию и решил предложить свои услуги. Я не надеялся на успех, но на сей раз мне повезло и я получил работу. Снял угол у скупого и зловредного престарелого дьячка – койку и колченогий столик за ситцевой занавеской, – и почувствовал, что начинаю новую жизнь. Ожидания были самые радужные – свобода, обретенная после долгих лет лагеря, дает пьянящее чувство безграничных возможностей. Но, как говорил на идиш один из моих сокамерников: “Дер менч трахт, унд дер Гот лахт”.* Все перевернулось в один миг.

** Человек предполагает, а Бог располагает.*

В деревне жили в основном люди пожилые. Я в шутку называл это селение “Последний приют”. Помогал старушкам управляться по хозяйству, и они давали мне в уплату кто пяток картофелин, кто пару яиц или овощи с огорода. Так прожил я месяца два. Однажды под вечер, возвращаясь домой от одной из подопечных старушек с какой-то едой в тряпице, я обомлел, увидев как с пригорка спускается неземное существо – юная девушка необыкновенной красоты. Заходящее солнце освещало ее сзади, и мне в первое мгновение показалось, что фигура ее окружена светящимся ореолом. Девушка вела под уздцы лошадку-пони. Я замер, решив, что это бред, сон наяву, мираж, – что угодно, только не реальность. Откуда здесь, в глухой сибирской деревне, такая девушка и, тем более, пони? Я стоял, не в силах сдвинуться с места. Девушка приблизилась, и я увидел стройную фигурку в выцветшем ситцевом сарафане, прекрасную головку в простом синем платочке, а то, что я принял за пони, было обычным жеребенком. Много лет я был лишен женского общества и уж никак не ожидал в “Последнем приюте” встретить такое чудо. Девушка была совсем молоденькой – лет четырнадцати-пятнадцати, не больше. Маленький вздернутый носик, пухлые, капризно изогнутые губы, огромные синие глаза, мраморная кожа – она совсем не была похожа на селянку. Вся ее внешность говорила о породе, аристократизме, о долгом генетическом отборе. Природа из поколения в поколение должна была выбирать и коллекционировать лучшие черты, чтобы в конце концов создать такое чудо. Поравнявшись со мной, она на мгновение остановилась, улыбнулась, ослепив меня блеском зубов, и прошла мимо, покачивая худенькими бедрами. Жеребенок послушно топал за нею. Я смотрел им вслед, пока они не свернули за один из домов.

Так я впервые увидел Волю, дочь ссыльных. Позже я узнал, что предки ее матери при царе Петре приехали в Россию из Германии, отец же ее был чистокровным евреем. Она больше походила на отца, хотя, несомненно, так называемые арийские черты присутствовали в ее внешности.

Вторая встреча с Волей была роковой. Это случилось в самый разгар лета. В непривычно жаркий для Сибири воскресный полдень я отправился к лесному озеру, чтобы немного освежиться и поплавать. Услыхав плеск и смех, я замер и осторожно выглянул, раздвинув ветви. Я увидел Волю. Она плескалась в воде, подпрыгивала и смеялась. Тут я понял, почему она носит платочек, – голова ее была острижена наголо, коротенький ежик русых волос сиял в лучах солнца. Влажная кожа сверкала. Крохотные холмики грудей с розовыми сосками, тонкая талия, впалый гладкий живот и темный треугольник внизу его – я увидел все это, когда она вышла на берег. И что-то звериное проснулось во мне. Я быстро и бесшумно сбросил одежду и в следующее мгновение в каком-то нечеловеческом прыжке оказался рядом с ней. Я повалил

ее на траву под плакучей ивой. Все, что было дальше, я помню как в тумане. Я овладел ее телом грубо, по-скотски. Она лишь вскрикнула, когда я вломился в нее. Она смотрела на меня с ужасом, видимо, онемев от страха. Не знаю, сколько это продолжалось. Когда, наконец, я оторвался от нее и лежал, наслаждаясь давно не испытанным ощущением приятной опустошенности, почти засыпая, в моем мозгу прозвучал голос рава Якова: “Как больно, что мне не уберечь тебя от зверя!” Я вскочил, осознав, что натворил. Воля лежала на траве в лужице крови. Ее лицо было бледно, глаза закрыты и мне показалось, что я убил ее. Я схватил ее за плечи и встряхнул. Она открыла глаза. Увидев меня, в страхе отстранилась, а затем поднялась и шатаясь пошла к воде.

“Что я натворил! – стучало у меня в мозгу. – Что я натворил!”

Она обмылась в озере, натянула сарафан и пошла, с трудом передвигая ноги. Я тоже вымылся и пошел домой, проклиная ту минуту, когда решил пойти к озеру.

Домой я пришел сам не свой, сразу пошел за свою занавеску и рухнул в постель. Я уснул мгновенно и тут же перенесся в тюремную камеру. Рав Яков и отец Алексей держали меня за руки. “Они все знают”, – мелькнуло у меня в голове.

– Простите, – прошептал я. – Простите.

– Не мы прощать должны, – тихо ответил раввин.

– Как же мне жить теперь? – шептал я. – Как будто камень на душу повесил. Теперь только утопиться осталось. Как с этим грехом, с камнем этим жить дальше?!

– “Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла...” – бормотал отец Алексей.

– Какого еще угла? То, что я сделал, невозможно простить!

– Любой грех требует искупления, – бормотал священник.

– Яков Абрамович, как мне жить дальше? – припал я к руке раввина.

– Все во власти Божьей. *Элохим гадоль!** – рав тихо поднялся и вытащил из чемоданчика то самое старое пальто, которое когда-то подарил мне. В его руке блеснула бритва. Он вспорол подкладку и вынул сверток, завернутый в мешковину. Он осторожно развернул его и извлек скрученный трубочкой *талит*. Ткань его была необыкновенно тонкой и нежной, продетые по четырем углам кисточки-*цицит* глубокого синего цвета, да и весь *талит* излучали свет. Рав Яков набросил его на меня, укрыл меня им с головой и зашептал: “*Шма, Исраэль...*” Я повторял за ним. Ткань нежно касалась моих щек и рук, мне стало необыкновенно покойно и хорошо.

* *Господь велик (иврит).*

Мне казалось, что я слышу трубные звуки *шофара* и незнакомую гортанную речь, чавканье верблюдов, стрекот цикад и монотонный тихий звон раскаленного воздуха. Я видел опаленные солнцем горячие камни пустыни. Хамсин... Когда я открыл глаза, уже светало...

В первые дни после случившегося каждое мгновение мне казалось, что за мной должны прийти, арестовать – ведь я совершил насилие. Но дни за днями проходили в обычном порядке. Ночами я мечтал о Воле, я страстно хотел ее и боялся встречи с ней.

Встретились мы уже в конце октября. Я собирал в лесу хворост. Она подошла неслышно и остановилась у дерева.

– Эй! – окликнула она.

Я выпрямился и вздрогнул, увидев ее. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Было уже довольно холодно, и она была одета по-зимнему: длинная грубая юбка, потрепанная телогрейка, теплая шаль на голове.

– Я беременна, – вдруг сказала она. Я вздрогнул как от пощечины.

– Что молчишь? Тебе нечего мне сказать?

– Прости, – пробормотал я.

– Я давно простила, – она смотрела, ожидая еще чего-то.

– Скажи, что я могу сделать? Я готов, я сделаю все, что ты скажешь, – я говорил и чувствовал, что не могу выразить словами свою готовность разбиться в лепешку ради нее, умереть ради нее... Слова звучали как-то фальшиво, хотя я говорил искренне. Я боялся, что она не поверит. Она подошла ко мне, пристально посмотрела мне в глаза.

– Ты хочешь, чтобы мы поженились? – сам не знаю, почему спросил я.

– Да.

– Я готов.

– Ты говоришь так, как будто это я тебе делаю предложение, – усмехнулась Воля.

– Прости меня, – прошептал я поняв, что стал дикарем, неотесанным чурбаном. Вдруг вспомнилось, как делал я предложение Люсе, вспомнилась и страшная ночь, последовавшая за этим. В одно мгновение пронеслась в памяти моя тюремная жизнь. Во что превратило меня это страшное, незаслуженное наказание?! Разве виноват я в том, что стал зверем?

– Прости, – снова сказал я. – Годы в лагере сделали меня таким.

– Лагерь тут ни при чем, – сказала Воля. – Это, видать, всегда сидело в тебе.

– Что ты можешь знать о лагере? – горько усмехнулся я.

– Я родилась в лагере. Кроме лагеря и этой деревни, я не видала ничего...

Павел надолго умолк. Затем принес еще одну бутылку вина, налил в бокалы.

– Лехаим!

– Что же было потом? Вы поженились?

– Да, – не сразу ответил Павел.

– А ребенок? Родился ребенок? Ведь она была беременна?

– И ребенок родился, – словно нехотя ответил Павел и вновь надолго умолк. Яков посмотрел на часы.

– Ого! Уже двенадцатый час. Я, пожалуй, пойду.

– погоди, – Павел положил ему руку на плечо. – Трудно вспоминать такое. Я никогда никому не рассказывал о себе. Сейчас впервые все свое прошлое в памяти прокручиваю... Ты знаешь. Воля была очень необычным человеком. Порой мне казалось, что она и не человек вовсе. Может быть, ангел или просто существо из другого мира. Я не просто любил ее. Я ее боготворил. Однажды, незадолго до родов, когда мы лежали в постели, я гладил ее большой круглый живот, вдыхал пьянящий запах ее волос, она вдруг сказала:

– Знаешь, Павлуша, я ведь знала, что произойдет, в тот самый миг, когда встретила тебя впервые.

Я приподнялся, удивленный ее словами.

– Что значит знала? Что знала?

– Все. И то, что ты меня изнасилуешь, и то, что мы поженимся. Я всегда знаю, что произойдет.

– Что же будет с нами? – смеясь спросил я, приняв ее слова за шутку.

Воля села и посмотрела на меня без улыбки.

– Тебе это знать не нужно.

– Это почему же?

– Тебе же лучше.

Она вновь улеглась, устраиваясь поудобнее в моих объятиях.

– Может быть ты знаешь, кто у нас родится?

– Сын, – коротко ответила она.

– Сын? – закричал я. – И это мне знать не нужно?

– Зачем?

– Сын! Ты знаешь, как я хочу сына, мужика, друга!

– Не будет он тебе другом.

– Почему?

– Не спрашивай. Придет время, сам все узнаешь.

– Волька, не пугай меня.

– А я и не пугаю. Давай-ка спать, Павлуша.

Я не придавал тогда значения ее словам. А вскоре она родила. Роды принимала повивальная бабка из соседней деревни, тоже из ссыльных. Роды были тяжелыми. Мать Воли то и дело выбегала из комнаты и на мой безмолвный вопрос отрицательно качала головой. Всю ночь я метался, не зная, как помочь. Под утро, присев на улице на скамью под окном комнаты, где рожала Воля, я задремал.

– Проснись, слышишь, Павел, проснись, – разбудил меня отец Воли.

Я вскочил.

– Что? Родила?

– Да. Слава Богу. Поздравляю. У тебя родился сын, а у меня внук.

Я помчался к Воле. Она лежала бледная, измученная и оттого еще более похожая на девочку-подростка. На ее опавшем животе лежал младенец, завернутый в старенькую, чисто выстиранную простыню. Она смотрела на него, как девочка смотрит на куклу, – с любопытством и радостью.

Я поцеловал жену и посмотрел на ребенка. Он и вправду был похож на красивую гуттаперчевую куклу.

– Вот и свершилась воля Божья, – чуть слышно сказала жена, не отрывая взгляда от малыша. Тот, словно услышав ее слова, открыл глаза и посмотрел на нее, а затем на меня. Его взгляд был вполне осмыслен. В комнату вошли родители Воли и повивальная бабка. Все трое были встревожены.

– Что случилось? – спросил я.

– Странная история, – растерянно произнес отец Воли. – Мальчик родился с зубами.

– Не странная, а очень плохая история, – вмешалась повивальная бабка. – Я принимаю роды всю свою жизнь. Сотни младенцев через мои руки прошли, а такого в жизни не видала. Не к добру это. Помянете мое слово.

– Зачем вы так говорите?! – встрепенулась мать Воли. – Всякое в жизни случается. Спасибо вам за помощь, примите плату, а дальше мы как-нибудь сами управимся.

– За такое я и деньги брать не стану. Но глядите, не к добру это. – Она с опаской посмотрела на младенца, а тот, словно ждал ее взгляда, вдруг зашелся в плаче, распахнув рот. Я вздрогнул от неожиданности: в деснах его торчало несколько зубов – маленьких и острых. Повивальная бабка, крестясь, пулей выскочила из дома. Вышли из комнаты и родители Воли.

– Что это может значить? – растерянно спросил я.

– Лучше не спрашивай, – прошептала Воля.

Младенец плакал, и Воля дала ему грудь. Он впился в ее плоть и заурчал, как котенок. Воля сморщилась от боли. Когда, наконец, он оторвался от ее груди, я увидел вокруг соска алый овал, сочащийся кровью.

– Волька, что же делать? Так не может продолжаться.

– Не волнуйся, завтра эти зубы выпадут.

Назавтра зубы действительно выпали. Воля просто вынула их из десен малыша, сложила в тряпицу и попросила меня закопать на берегу озера под плакучей ивой.

Мальчик быстро рос и хорошо развивался. Он был необыкновенно красив. Но я уделял ему мало времени, так как должен был работать, зарабатывать для своей семьи. Я не отказывался ни от какой работы. Научился всему: ремонтировать дома, класть печи, чинить сельскохозяйственную утварь, машины, копать колодцы. Все это я делал после основной работы в конторе. Домой приходил поздно, когда малыш уже спал. Наскоро ел, спрашивал у Воли, как дела, и ложился спать. Воля всегда говорила, что все в порядке. Лишь однажды, когда выдался свободный вечер и мы вдвоем сидели у стола (Артемке было уже больше года), я увидел, как он, прекратив игру, пристально следит за ползущей по столу мухой. В какое-то мгновение, выбросив руку вперед, он словил муху, зажал ее в пальцах и, урча, как зверек, стал обрывать ей лапки, а затем крылья.

– Ты что делаешь? – закричал я. – Зачем мучаешь муху?

Артем кинулся ко мне и вцепился ногтями в щеку. Я закричал от боли, а сын, урча, спрятался под стол. Когда я спросил Волю, что происходит, она спокойно сказала:

– Это наш сын. Какой он есть, он наш. Прими его таким, каков он.

– Но он, видимо, психически больной. Он садист. Повитуха была права.

– Да, – спокойно сказала Воля. – Она была права. Но это наш сын. Я люблю его и ты люби его.

– Как же можно любить такого? Вот у других дети ласковые, добрые.

– То у других. А у нас такой. Люби его ни за что, просто потому, что он есть.

Мы уже легли спать, а я все никак не мог успокоиться. Но Воля, обняв меня, уснула, ровно дыша и улыбаясь во сне. И тут только, в свете ночника, я увидел синяки на ее теле. Видимо ребенок истязал и ее.

Прошло еще полгода. Однажды в полдень в контору прибежал соседский мальчишка с криком:

– Дядя Павел, скорей бегите домой! Ваш Артем в озере утонул.

Я помчался домой. Возле дома на скамье, на той самой, где я получил весть о рождении сына, лежал мой мертвый ребенок...

Мы похоронили его там же, на берегу озера.

– Под плакучей ивой? – спросил Яков.

– Плакучая ива к тому времени засохла, а на том месте, где я закопал зубы ребенка, выросло незнакомое мне растение, все в шипах и колючках. Под ним мы и похоронили нашего малыша. Мы сидели над свежим холмиком. Я курил. Воля взяла у меня из рук коробок спичек, зажгла одну и поднесла к странному растению. Оно занялось все сразу, запылало, обдавая нас жаром. И вдруг я услышал урчание, как будто где-то невдалеке кошка рвала на куски пойманную мышь. Колючий куст сгорел дотла. Воля собрала пепел и развеяла над водой озера, что-то напевая. Затем вновь присела у свежей могилки и спокойно сказала:

– Вот и замкнулся круг. И следа не осталось. Есть цена искупления каждого греха...

Павел вновь налил в рюмки вино.

– Так мы совсем опьянеем, – улыбаясь сказал Яков. Он действительно захмелел и от этого чувствовал себя как никогда легко и расковано.

– Это молодое вино – “божолс”. Воля, которая вообще не пила алкоголь, любила “божолс”. Это уже в конце нашей совместной жизни в Альпах.

– В Альпах?

– Да. Вскоре после смерти Артема нам разрешили покинуть поселение, разрешили селиться в городах. Мы уехали на Украину, сначала в центр, а затем перебрались на запад. Мы жили на самой границе с Польшей. Я начал работать на мебельном комбинате, а Воля окончила медицинское училище и работала акушеркой в местном роддоме. Через некоторое время в городе стали говорить об удивительной акушерке, в смене которой все роды проходили без осложнений, без боли, а главное, новорожденные, все без исключения, были здоровыми и спокойными. Однажды вечером к нам зашел сосед и рассказал, что у его дяди в Польше жена должна рожать. Это были уже четвертые роды. Все предыдущие закончились трагически: дети умирали через несколько часов после рождения.

– Мой дядя очень богат. Поверьте, он озолотит вас, только пусть пани Воля поможет.

– Да ведь это в Польше. Нам не разрешат пересечь границу, – возразил я.

– Деньги сделают все. Это уже не ваша забота. Вы только согласитесь.

Так мы попали в Польшу. Роды прошли легко, и мальчишка родился здоровый. Но пани Стася, мать младенца, умоляла нас не оставлять ее. И мы задержались. Вначале на месяц, затем на полгода... Муж Стаси, пан Владислав, оформил для нас польское гражданство, купил дом. Волю приглашали

принимать роды люди из разных уголков Польши и щедро оплачивали ее услуги. Мы могли бы там жить до глубокой старости, но однажды Воля сказала:

– Здесь нам больше делать нечего, Павлуша. Я очень хочу увидеть мир.

К тому времени мы были довольно богатыми людьми и смогли уехать на запад. На нашем “форде” мы исколесили всю Европу. Мы чувствовали себя свободными гражданами вселенной и были очень счастливы.

Так продолжалось несколько лет. Однажды в конце зимы мы оказались в Альпах, в маленьком горном городке недалеко от перевала Давос. Дотемна бродили по заросшему лесом склону. Затем остановились под красавицей-сосной, припорошенной снегом и от этого выглядевшей новогодней, волшебной. Я расстегнул куртку и, обняв Волю, прижал ее к себе, запахнув полы. Так стояли мы неподвижно в сказочном зимнем альпийском лесу, потеряв счет времени.

– Я люблю тебя, Волька, – прошептал я. Не знаю, почему я вдруг расстрогался до слез. – Вот стоим мы с тобой посреди вселенной, и все, что было прежде, вовсе вроде бы и не было или было не со мной. Как может уместить одна жизнь столько ужасного и прекрасного?!

– Как видишь, может, – тоже прошептала Воля.

– Ты знаешь, я много лет уже не вспоминал лагерь, а сейчас вдруг вспомнил так явно, будто товарищи по бараку, мои учителя, стоят рядом. Там, в лагере, я часто думал: за что судьба обошлась со мной так несправедливо и жестоко? А сейчас часто думаю: за что мне такое счастье?

– Ты не думай, ты просто живи. А тому, что было, прости.

– Есть вещи, которые невозможно простить.

– Всему, что тебе неприятно, прости. Обруби, не тяни за собой. Легко жить, когда ничего из прошлого не висит на душе.

– Не всякий так может.

– Всякий. Просто живи каждую минуту, как будто знаешь, что в следующую умрешь. От этого жизнь наполняется до краев. А для прошлых обид не остается места.

Мы еще долго стояли, прижавшись друг к другу, будто слились воедино, превратившись в первозданного Адама, в котором заключена была и Ева. Возвращаясь в гостиницу, я сломал сосновую ветку с красивой шишкой и в номере поставил ее в бутылку на тумбочке рядом с кроватью. Ночью мы лежали в постели, обнявшись. В окно заглядывал тонкий золотистый ноготок молодой луны. Комната была наполнена ароматом хвои. Счастье переполняло меня. С этим же чувством я проснулся утром. Встал, открыл балконную дверь, и в комнату ворвался чистый морозный воздух.

– Волька! Как прекрасна жизнь, – прошептал я ей на ухо.

После завтрака мы, снарядившись для спуска на лыжах, поднялись по канатной дороге на вершину. Мы стояли, взявшись за руки, и смотрели на покрытые снегом горы.

– Я чувствую себя властелином мира! – сказал я. Перед началом спуска Воля вдруг попросила:

– Павлуша, поцелуй меня!

Она смотрела на меня с такой любовью, тревогой и болью... Я тогда не понял этого взгляда, поцеловал ее, и мы начали спуск. Восторг, переполнявший меня, прорвался наружу:

– Я властелин мира! – что есть мочи закричал я.

Я не успел понять, что произошло, – что-то толкнуло нас сзади, поволокло, завертело... Я крепко сжимал Волину руку, не в состоянии произнести ни слова; я задышался и вскоре потерял сознание. Очнулся я через несколько дней в больнице с множественными переломами.

– Воля, – позвал я, не понимая, где я и что произошло. Подошли врач и медсестра, сделали мне укол, как видно успокоительный, а затем сообщили, что моя жена погибла. Снежная лавина, вызванная моим криком, убила ее.

– Это то, что осталось, – сказал врач и протянул мне варежку Воли. – Мы с трудом разжали вашу руку, чтобы вынуть ее.

Павел, спрятав лицо в ладони, умолк. Лишь после долгой паузы он смог продолжить:

– Жизнь моя потеряла всякий смысл. Я не мог оставаться в Европе. Уехал в Австралию, затем в Америку. Поселился в Нью-Йорке и стал работать водителем такси. Не для заработка. Просто эта работа мне нравилась: все время новые люди, каждый со своей историей. Однажды я вез из аэропорта в Бруклин раввина. За все время пути он не сказал мне ни слова – читал книгу в черном тисненном переплете. Когда он вышел, а я взял нового пассажира, тот протянул мне книгу:

– Ваша?

Я выскочил из машины, чтобы вернуть ее раввину, но не нашел его. Так у меня оказалась *Книга Теилим* – Псалмы царя Давида. Дома я раскрыл ее и прочитал первое, на что упал мой взгляд: “Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня”, и дальше: “Камень, который отвергли строители, соделался главою угла”.

Я так и замер. “Камень, который отвергли...” Где я слышал это? И вдруг вспомнил до мельчайших подробностей тот давний сон: отца Алексея, рава Якова...

Как-то я рассказал Воле о странном моем образовании, полученном от священнослужителей иудейского и христианского; о хамсине, волшебным образом согревшем меня в тюрьме.

– Иудеи, мусульмане, христиане – разве это важно? – сказала тогда Воля. – Мудрость – от единого Бога, который сотворил всех. Все мы вышли из Адама и должны вернуться к Единому. Когда-нибудь хамсинный жар сойдет на землю, сожжет ненависть и согреет несчастных.

Тогда мне это казалось смешным. Столько войн, столько жертв, освященных Библией и Кораном! Какое единство, когда мир полон ненависти и вражды? Никакому хамсину с этим не справиться!

– Люди разучились прощать и любить, потому враждуют и ненавидят, – тихо сказала Воля.

Сидя в своей нью-йоркской квартире с Книгой в руках, я вспомнил о подарке рава Якова. “Пальто, старое пальто моего тюремного учителя. На каком этапе жизни я выбросил его?” – я не сомневался, что выбросил, и просто пытался вспомнить, при каких обстоятельствах сделал это. Стал рыться в шкафах, перебирать свои вещи. Наткнулся на старенький чемоданчик Воли. После ее гибели я его не открывал. А теперь вдруг решил. В чемоданчике лежал наш альбом фотографий и небольшой пакет. В нем оказался завернутый в мешковину *талит* рава Якова.

* * *

Давно перевалило за полночь. Павел все говорил и говорил, не замечая, что Яков уснул. Да ему и не нужен был слушатель. Раскрылся какой-то потайной клапан в сердце, и все, годами хранившееся там, излилось. Наконец и он умолк и поднял глаза к темному небу. Крупные яркие звезды равнодушно взирали на двух стариков. Павел усмехнулся им, как давним приятелям. Ему показалось, что они предвещают новый хамсин. Он взглянул на мирно спящего Якова и зашел в дом. Вскоре он вернулся, укутанный в старый *талит*, поднял глаза к небу, словно пытаясь увидеть кого-то – Творца или души близких людей. Он улыбнулся, покачал головой и прошептал:

– Иудеи, мусульмане, христиане – разве это важно? Все мы дети Твои, Господи.

Он прикрыл глаза руками и, раскачиваясь, медленно, нараспев произнес: “Шма, Исраэль, Адонай элохейну, Адонай эхад!” В это же время из соседней арабской деревни донесся голос муэдзина, вызывающий к Богу. И вознесся их дуэт к небесам. А сверху, сквозь завесу ночи, глядел на них с любовью и болью неузнанный своим народом Мессия.

“ИЩУ ДОРОГУ, ЧТО ВЫВОДИТ К БОГУ...”

Суня Векслер

* * *

Ищу дорогу, что выводит к богу,
Но все никак до цели не дойти,
Хромаю, приволакивая ногу,
Но все иду по этому пути.
Цепляются колючки мелкотемья,
Болезнь, как ночь, вдруг падает с небес,
Безденежье, как жуткие каменья,
Мешает мне дойти, чтоб я воскрес.
Мерещится какое-то сиянье,
Я рвусь свою покинуть конуру
И ухожу в тоску и расстоянья,
И, неприкаянный, в дороге и умру.

* * *

А рифмы – суррогат душевных мук
И некое подобье онанизма,
Так слезы, например, из организма
Не горе вызывает – горький лук.
Когда в душе безбрежный кавардак
И воет голова от диких мыслей,
Так просто перепутать смех и выстрел
И что сказал мудрец, а что – дурак.
И все, свои и не свои, грехи
Мне приговором стали в результате.
И вновь спасенье в этом суррогате,
И вместо слез всюду текут стихи.

* * *

Я, атеист, увы, не верю в Б-га,
Я даже помолиться не могу...
Я блудный сын у отчего порога,
Я путник, затерявшийся в снегу.
И как мне облегчить больную душу?
Врачи – не то, и средства их – не те,
И что-то я необратимо рушу,
Незряче натываясь в темноте.
Нет ни руля и ни конкретной цели,
Бреду, как бомж, без дома и гроша,
И, точно сердце, ноет в дряблом теле
Уставшая, бессильная душа.

* * *

Я мечтаю о жизни скучной,
Пусть не скучной, но очень долгой,
Пусть не долгой, но очень сытной,
Чтоб добром вспоминать потом.
Я мечтаю о сытной жизни,
Пусть не очень, но безмятежной,
Пусть мятежной, но интересной,
Чтоб не зря назывался жизнь.
Я мечтаю о жизни яркой,
Пусть не яркой, но чтоб в движенье,
Пусть на месте, но чтоб без боли,
Я уже от нее устал...

Юрий Лейдерман

* * *

Что есть у Тебя в небесах,
Кроме рая и ада?
А здесь на земле, на испанской
Высокая ель.
“Сожгите евреев, сожгите!” –
Кричал Торквемада,
А ночью в подушку выплакивал:
“Шма, Исраэль!”

Что есть у Тебя на Востоке
От старого храма? –
Стена, где стенают
И горестно бьются плечом.
Идут на костры иудеи,
Не ведая срама.
А что Торквемада?
Он был у Тебя палачом.

* * *

Быть Шейлоку или не быть?
Шекспир давно поставил точку
И приковал еврея к тачке –
Страдать и золото копить.
Быть Шейлоку или не быть?
Очерчен круг, и нет пространства,
И жажда, смертная, как пьянство,
Шекспира переубедить...

* * *

Я полон стихами Бялика,
Со мною грустит Рахель.
Но запах российского пряника
Еще выдыхает Кармель.
И это “еще”... сумасшествие,
Хлопочет вороний конвой.
И вплоть до второго пришествия
Стихи не спасут никого...

* * *

О, Гора, где звучали два Храма!
Ты уходишь седым стариком
Из ТАНАХа в объятия ислама
По горячим камням босиком.
Твои плечи согнули мечети.
Твои кудри спалили огнем.
Мы, евреи, как малые дети,
За тобою бездумно идем.

Где, скажи, на каком повороте
Оборвется пронзительный стон,
И никто не заметит в народе,
Что родился второй Соломон...

* * *

Так страшно в чужой
затеряться крови,
где все еще странствуют
предки твои.
Где небо с овчинку,
а месяц – горбом
и прячется ветер
в заброшенный дом.
Так страшно в чужой
затеряться крови,
но, мальчик из детства,
прошу – не реви!
И бремя еврея,
и пряник и кнут
с тобой появились,
с тобой и уйдут.

Роман Любарский

ХОЛОКОСТ

Звезды мерцают, как капельки олова.
Холод клубится в бараке и за...
Лязгнул затвор:
– Руки за голову!
Солнце штыками колет глаза.

Перезаложены трижды реликвии.
Вновь переписан Новый Завет...
– Стал Номо sapiens Номо реликтовым
Вороном каркает пистолет.

В небе обугленном певчие корчатся.
Колокол в жертву жерлом глядит.
И за спиною Януша Корчака
Ангел с желтой звездой летит.

* * *

Добро и зло меняются местами.
(Наверно, тьма – перерожденный свет?)
Становятся пустыми словесами
Торжественные клятвы прошлых лет.
Закат, как мост, повис меж берегами,
Где дьяволы целуются с богами,
А боги бдят, чтоб чтили мы Завет.

* * *

Забывтый слог..
Усталый жест..
Лежат разбитые скрижали.

Приходит Бог.
Уходит Бог.
И на челе – печать печали.

* * *

Иерусалим... Рассвет... Пропел петух
Библия – за окном и рядом, на полке.
Поднимается туман. И Святой Дух
Лакомится росой на сосновой смолке.

Зашуршали шины... Закипает чай..
Птицы и люди чистят свои перья..
Жизни учусь сызнова. Господи, выручай,
Возьми меня, Господи, в подмастерья.

ПОСЛЕДНЯЯ УТРАТА

*Написано в день разрушения
могилы праотца Иосифа*

Оттеснен за тесноты,
Словно дрогнувший фронт,
Я теряю высоты,
Как отброшенный трон!

Я теряю границы,
Книги царств и судеб,
И грядут колесницы,
Как летящий вертеп!

Что за сила прорвала –
Фронт во многих местах.
Показалось – что мало,
Оказалось – что швах!

Я как лишняя спица.
И любя, и губя,
Я теряю гробницы,
Как теряют себя!

Словно ангел отпетый,
Падший в черной глуши,
Я теряю Заветы,
Как Голаны души!

И – последыш последний,
Не сдержав козырей,
Я – роняю наследье
Пастухов и царей!

ИЕРУСАЛИМ 2001

Тело города, где слово Господне
Пребывало в его молчаливых стенах,
Где чудо было уделом пророков,
Разрослось теперь за пределы
Вечных его холмов.

Город жмется теперь
В астральном теле,
И скелеты улиц мощеных
Взывают
Об отмщении.
Где Яффо ведет в порт,
С юга крадется холод,
Из Бейт-Джаллы бросают
Пудовый молот,
Объектив залепляет пеплом...

Я не верю в приметы, в сны:
Просто не успеваю верить,
Шесть шагов до большой войны
И – конец христианской эре!

АВРААМ-АВИНУ

Да, я воду искал,
Была сладкой вода.
Сам ее я испил,
Напоил стада.
Но носящие меч
Скоро выйдут вперед:
Ненадежны соседи,
Многочислен народ.
Вскоре дожди проливные
Наши следы сотрут,

Но воткнуто в землю копьё:
“Я БЫЛ ТУТ”.

Н.Н.Р.

Из разума выну песчинку,
Раскатаю ее в тропинку,
Снаряжу по ней
Чувства свои в дорогу –
Пусть шагают по ней
Понемногу.
Может они достучатся
До твоего понятия
“Счастье”,
И тропинка станет тогда
Чуть шире,
Одинокая
В этом мире.

РИНЕ ЛЕВИНЗОН

Для одних погода –
Количество осадков,
Сила ветра, высота волны
Или давление на грунт
Металлического кольца.
Для Рины Левинзон погода –
Выражение вашего лица.

* * *

О чем только не думается ночью
Что только не пролетает
Перед внутренним взором.
Что только не кажется вздором,
Опоясывающим день?
Это сладкое состояние
Взаимопонимания,
Сосуществования
С самим собой.

Не растягивается,
Не мучит случай,
Никто не настраивает уши...
Спрячу в подушку
До утра
Повзрослевшее вчера.

Михаил Ронкин

* * *

Кровав закат. Пожаром даль клубится.
Зловещий гром пронзает темноту.
Какому Богу надобно молиться,
Чтоб мир обрел покой и доброту?
Какой себя ожечь нам надо болью,
В кого мы все уверовать должны,
Чтоб на рассвете пахарь вышел в поле,
Без страха внемля голосу весны?
Как возвратить все то, что было свято,
Как уберечь в кровотокающей мгле
Уменье и стремление видеть брата
В любом, кто жаждет счастья на земле?
Что ни вопрос, то не сыскать ответа,
Душа тревогой горестной полна.
В свинцовых тучах, не найдя просвета,
Увязла заплутавшая луна.
А новый день сечет дождем и снегом,
И тяжело дышит наступивший век,
Как будто задохнувшийся от бега,
Утративший надежду человек.
И нет плеча, чтоб в страхе прислониться,
И гаснет крик мольбы в иссохшем рту...
Какому Богу надобно молиться,
Чтоб мир обрел покой и доброту?

* * *

Не бойтесь добрых...
Бойтесь добреньких.
Их томных глаз и липких рук.

О, сколько их,
Умильно бодреньких,
Порой слоняется вокруг.
Они любого исповедуют.
Готовы вникнуть и понять.
И вам такого насоветуют,
Что век потом не расхлебать.

Любовь Знаковская

* * *

Сходя с холмов Тивериады
Вниз, на Дорогу рыбаков,
Воспринимаю как награду
Незримую тоску оков
Голан, что тихо и влюбленно
На город издали глядят,
Не смея баламутить волны
Живых, целительных оград...
И как награда – щедрость капель,
Стекающих за воротник,
И даже отчужденность шляпы,
Под коей шествует старик,
Столбов старинных величавость
У рукотворного холма,
Где еле-еле различаю
Квадраты древнего письма.
Здесь что-то вырубил на память
Потомкам древний иудей,
Трудясь над неподъемным камнем
Вдали завистливых людей.
Не знаю, кто и что он делал,
Кому и сколько завещал...
Он знал, что бrenно его тело,
Жизнь коротка, бедна, тоща...
И родилась строка такая,
Где все понятно им и нам:
Он был Поэтом, высекая
Два слова: Сарра – Авраам!

Марк Азов

ЖИТИЕ ВАЛААМОВОЙ ОСЛИЦЫ, РАССКАЗАННОЕ ЕЮ САМОЙ

Не всякий осел (я уж не говорю о человеке) найдет в себе мужество честно признаться: “Я осел!” Я тоже не могу о себе этого сказать, потому что я не осел, я – ослица. Да, именно та самая ослица, о которой всем известно: *“Валаамова ослица заговорила”*. Почему вдруг заговорила? О чем заговорила? – не всякий знает и даже не интересуется. Хотя любому ослу понятно, что если уж и ослица заговорила, значит, ей стало невтерпёж и не могла она больше молчать, дошло до края!.. А сейчас к тому же появилась возможность записать... Чему вы удивляетесь? Тому, что ослица заговорила, не удивляетесь, а тому, что научилась писать, удивляетесь. И это в то время, когда любой осел печатает на компьютере.

Последнее, конечно, шутка переводчика. На самом деле говорящая ослица писать не умела и все, что вы сейчас прочитаете, записано с ее слов учеником пророка Билама (Валаама) – мальчиком, который в любое время года спал под навесом, где стояла ослица, заботился о ее корме, убирал навоз, менял подстилку, помогал при родах, поил водой из Евфрата и сам, при возможности, пил ее молоко.

Итак, я, почтенных лет ослица в прошлом не менее почтенного пророка Билама, диктую притчу свою для знания и поучения рожденных в будущих поколениях людей, ослов и народов.

Никто не может знать заранее, что ему в жизни предстоит свершить или совершить, особенно когда он еще никто. Знал ли ты до своего рождения, кем явишься на свет: козлом, бараном или скорпионом, львом, жабой, человеком или сколопендрой? Но уже с первого дня рождения на теле твоём проявляются признаки дальнейшего течения судьбы. Я родилась у неприметной серой ослицы, на которой мог ездить каждый кому не лень. Иной раз даже двое здоровенных рабов умудрялись взгромоздиться на хребет моей бедной матушки и, болтая ногами, гнали по каменистой дороге вверх, к сед-

ловине горы... Но я родилась не такой, как остальные ослята. Моя еще не просохшая шкурка обещала стать белой, как облака. И в ушах хозяина, когда он это обнаружил, раздался звон серебряных монет. Я вырастала белой ослицей с загадочными черными очами и черными метками вокруг розовых ноздрей. Купцы на базаре в Пторе, окружив, щупали мои лодыжки и, торгуясь, вцеплялись в крашенные бороды друг другу. Никто не посмел бы перекинуть ногу через мою спину, обрисованную черной бархатной дорожкой от начала гривки и до конца хвоста. Ни у кого не оказалось столько денег, сколько требовал мой хозяин, и базар уже разошелся, и стали горы лиловыми, а я – силуэтом на фоне неба, когда пришел необыкновенный покупатель, который сказал обо мне так, как не говорили в наше время даже о всякой женщине – только о царице. *Он сказал, что влюбился в меня!*

Ты, наверно, догадался – это был Билам, сын Беора, Билам, которого называют у иных народов Валаамом и пророком, но он был маг. Цари Вселенной, очерченной земным кругом, не смели поднять на него руку, хотя у него не было войска и чресла его не были опоясаны мечом. Оружием его было слово. И слово его было опаснее меча, потому что убивало издалека. Но не как стрела из лука или камень от пращи – те преодолевают расстояние, а слово Билама – время. Если Билам прозревает мор – то, рано ли, поздно ли, приходит мор и ангелы-вредители косят народ болезнью. Если же голод предрекает Билам, то, сколько бы ни минуло урожайных лет, последует год неурожайный – и иссохнут груди матерей и раздуются от бескормицы животы младенцев. А стоит Биламу предсказать войну – цари не изнуряют свой дух ожиданием и начинают резню, дабы не позволить противнику схватиться за нож первым.

О слове Билама говорили, что оно золото. Но это не так: золото можно растратить, а слово, когда он его менял на золото, все равно оставалось при нем, и он его снова менял на золото.

И вот этот безмерно богатый человек, придя на рынок, не стал покупать коней, которых запрягают в царские колесницы. Он предпочитал нас, длинноухих послушных потомков некогда диких онагров, сохранивших выносливость и силу предков, их твердые бока и неsgiбаемые хребты, но при этом – умение стоять и ждать, терпеливо жевать колючки, переваривать жизненные впечатления в глубине своих грустных глаз и философствовать, шевеля ушами.

Одно лишь не нравится людям – наше ослиное упрямство. Но, как покажет дальнейшее повествование, именно эта моя женская черта характера уберегла хозяина от большой беды.

Должно быть, маг Билам действительно был пророком, потому что сразу же, почти не торгуясь, купил меня. Да и стоило ли ему долго торговаться,

если я стала для него одним из орудий добычи золота еще и еще. Когда цари, князья, вожди племен и богачи видели Билама, одетого, кстати говоря, в хламиду из некрашеной шерсти и босого, но едущего на царственной белой ослице, они, повинувшись магической силе, развязывали кошельки. И Билам не расходовал зря мою магическую силу и только в редких случаях (чтоб не примелькалась) седлал меня...

Поэтому у меня, в отличие от других ослов, оставалось время для учебы. Да, да, ты не ослышался. Других ослов бросали где попало, хорошо еще, если привязывали к деревьям, от которых иногда, хоть ненадолго, падала тень на их раскаленные спины. Меня же держали у входа в дом, под навесом, где отроки, отданные пророку в ученики, писали тростинками на глиняных таблицах и постоянно бормотали слова, заучивая урок. Магов, колдунов и пророков из них все равно не получалось – с этим надо родиться, как родилась я в белой шкуре, – зато мой хозяин имел даровых слуг для дома, ухода за садом, пастухов и погонщиков ослов. Но они, бедные, так старались, заучивая слова, что надо быть... не то чтобы ослом... последним бараном, чтобы не научиться говорить. Тем более если ты, в данном случае я, привязан к столбу навеса и не можешь убежать куда-нибудь в колючки или повалиться в пыли – почесать холку, стряхнуть с себя кровососов и лягнуть копытами небо... Нет, коли уж отмечен каким-то особым даром, стой смирно, терпи и учись! Это мой завет тебе, мальчик.

(Ты что, и это записал? Напрасно!)

Но наостри тростинку – сейчас пойдет самое главное. Это был день моей первой любви, потому я так хорошо его запомнила. Ко мне впервые подпустили осла. До сих пор среди окружающих ослов не находили достойного. Я не говорю о его мужских достоинствах. Ослы, как известно, славятся ими, и любой безграмотный деревенский осел, пожалуй, даст фору моему суженому. Но это был знаменитый белый осел из Мидьяна (Мадиама), украшенный седлом с цветным убранством, и в этом седле восседал старейшина мидьянитян... Остальные, приехавшие в этот день на ослах и верблюдах, были князьями и предводителями племен из страны Моав в цветных одеждах. Двор наполнился топотом копыт и руганью погонщиков. Чья-то верблюжья морда просунулась под навес... на меня никогда не смотрели с таким презрением – верблюды вообще скептики по природе... и я уж было начала сомневаться в своей неотразимости, как вдруг раздался крик его – *моего осла*, призывный, отчаянный и неповторимый. Люди не слышат обычно музыки в ослином крике. Это понятно. Сравните наши и ваши уши (я уж не опускаюсь до иных подробностей). Может ли ваш мужчина понять нашего? Представь – ты привязан к смоковнице на таком расстоянии от возлюбленной своей, что даже

при ослиных мужских достоинствах расстояние все-таки больше. Может, теперь ты сумеешь понять, почему так трагически рвутся на вдохе наши арии...

Кстати, вышеупомянутый верблюд кривил свою нижнюю губу не от презрения, а, как позже выяснилось, от усталости. Дело в том, что приехавшие к Биламу старейшины моавитян нагроулили его не только подарками колдуну, но и приспособлениями для колдовства. Как будто у нас своих не хватает... Хозяин воспринял это как недоверие, и я с ним вполне согласна.

Впрочем, перегрузки объяснялись поспешностью, с которой снаряжался караван, а поспешность, в свою очередь, оправдывалась страхом.

Страх охватил людей, живущих в степях и предгорьях Моава, что тянутся вдоль долины Иордана, когда прибежали уцелевшие от эмореев, переправившись через Арнон, а была их горсть, не более, и рассказали, что некий народ, пришедший из Египта, просил позволения у царя их Сихона пройти через земли эморейские от границы и до границы. Притом поклялись не сворачивать с дороги на поля и виноградники местных жителей и из колодцев их не брать воды. Но не позволил Сихон тому народу пройти через границы его и выступил навстречу с войском своим, и пал тогда сам Сихон и сыновья его, и поразили пришельцы мечами все войско его, и овладели страной, и двинулись в сторону Моава...

В ту пору царем над моавитянами был Балак, сын Ципора. Он захотел увидеть своими глазами, что за народ пришел из Египта через пустыню, и не мираж ли это, порожденный страхом, потому что до сих пор из Египта приходили лишь воины фараонов со множеством колесниц, и шли они иными путями, и не клялись не сворачивать с дороги, а напротив, вытапывали поля, разоряли виноградники, иссушали колодцы и облагали данью города... И вот вышел Балак на вершину горы, что к восходу солнца над долиной Иордана, и увидел своими глазами: народ этот уже расположился станом против него и покрыл лик земли, словно ночь легла на землю, столь он был многочислен.

Ты спросишь, откуда все это знать ослице, стоявшей под навесом за много дней пути от того места?... Ну не от верблюда же, обдавшего меня презрением, а от моего возлюбленного белого осла, который на своей царственной спине привез знатного мидьянитянина. Когда нас, наконец, соединили, чтобы получить многообещающее потомство, и освободили ради этого от пут, мы долго еще гуляли бок о бок в кактусовом лесу, резвясь и болтая о разных разностях на языке, лишь нам одним понятном. И ты не думай, мой мальчик, что я единственная в мире ослица, понимающая человеческую речь. Говорящая – да! А понимать... способна даже собака, причем раньше, чем вы успеете сказать. Так что же говорить об ослах, которым Бог дал уши?... Ты когда-нибудь задумывался: для чего? Таскать на себе выюки, живые и мертвые,

можно и без этих украшений. Значит, у наших ушей высшее предназначение: слушать и постигать, постигать и слушать... Хотя никто не знает, для чего.

Когда Балак, сын Ципора, насмерть перепуганный царь Моава, примчался к старейшинам Мидьяна с мольбой о помощи, моему красавцу оставалось только наострить свои уши, розовые, как морские раковины изнутри.

– Теперь обгложет собрание это все, что вокруг нас, – сокрушался Балак, – как бык обглаживает зелень в поле!

Так и сказал *“собрание это”*, потому что не хотел сказать *“народ”* о пришедших из Египта. Он думал – они мятежные египетские рабы, бежавшие от хозяев. Но старейшины Мидьяна, увы, знали другое: *“собрание это”* вел мудрец, наделенный волей и силой пророка. И был он женат на дочери жреца из мидьянитян, потому им было доподлинно известно его присхождение и происхождение ведомых им от семени Авраама, Исаака и Якова, прозванного Израилем, – праотцев, вырвавших колодцы на землях Кнаана и раскинувших свои шатры в пределах этих много поколений тому назад... Гонимые бескормицей и жаждой, ушли они когда-то в Египет, а ныне вернулись на землю праотцев, и пришло их с единым предводителем двенадцать колен.

Узнав это все, царь Моава Балак пришел в смятение и стал умолять старейшин Мидьяна похоронить эту тайну в сердцах. Пусть всякий видит лишь нашествие разбойников из пустыни, а не возврат народа к истокам. И поклялись они замкнуть уста свои. Но можно ли замкнуть ослу уши?..

Правда, мой благородный друг – белый осел мидьянский – был не из болтливых. Не случайно его не уводили с важных политических соборщ... Но чего не сделает любовь?! В миг откровения, когда падают плотины, прорывается и поток речей. И у людей говорят: “женщина любит ушами”, – так что уж об ослицах говорить?! То, что нашептал мне друг мой белый, прижимая меня горячим боком к дереву алоэ, заставило меня напрячься тетивой лука, и уши мои торчали к небу, как две стрелы. И вот что он поведал мне со слов своего хозяина – старейшины мидьянитян:

– Многие народы порой покидают места своего пристанища, гонимые голодом, жаждой, свирепостью врагов, или в поисках удачи вытесняют с иных тучных мест еще более слабых. Люди постоянно толкутся, перетекая потоками с места на место, то завихряясь, то разбегаясь и снова сбиваясь в кучи, как базарная толпа. Но куда бы ни переходили народы, они либо несут с собою изображения своих богов, либо захватывают по пути чужие... А в стане двенадцати колен Израиля, так они себя называют, вместо изваяний богов – деревянный ларец, похожий на лодку, только плывет эта лодка не по реке, а по пустыне, качаясь на плечах людей. И никто в тот ларец не заглядывает, хотя все знают, что в нем – *Закон*, данный этим людям их единственным

Богом, которого невозможно видеть, ибо у него нет лица. И вся сила неумного племени, сумевшего бежать от колесниц фараоновых и уцелеть в безводной пустыне со стадами своими в течение сорока лет, именно в нем, в *Законе*. Людям этого не понять, – сказал мой друг, мудрейший из ослов, – потому что люди полагаются лишь на прихоть богов, затевающих между собою тяжбы. От того, кто из них победит в бесконечных войнах небесных и подземных царств, зависит и жизнь людей, их благополучие, падение и возвышение властителей, судьба земных народов и государств. А у колен Израилевых *все зависит от исполнения Закона, и это значит – от них самих!*.. На что это похоже? – спросил мой друг, поистине мудрейший из ослов, и не стал ждать ответа (как всякий изрекающий, он ждал лишь возможности продолжить изрекать). Это похоже на нас!.. Почему только – ослов? И на верблюдов, и на львов, орлов... даже крокодилов. Мы не творим себе кумиров, подобно людям, – мы дети природы, и мы живем, охотимся и пасемся по законам ее.

– Однако и у них... детей Израиля... есть Бог.

– Потому что они все-таки люди. Льву не надо указывать законы. Они у него в желудке. И он не станет отбирать у меня мои колючки, потому что его законная пища – я сам.

После такой обнадеживающей тирады мой возлюбленный муж приступил, наконец, к самому главному... Нет, не к тому, что вы подумали. Он перестал прижимать меня к дереву алоэ и, отступив на шаг, чтобы еще более картинно выглядеть, завершил свою речь:

– Народ, вернувшийся из Египта, будет драться за свою законную землю свирепо, как лев. А Балак, царь моавитянский, надеется, что боги решат его участь, и потому направил к твоему хозяину Биламу посланцев с принадлежностями для колдовства.

Дальше он мог и не рассказывать – я сама слышала, как знатнейший из князей Балака передавал Биламу слова своего царя:

– Пойди и прокляни народ этот. Прошу тебя! Может, я смогу изгнать его. Ведь все знают: кого ты благословишь – тот благословен, а кого проклянешь – тот проклят!

На что мой хозяин с важностью отвечал ему и прибывшим с ним моавитянам:

– Не торопитесь. Такие дела не делаются в спешке. Переночуйте здесь ночь, и я дам вам ответ, посоветовавшись с богом.

Чего стоили эти слова его, знала, пожалуй, лишь я одна из всех присутствующих.

Пророк в таких случаях укладывал гостей в доме, а сам отправлялся ко мне под навес, сгребал под себя мое самое лучшее сено и преспокойно храпел всю ночь, а потом говорил, что советовался с богом. Лично я никакого бога ни разу не видела, хотя, возможно, я в тот момент спала...

Но только не в эту ночь. Потому что нас разлучили с возлюбленным моим – белым царственным ослом мидьянским, который навсегда остался в памяти моей прекрасным принцем. Его хозяин, старейшина из Мидьяна, не пожелал ночевать в нашем доме. То ли его оскорбило приглашение, обращенное лишь к посланникам Моава, то ли он заранее знал, чем закончатся разговоры Билама с богом. Ведь он, в отличие от других, понимал, что на стороне пришедших из Египта тоже может оказаться Бог... Но какое мне, скажи, мой мальчик, дело до их человеческих и божественных причуд?! Мою первую любовь покрыли седлом грубые рабы, сверху посадили трухлявого старца и били палками по благородному крупу, до тех пор пока он не перестал оглядываться на мой навес, обнажил могучие зубы и, огласив прощальным криком осиротевший двор, сдвинулся, наконец, с места.

Могла ли я спать в эту ночь?.. Ясное дело – не могла. И хорошо, что не могла, потому что судьба за мои страдания предоставила мне случай лицезреть настоящее чудо. Не успел Билам захрапеть, как все вокруг озарилось светом, в котором померк лик луны и звезды стерлись с небосвода. Будто молния остановилась в нестерпимом сиянии своем, и черными стали горы, пальмы, башни города Птора и короста его крыш. Огненный столб, соединивший земную твердь с небесной, прошел сквозь горы и крепостные стены, не сменяя их, остановился над нашим домом, и голос Всесильного был Биладу из того столба:

– Кто эти люди у тебя?

Сомневаюсь, что Богу не было видно сверху, кто к нам приперся целым караваном. Представьте, сколько навоза они оставили на дорогах за несколько дней пути! Для чего Всевидящему понадобилось спрашивать о том, что и ослу ясно, я поняла значительно позже... А пока моему хозяину пришлось пасть, что называется, на лицо свое, то есть мордой на ослиную подстилку, и, не смея поднять глаза, отвечать по возможности правдиво, кто к нему приехал и зачем зовут его эти люди в страну Моав.

И сказал ему голос из столба света:

– Не езжай с ними и не проклинаяй народ этот, ибо благословен он.

Увидеть лицо говорящего сквозь свет было так же невозможно, как сквозь тьму, и мы оба с Билагом поняли, что это мог быть лишь тот Невидимый Бог, который дал *Закон* пришедшим из Египта, а с ним шутки плохи. Поэтому Билаг, как только его гости проснулись поутру (сам-то и глаз не сомкнул с

перепугу), поспешно и довольно бесцеремонно стал выпроваживать князей Балака:

– Идите в страну свою, ибо не хочет Бог, чтобы я шел с вами.

И я даже не заметила, как они ушли: наш двор опустел для моих глаз раньше, когда его покинул мой друг. Другие ослы и верблюды, по мне, так и вообще не существовали...

И стало пусто, и время это выпало из моей жизни, как из разбитого кувшина – дно.

И вдруг через много томительных дней мои уши уловили звуки движения на дороге: топот, скрип сбруи, удерживающей вьюки, дыхание, всхрипывание и надсадный хрип, пенье очумелого погонщика, похожее на вой, и даже крик осла... Но... нет, это не слезы, мальчик, это пыль задувает под навес... моего возлюбленного среди них не было, как и вообще не было мидьянитян, зато целая толпа князей Моава, вдвое больше прежней, ввалилась во двор, и были они знатней предыдущих, судя по одеждам, не только цветным, но и украшенным разной вышивкой. И караван верблюдов, словно нанизанных на одну веревочку, тянулся за ними, груженный на этот раз не приспособлениями для колдовства, а подарками пророку Биламу. Все это они свалили к его ногам и, не утруждая себя церемониями, чтобы не терять времени, загалдели, заглушая друг друга:

– Сказал Балак, сын Ципора: прошу, не откажись!

– Приди ко мне!

– Великие почести окажу я тебе!

– Все, что скажешь, сделаю!

– Прошу!

– Пойди!

– И прокляни мне народ этот!

На что мой Билам порывался ответить после каждой фразы, но успевал только рот открывать, пока не прорвался:

– Нет, нет и нет! Даже если даст мне Балак полный свой дом серебра и золота, не смогу я преступить повеления Бога Всесильного!.. Как вы себе это представляете?..

И гости, покричав еще полдня и помахав руками, в конце концов плюнули и стали уж было грузить подарки обратно на верблюдов, как вдруг Билам пожалел их (гостей или подарки) и сказал:

– Ну, куда вы? Оставайтесь на эту ночь, а я узнаю, что еще будет говорить со мною Бог.

Ну, они и остались. А Билам снова отправился спать на мое сено, и снова ночь стала ярче дня в пределах одного лишь двора нашего: сноп света упал с

неба и остановился посреди вселенской тьмы, и снова мы никого не видели, но голос Всесильного исходил из нестерпимого сияния Его:

– Если звать тебя пришли эти люди, встань и иди с ними...

И Билам вскочил... да чуть не ослеп и поскользнулся, и упал лицом в навоз, потому что сияющий продолжал:

– Но только то, что я буду говорить тебе, то делай!

Так повелев, Он свернул свой огненный шатер – и ночь, облегченно вздохнув, расправила крылья: снова высыпали звезды, и лодочка луны продолжила свой путь по волнам черных гор на краю неба. А мой хозяин кинулся к каменному желобу поилки отмывать моей водой свое лицо от моего навоза, и он так торопился почему-то, что не стал даже будить слуг, – схватил седло и сам принялся меня седлать, весьма и весьма неумело, отчего я начала кричать, перебудила остальных ослов, а они уж своих хозяев... Слаженный хор ослов никого не может оставить равнодушным. Важные князья Моава, потягиваясь и почесываясь во всех местах, куда только доставали руки, высыпали во двор и побежали к забору, когда пред их заспанными глазами явился Великий Пророк Билам на белой ослице (я имею в виду себя).

И погнал он меня к воротам, а остальные, обрадованные, кинулись седлать своих ослов и отстали от нас, пока седлали... Я резво бежала впереди – давно не дышала воздухом поля – и двор, где я стояла на привязи, остался позади, лишь одно обгоняло меня – надежда: а вдруг да встретится на пути мой друг – незабываемый осел мидьянский, чья шкура белее дня, а глаза чернее ночи. Вот-вот, ожидалось, вынырнут из-под уклона лепестки его ушей. И я не отрывала глаз от дороги...

И увидела: впереди, на дороге нашей, доселе пустой, неожиданно объявился свирепый воин с огромным сверкающим мечом. Непонятно, где он до сих пор прятался, – вокруг ни куста, ни бугра.. Но меч в его руке и глаза, горящие подобно волчьим, не оставляли времени на раздумья. Я мигом свернула с дороги в поле, надеясь обойти стороной неминуемую смерть, и тут же получила удары от разгневанного седока. Он что есть силы стучал пятками по моим бокам, не приученным, кстати говоря, к такому обращению, и уздою тянул мою морду обратно к дороге.

“Неужели он не видит опасности впереди, или мне всего лишь померещилось?” – подумала я. И действительно, дорога была пуста аж до дальних заборов, огораживающих виноградники. И я смело побежала вперед, и вскоре уже трусила рысцой между сложенными из камней дувалами... как вдруг он снова вырос на нашем пути – тот же разгневанный воин с устрашающим мечом.

Как мог он незаметно забежать вперед по каменистой дороге, тем более – босиком?! Да! Я лишь сейчас заметила: обычно у воинов не только санда-

лии, но даже бронзовые щитки на ногах, а у этого – голые ноги. И весь он какой-то ненастоящий. Но меч, которым он со свистом крутил над головой... Меч его описывал слитный круг, как спицы мчащейся колесницы. Меч был самый настоящий! И я, не смея двинуться вперед, прижалась боком к ограде виноградника, и ногу хозяина прижала к нетесаным камням, и тут же новый град ударов обрушился на мои бока. Провидец Билам, как оказалось, не видит смерти у себя перед носом и лягается как последний неграмотный деревенский осел, еще и колет меня в мою бархатную гривку палочкой-погонялкой с наконечником стрелы на конце. А тропа между стенами неумолимо сужалась, и страшный воин, с его волчьим взором, теперь закрывал собою весь проход, не оставляя просвета. И мои передние ноги сами собой остановились и согнулись в коленях, так что седоку оставалось лишь съехать, как с горки, на заднице по моему хребту. И это привело его в такую ярость, что он, вскочив на ноги, обежал меня с тылу и начал крутить мне хвост, причиняя неслыханную боль (я уж не говорю об оскорблении!), чтобы я все-таки везла его навстречу гибели... Но я легла на дороге и лежала как неживая, а он колотил меня толстой палкой, не жалея ни шкуры, ни костей... Так что, в конце концов, я не выдержала и заговорила:

– Что я сделала тебе, что ты бил меня уже три раза?

От неожиданности он уронил палку:

– Разве три? Ты что, умеешь считать?!

Мои способности к счету его настолько удивили, что он не удивился моей способности говорить.

– Был бы у меня меч, – заорал он, – я вообще бы тебя убил за твои издевательства!

Представляешь, как мне стало обидно?

– Но ведь я же ослица твоя, – говоря, я едва сдерживала слезы, – на которой ездил ты издавна и до сегодняшнего дня! Разве было у меня обыкновение так поступать с тобою?

И он вынужден был признать:

– Нет.

Должно быть, за это все-таки честное признание решил Бог открыть глаза Биламу, и увидел он Ангела Божьего с обнаженным мечом, стоящего на дороге. Да и я увидела его во весь рост и поняла, как он мог передвигаться босой по камням: его ноги висели в воздухе, не касаясь земли. И меч такой длины не в силах поднять обыкновенный воин: его лезвие расширилось книзу, как луч солнца, пронзающий клубы туч на закипающем небе.

Никогда я не видела раньше, чтобы Билам так испугался. Он пал ниц и мычал, как телец, не в силах выдать из себя слово. И сказал ему Ангел Бога :

– За что ты бил свою ослицу уже три раза? Ведь это я, Сатан, вышел на твою дорогу – и не свернула бы ослица от меня, я даже убил бы тебя, а ее оставил в живых!

Ясно – Билам стал каяться:

– Виноват, я не видел тебя! Но теперь, если тебе неуютно, я возвращусь обратно!

Но ангел сказал: нет.

– Нет, теперь иди, куда шел, но только то, что я буду говорить тебе, то и повторяй.

И сделался Билам послушнее школьника, и со мной обращался, как с дочерью своей. А тут как раз догнали нас князья Балака, и мы продолжили свой путь к Моаву, и Ангел шел со мною рядом, не замеченный никем.

– Как это получается, – осмелилась я спросить, – что я вижу тебя, а они нет?

– Людям не положено, – сказал он. – Человек, узревший Ангела, когда этого не хочет Бог, падает замертво с открытыми глазами. А мы с тобой можем видеть друг друга, потому что ангелы и животные – существа не человеческой породы.

Представляешь, мальчик, как вскружилась моя голова: ослы и ангелы одной породы!.. А он тем временем продолжал:

– Ты видишь – в этом месте дорога раздваивается. Куда ты пойдешь: направо или налево?

– Куда погонит хозяин.

– А я – куда укажет Бог. *И только человеку Творец его дал право самому выбирать себе дорогу.*

При этих словах я чуть было снова не сбросила бывшего пророка со своего хребта:

– Но, значит, на мне сидит не человек! Потому что вы с твоим Богом водите Билама, как осла на поводу. Притом дергаете почем зря то взад, то вперед. И у Бога твоего семь пятниц...

– Мы почитаем субботу.

– Ну, значит, семь суббот на неделе, и у его погонщика, у тебя – тоже. Сперва Он говорит “иди и делай, как я скажу”, а когда тот пошел, ставит тебя с мечом на дороге, и когда тот поворачивает назад, ты говоришь “нет, таки да иди и говори, что я скажу!” И это у вас называется свобода выбора?!

– Свобода – для тех, кто идет, куда хочет, или не хочет – и не идет. А для тех, кто не хочет, а все-таки идет, – отвечал мне Ангел, – идет из-под палки или из жадности своей, в надежде где-нибудь незаметно свернуть с дороги, залечь и не дойти, у Бога остается только смерть либо рабство – третьего не дано.

Так вот почему Всезнающий спрашивал то, что сам знает, и велел то, чему не следует внимать. Конечно, Он разгадал моего Билама, и меня теперь понизили в ранге. До сих пор я, знаменитая белая ослица, возила на своей царственной спине Великого Мага – Колдуна – Волхва – Прорицателя и Пророка Халдейского Билама, сына Беора, а нынче на мне катается подлый, лукавый и жалкий раб!

– Но, если все в жизни так непрочное, может, и ты, мой ангел, вовсе не Ангел Божий... или мне послышалось – тебя зовут Сатан.

– Сатан – это не имя. Это работа такая. “Я вышел “ле-сатан” – помехою Биламу. Сегодня я Ангел Помехи, завтра Хранитель, Вредитель, Спаситель... Ну как бы это попроще тебе сказать: я разнорабочий Бога. Такой же осел, как твои собратья, которых можно навьючить, запрячь, оседлать. И мы, ангелы, как и вы, не имеем своей доли в вечности. Не то что люди.

– Несправедливо, – обиделась я. – Ишачишь, ишачишь... потом отбросишь копыта – и никакой тебе загробной жизни.

Он посмеялся, потрепал мою гривку, обнял за шею и поцеловал между ноздрей:

– Дурашка. Может, как раз именно сейчас ты живешь загробной жизнью!

– Выходит, я уже была человеком?

– Не исключено.

– И могла бы заслужить лучшую участь.

– Не гневи Бога. Скорей всего, ты была доброй женой и не бранила, хотя и не любила, мужа. За то ты возишь на себе человека, а не скользишь глестом в дерьме его чрева.

О! Я представила себе долю глеста – и дорога перестала быть каменистой, и солнце уже не палило, и ветерок гладил меня по шерстке, и ноздри мои щекотал уже запах влажной травы у ближайшего водоема. Как хорошо быть ослицей в вечности! Не забудь записать и это, мой малыш.

...Не зря запах травы у водоема щекотал мои ноздри: мы вышли к Арнону – границе Моава. Царь Балак уже ждал нас и повел в Кирьят-Хуцот, “Город Улиц”, наполненных женщинами и детьми, так как мужи моавитянские стояли уже перед лицом врага. Тем самым Балак надеялся возбудить гнев Билама против пришельцев, ибо грозят они истреблением невинных женщин и детей его народа. И я сказала Ангелу:

– Ведь это так.

А он шепнул мне в ухо:

– Жены и дети есть и на той стороне.

– Значит, нет правды в мире?!

– Есть, – отвечал мне Ангел, – но мира нет.

И уже смрадный дым горящих костей и мяса долетал вместе с дымом с Высот Баала, где предавали всесожжению крупный скот и мелкий, братьев и сестер моих, служивших человеку и жизнью своей и смертью с незапамятных времен.

Царь Балак надеялся умиловить тем своего бога Баала, но Бог Невидимый с Ангелом Его стоял уже рядом, когда мы взобрались на вершину и увидели стан народа того, покрывшего шатрами землю.

И Балак, и князья его, сгрудившись, ждали с нетерпением, когда Билам обрушит проклятья на ненавистные шатры, но он говорил лишь то, что было вложено в его уста:

– Как проклинать мне того, кого Всесильный не проклинает, и как гневаться на того, на кого не гневается Бог? С вершины скал смотрю и с холмов вижу: *вот, народ этот отдельно живет и между народами не числится!* Кто исчислит прах Яакова и пересчитает пыль Израиля?!

Меня лишь удивили эти слова. Как это “народ отдельно живет”? Все народы живут отдельно... Но Балака и князей моавитских слова его громом поразили.

– Что ты сделал со мной! – обрушился Балак на Билама. – Проклясть врагов моих привел я тебя, а ты благословляешь!

Но Билам стал оправдываться:

– Что вложил в меня Бог, то я в точности повторяю.

А Балак схватил меня за уздечку, как простой погонщик, и поволок вместе с сидящим на мне Билагом на поле наблюдателей, откуда не виден был весь народ этот, а только край его.

– Может, ты проклянешь оттуда?

Но Билам, отшатнувшись, замахал руками:

– По-твоему, Всесильный – как человек: там скажет, а тут передумает?

А Балак так вцепился в мою уздечку, что, казалось, готов оторвать вместе с головою.

– Прошу! Я возьму тебя на другое место. Может быть, понравится оно Всесильному – и проклянешь оттуда!

И привел нас на вершину Пеора, откуда видна лишь пустыня... Ветер уж смел с каменных плит на путях ее вместе с песком следы пришедшего народа, но только поднял глаза Билам и обратил свое лицо к пустыне, как открыл ему Бог там все колена Израиля, разместившиеся каждое отдельно. И был на Билагом дух Божий – живым дыханием прошел он меж моих ушей. И это было чудеснее видения огненного столба на нашем дворе в Пторе: мой хозяин Билам, злой, обжорливый, властный, сребролюбец и сластолюбец, кото-

рый даже во мне видел приманку похоти своей, тучный немывтый Билам, храпящий по ночам и испускающий ветры, стал вдруг подобен бродячим певцам, чьи пальцы ласкают струны, а голоса – крадут и уносят души.

И прошло дыхание меж ушей моих, и полились слова в мои распахнутые уши:

– Как прекрасны шатры твои, Яаков, жилища твои, Израиль! Как ручьи, извиваются они, как сады при реке, как алоэ, посаженное Богом, как кедры при водах. Переливаться будет вода через край ведер сго, и потомство его – в обильных водах.

И я словно бы окунулась в гулкую тьму колодца, не слыша более ничего, что возглашал Билам со слов Бога... Ангел, которого я, не зная другого имени, продолжала называть Сатан, нашептывал мне в этот час иное пророчество:

– Народ этот не числится среди народов, потому что время других народов уже исчислено – и они будут растворяться без остатка в народах, пришедших им на смену. Те же, чьи шатры раскинуты внизу, не растворились в Египте и не растворятся вовск, хотя будут рассеяны по чужим странам. Должно быть, Авраам, Исаак и Яаков, – так сказал мне Сатан, – были крепкими мужиками: их семя не теряется среди плевел, и всходы не заглушаются сорными травами. И как ненавидят и как страшатся их сыны Моава и Амалеска сейчас, когда они приходят тучей, так будут страшиться и ненавидеть их в могучих царствах земных, где будут бродить они поодиночке. Гнать, жечь, травить, презирать и *гордиться* ими, выдавая их творения, обретения и заслуги за свои!.. Их имена присвоят себе другие народы, их память, их мысли, их золото, даже их Бога объявят своим. Но никогда не признают своими их самих. И даже когда они будут возвращаться к колодцам, вырытым праотцами, скажут им: “Это не ваша земля!” – потому что здесь будут жить уже совсем другие люди. И не окажется нигде такого места, где бы не жил никто.

Здесь я не стала слушать Сатана, потому что слова Билама достигли моих ушей:

– Народ этот, как лев, не ляжет, пока не съест добычи и крови убитых не напьется.

– Неправда, – сказал Сатан, – лев всей своей добычи не съест: шакалы и стервятники роятся вокруг его добычи, когда лев лежит. Так и народ Израиля к одному лишь не приспособлен: сгрызть всех, кто препятствует ему, до косточек и даже косточки раздробить.

– Ты же сказал: он сможет пережить другие народы и дать потомство в веках?

– И не беру своих слов обратно. Такова природа этих людей. Такими их сотворил Всевышний.

Я посмотрела вниз на шатры, у которых хлопотали фигурки женщин, готовивших пищу на кострах, и на дерущихся ребятишек, на мужчин, они о чем-то яростно спорили, размахивая руками. Люди – как люди.

– Животные – и те не одинаковы, – сказал Ангел. – Не все из них звери. Народы, истребляющие всех на своем пути, сами будут истреблены и не дадут потомства. А Израиль – ты же слышала – не числится среди тех народов.

Да, представь себе, мальчик, ангел Сатан был прав! И я видела своими глазами: даже сам Всесильный оказался бессилен одолеть природу этих своих творений. Сколько раз предупреждал Он их: “Если пристанете к остатку народов этих и породнитесь с ними, то станут они для вас западней и сетью, бичом для ребер ваших и тернием для глаз ваших, покуда не будете истреблены с этой доброй земли, которую дал вам Господь, Бог ваш”.

И мой хозяин, хитроумный Билам, вскоре разгадал, в чем слабость сильных. Как только Бог перестал гласить его устами, он нашептал князьям Балака всего лишь несколько слов, и послали они в стан врага дочерей народа своего с гроздьями фиников и винограда в руках, кувшинами вина на головах, а на устах – с приветом и любовью.

Усталым воинам Израйля все это, вместо губительной резни, сулило долгий мир и доброе соседство... Но обернулось мором и войной, в которой сам Билам был, как козел, зарезан...

Впрочем, что я все о других и о других?.. Все-таки белый осел мидьянский оставил о себе память: я родила осленка – радость глазам моим и облегчение вымени. Тебе он был, как брат: и молоком моим делился и бегал наперегонки. Ведь правда, мальчик? Вот только из двоих ты мне один остался. И даже после смерти Билама меня не покинул. А его однажды увели и продали, надеюсь, хоть не в злые руки.

И жизнь моя опустела, и опустел наш двор – никогда больше не снисходил к нам Бог, и позабыл обо мне Сатан – Его ангел.

И, как ты думаешь, мой мальчик, чем занят осел, стоящий в одиночестве под навесом? Не стоит особенно напрягаться – по глазам видно: размышляет. Вот так и я все чаще предавалась размышлениям: а что если? Если льва, например, женить на гиене? Сын их унаследует силу отца, всеядность матери, пожрет все вокруг, вплоть до мертвечины, и будет царствовать один. И то же я подумала о народе, который везде чужой, даже на своей земле: а что если этот народ, прославленный мудростью своей, породнить с другим, известным своей жестокостью?..

И эти мои размышления как будто подслушал мой новый хозяин, сын-наследник Билама: он вознамерился скрестить коня с ослицей. И вот однажды привязал меня у коновязи посреди двора и выпустил коня из стойла. Все считали его красавцем – уroda с грубыми копытами, тяжелым животом и недоразвитыми ушами на громадной голове. А мне после моего незабываемого осла уже все они были безразличны, и я пропустила, как говорится, мимо ушей все, что со мной происходило... Но хозяин был в восторге. Все получилось, как он хотел: родился мул ! Высокий, тонконогий и ушастый. Он унаследовал резвость и рослость от отца, выносливость, крепость и кротость от матери.

Но мулы никогда не дают потомства.

“СТРАНА МОЯ...”

Владимир Добин

* * *

*...или сил набираюсь,
чтоб снова из мертвых восстать.*

Ефрем Баух

Восемь лет набираюсь –
восстал ли уже я из мертвых?
На холмах белый город –
и на кладбище он не похож.
Из-под красной земли,
что ни год, вылезают упорно
тонкостенные зданья –
между пальм и оливковых рощ.

Горький счет бесконечен –
прощанья, утраты, потери.
Восемь лет быстротечны,
как будто и не было их.
Но навстречу уже мне
распахнуты души и двери,
и уже научился
различать я чужих и своих.

Вы, кто нынче со мной
или там, за невидимой гранью –
в виртуальном пространстве
приездов, отъездов, разлук,

слава Б-гу, что мы
все никак не привыкнем к страданию
и, как прежде, не можем
без нежных и любящих рук.

Слава Б-гу, что к морю
прилепилась вот эта земля –
и не надо нам больше
по миру пристанищ искать,
и до смерти самой
у нас есть, где любить и молиться
и где сил набираться,
чтоб снова из мертвых восстать.

* * *

Страна моя...
Как велика ты.
Почти равна своей судьбе.
Твои восходы и закаты
сам Б-г
предначертал тебе.

Страна моя...
Раздолье ветру:
куда ни глянь – песок, песок.
Налево – двадцать километров,
и море плещется у ног.

Направо – вот она, граница.
И нет уже пути назад.
А “скады”, быстрые, как птицы,
летят, проклятые, летят.

И все ж и в радости, и в горе
другой уже мне не найти.
А тех, кто с очевидным спорит,
прости их, Господи, прости...

Не диктует уже, не диктует –
замолчали мои облака.
Только дождь перелесок линует
да в межгорье играет река.

Не услышит уже, не услышит –
не откликнется небо на зов.
Только солнце все выше и выше
да тревожнее рокот часов.

Что случилось, скажи, что случилось –
может, все уже в жизни сбылось?
Удалось или не получилось?
Получилось иль не удалось?

Или, может, уже от природы
мы свое получили сполна
и отныне другие народы,
а не нас опекает она?

ЦАПЛИ В ТЕЛЬ-АВИВЕ

Среди этого шума и гама,
среди этих людей и машин
как они удивительно прямо
держат линию крыльев и спин,

как они величаво и гордо
вот на этом зеленом клочке
посреди сумасшедшего города
ходят-бродят от нас вдалеке.

Мне завидно и словно бы жалко –
так, что выразить это нет слов, –
что и сами они, и лужайка
из каких-то далеких миров.

Миг – и снова под небесами
тает белая тонкая нить.
А все то, что случается с нами,
не исправить и не изменить.

* * *

И я мог бы жить в другой стране –
но другой не выпало мне,
а эта – малюсенькая – досталась:
больше у Господа не осталось,
и вот уже три тысячи лет
на этой земле мне покоя нет.
И все равно –
сам не знаю, откуда я это знаю, –
на другую не променяю.

Фредди Зорин (Бен-Натан)

* * *

Мы в упор на друг друга глядим:
Я, к Стене придя утром рано,
И Восточный Иерусалим
В палестинском платке тумана.

Верил: волны лет принесут
И меня в эту божью заводь...
Справедливости высший суд –
Серых глыб вековая память.

Все вокруг теперь сплетено,
Затянулось улиц узлами,
Но и нас с гравюр и панно
Обжигает сражений пламя.

Тлеет, не затухая, спор...
Только там и не видно дыма,
Где Всевышний небо простер,
Что едино и неделимо.

* * *

На древних камнях отражен иудей,
Под стать персонажу театра теней.
Он с Книгой в руках и ссутулился так,
Как будто большой вопросительный знак,
Да только ответа на этот вопрос
За тысячи лет на земле не нашлось.
Везде узнавался печальный герой –
В проекциях разных, а в сути одной.
...Но вот по чужим наскитался углам,
И тень обретает разрушенный Храм.
Сбывается замысел давний Творца...
О, только бы выдержать роль до конца!

* * *

Рисуют Третий Храм умы, –
Выходит шапито...
Но если не построим мы,
То кто?

...Пусть рамки истины любой
Расширит новый взгляд!
...Ничто не вечно под луной...
А над?..

* * *

Тут и там теснимые песками
Тяжких, неискупленных грехов,
Призываем: “Будь, Всевышний, с нами!”
И сейчас, как испокон веков.

Верим: все создателю подвластно,
Но понять не можем, чья вина
В том, что и так долго, и так часто
Правит бал, ликуя, Сатана.

Если беспрестанно петь осанны,
Низойдет ли с неба благодать?
Неразумно, ожидая манны,
Только на Творца и уповать.

В сумраке ночном ясней дорога
Даже от мерцающих лучин...
Помогите Богу хоть немного,
Помогите Богу, он – один...

Григорий Люксембург

ПЕСНЯ СОЖЖЕННОГО ТАНКИСТА

*Друзьям из моей батареи,
убитым в Войну Судного дня*

Ни ветра, ни птичьего свиста...
О Господи, шма, Исраэль!
Живыми сгорают танкисты
За свой соловьиный апрель.

Я знаю, что танк – не Освенцим
И в танке не стыдно сгореть,
Но замерло заячье сердце,
Почуяв геройскую смерть.

Заклинило намертво люки.
Нам больше не видеть небес.
О Господи! Где ж Твои руки?
Мне жалость нужна позарез!

Я помню, что сзади Кинерет,
А слева – Хермона хребет.
И жаль, что никто не поверит,
Что был я – и вот меня нет...

Но был я, и пепел свидетель.
Возьмите меня на ладонь –
При лунном и солнечном свете
Я буду шептать вам: “Огонь!”

Огонь небывалой свободы
Танкистов сжигал у границ.
А танков сожженные своды
Почетнее царских гробниц!

Лия Горчакова

В ПОИСКАХ СОБЕСЕДНИКА

ОТ РЕДАКЦИИ:

В этом номере мы публикуем вторую часть эпистолярного эссе писательницы Лии Горчаковой – избранные места из ее писем московским друзьям об Израиле.

Начало – в 5-м номере “Галилеи”

27.03.95

Малыш наш стал большим патриотом Израиля – ему здесь хорошо.

Как это ни парадоксально – вроде кругом арабы, а жизнь здесь очень спокойная – днем даже дверь не запираем, и детей можно отпускать на улицу шастать самостоятельно.

Но друзей у него фактически нет, гулять почти не с кем. Только недавно впервые вышел во двор – решился на контакт с израильскими детьми: стесняется, хотя и говорит на иврите свободно. А так и гулять почти не ходит – не выгонишь его, все рвется к телевизору. Я уже ограничиваю его телевремя.

Но мы надеемся, что он и это преодолеет и пройдет то время, когда он для израильских детей еще чужой.

Г.Н. гораздо больше примирен с нашим новым положением, чем я.

3.04.95

Когда в Москве вдруг возник (почти вдруг!) Израиль как возможность, я восприняла это как катастрофу – для меня. Никому не говорила, даже редко Г.Н-у, что депрессия сделала меня не очень способной к перемене мест, – думала, этого мне *не преодолеть*.

В России я – да еще с моей ярко выраженной внешностью – сознавала себя инородцем, но каким же инородцем я ощущаю себя здесь...

Мне куда легче было найти общий язык с какой-нибудь простой русской женщиной – предположим, в метро, или в моих хождениях по судам, или в

нашем дворе, где все мамы так сочувствовали мне весь последний страшный год, – с ними я была больше *своей*, чем здесь.

Вокруг в общем-то благополучные евреи, благополучные там – благополучные здесь, переполненные собой, да еще сколько кругом еврейской снесьи, на которую я реагирую (память детства!), как бык на красную тряпку.

И все-таки – вот о том и речь! – и все-таки я отказываюсь от сознания катастрофы.

Последние несколько дней (два-три) я вдруг почувствовала себя лучше, а сегодня поняла, почему: Г.Н., готовясь к лекции в “Доме Поэта”, каждый день читает мне свою гениальную работу “Смерть как подвиг”, и я просто оживаю.

А сейчас прибежал Костенька – два раза в неделю ходит на занятия каратэ – и так меня, как обычно, обнимал и целовал... Нет, грешно мне жаловаться на жизнь...

Дома, при всем нашем одиночестве, душу питала сама атмосфера, сам воздух – труды и мысли Г.Н-а, книги, газеты, и люди тоже, потому что даже наш, как верно заметила Аллисон, “похоронивший себя в бизнесе” А.В., с нами все же говорил не о “съедобном” – и там у меня был простор для моего негодования, и там, главное, продолжалась наша (Г.Н-овская, но для меня – наша) творческая жизнь.

Слушаю “русское” радио, которое, совершенно в советском стиле, промывает мозги и вообще, как вся общественная русская жизнь здесь, такое местечковое и просоветское...

Неважно, что некий деятель верой и правдой служил сталинскому режиму, – важно, что он *еврей*! Потому Эренбург у них – это великий еврей всех времен и народов. Или их умильное преклонение перед Евтушенко: какое счастье – к нам приехал сам Евтушенко!!! Или их оплакивание “большого друга нашей страны” Вл.Максимова – по-моему, и идеологический, и зоологический антисемит (в отличие от Евтушенко, который все же написал стих против антисемитов) – читали ли они “Семь дней творения”?..

Больше всего меня поразил в “русском” Израиле разгул антирусских настроений (при полном отсутствии настроений антисоветских!) – и это сегодня, когда несчастная Россия буквально погибает, и нам, бежавшим, осталось только ее жалеть, жалеть, жалеть...

Алия 90-х еще очень любит распинаться в своей безумной любви к Израилю – прямо от рождения сионисты! Как же жизнь-то прожили, интересно?..

Что ж они не приехали сюда в 70-е, если они такие правильные, прямо с пеленок, еврей?!

Что ж они так не любят тех, кто приехал в те 70-е, и именно в Израиль, – наших ватиков?..

Странный все-таки народ – наши русские евреи: с одной стороны, кричат, как их там преследовали как евреев (и врут при этом с десять коробов – я не против, может, ему и досталось, – но зачем же врать?!), а с другой – хвастаются до небес своими советскими *статусами* – тут чуть ли не все то ли полковники, то ли большие начальники... пойди разберись!

20.04.95

Генина лекция о Цветаевой прошла очень хорошо. Были приезжие москвичи и местная интеллигенция, человек пятьдесят. Была даже девушка из Йешивы, она сказала, что в ее Йешиве очень любят поэзию, и она бы с радостью пригласила Геню к ним, но она там одна русскоговорящая.

Сегодня мне приснился жуткий сон: Б-н в Израиле – и пропал Костя, и я его ищу, ищу...

Часто снится дочка, по-разному: то маленькая, то взрослая... а то не помню: мальчик?... девочка?..

В воскресенье мы подаем в министерство абсорбции документы и рукопись воспоминаний на получение Геней пособия для издания книги. Мы и не знали, что здесь есть такой вид абсорбции – для людей творческих. Но, говорят, это не распространяется на пенсионеров. Правда, за нас хлопочут и, может, что-нибудь выйдет, хотя у меня надежд мало, да и история эта длинная. Ну что ж, подадим, а там видно будет.

В начале мая в газете “Наша страна” в двух номерах будут печатать Генины размышления о войне. Они были опубликованы в Москве в модном журнале “Столица”, но там сократили, а сейчас – полностью, да еще обещают гонорар!

А в московской газете “Накануне” напечатали его большую статью о Софии Парнок – поэте замечательном (она еврейка!), но, к сожалению, в России, а тем более в Израиле, совсем не известном.

Костенька за каникулы сдружился с израильскими детишками во дворе, и я так рада, он с ними весело играет и так свободно говорит на иврите!

2.05.95

Марина Цветаева как-то сказала: “Я верю только в слова...” Вроде, на первый взгляд, звучит наивно, но на самом деле это поразительно (пронзительно!) точная мысль: слова не могут обмануть. Когда они *настоящие*, – это всегда чувствуешь, всегда знаешь – так же, как когда они фальшивые: они себя выдают *всегда*.

Твои слова – настоящие, потому я так рада твоему письму.

Да, моя дорогая, я понимаю твои “мурашки”, когда ты думаешь о нас, очень хорошо понимаю. Столько на нашу долю выпало испытаний...

Пишу тебе и плачу, и это, поверь мне, благие слезы: ведь на людях я как все, да и “вечный смех мой, коим всех морочу...” (МЦ).

Потому на твой душевный отклик, когда “из души и прямо в душу обращенные слова”, – оттаивает и раскрывается душа...

А в моей душе столько накопившейся боли, столько слез... но они лишь для душевно-близких, для своих... да и то – редко, я ведь своих люблю – щажу.

Да, я с тобой согласна – духовные силы Гени просто поразительные, и это меня тоже держит на поверхности.

Самое мое золотое время было – когда он писал. Ведь он мне наговаривал все свои тексты или на машинку (в Москве у меня была отличная немецкая электрическая машинка), или писала от руки, а потом мы вместе работали над текстом, я ему немного помогала – что-то вроде редактора.

И только он – в новые времена – вышел на свет Божий как литератор... и тут все оборвалось: наша творческая жизнь на сегодняшний день просто невозможна.

7.05.95

Читаю вслух письмо моим мужчинам. У Кости загорелись глаза, когда ты пишешь о разделяющем нас расстоянии: “Я возьму землю Австралии и перенесу в Израиль, а землю из Израиля, на которой живут арабы, перенесу туда, и тогда арабы не смогут убивать евреев, и мы будем все вместе!”

Что-то я расклеилась. По вечерам душит страшная тоска, удушающая, и никакой “прозек” ее не берет.

В Израиле полагается помочь материально литератору в издании одной книги (дают на это примерно 2000 шекелей, хотя, конечно, книга стоит дороже, но тоже неплохо), но, как мы узнали, это не распространяется на пенсионеров.

Мы познакомились с поэтом Риной Левинзон, которая принимает в нас участие, – это она устроила вечер Гени в “Доме поэта”, и она сказала нам об этой льготе. Она ватичка, с прекрасным ивритом, даже пишет стихи на иврите.

По ее просьбе у Гени в министерстве абсорбции приняли рукопись, а они такие молодцы – отнеслись очень хорошо (я это почувствовала, когда мы отдавали рукопись и документы) – думаю, тоже Рина постаралась.

Рецензенты дали рукописи высшую оценку, так что есть надежда. Такая у нас хорошая новость.

30.05.95

Я не помню, писала ли вам, что у нас в ульпане есть такая учительница – Рахель Пресман. Она из хабадников, приехала сюда давно. Она интеллектуал, активный читатель на русском (я, встретив ее в библиотеке: “Вы еще успеваете читать?!” – “Мы здесь живем!”); читает нам прекрасные лекции о еврейских праздниках (высокой пробы русский и такой же иврит: Аркаша был поражен, когда она ему сделала какой-то письменный перевод).

Так вот, она мать восьмерых детей.

Г.Н. ей подарил свою книгу (она любит Цветаеву), и вот что замечательно: она обсуждала с ним проблемы из книги на тему: отцы и дети, причем так серьезно, на такой глубине...

Да, подумала я, у нее растут счастливые дети. Одну, старшую, мы знаем: чудо!

И еще она сказала, что из предисловия и из самой книги очень ясно, что ничего случайного в судьбе Г.Н-а не было.

“Замечательная книга! И она едина с судьбой Генриха”, – сказала она мне.

А сегодня на уроке наша мора (учительница) сказала, что я приношу в класс “мацав-руах тов” (хорошее настроение).

7.06.95

Рахель Пресман мне дала важные советы о Костином образовании – я ведь не ориентируюсь...

А главное, что она сказала насчет “баловать”. В чем? Покупать игрушки, доставлять радость, читать книжки, играть с детьми, растить их свободными, не подавлять.

Но это не относится к их участию в жизни дома. Они должны обязательно серьезно участвовать и знать, что это *обязанности*, а не игра.

Почему дети в два года так любят помогать взрослым, а потом уже не любят? Потому что мы их не поддерживаем, а отбиваем у них охоту. Когда они делают хорошо, мы воспринимаем это как норму: “Это же мой ребенок!” – а когда плохо, мы недовольны. А надо наоборот: пусть делают плохо: бьют чашки и пр., но надо их *только* хвалить за достижения и не ругать за промахи.

Вообще надо их поддерживать – видеть их достоинства, а не колоть их недостатками.

“У меня есть недельный график их обязанностей. И вот вижу, что мусор уже пора выносить, – я молчу. Тогда ребенок, увидев мусор, смотрит на график – сейчас его очередь, или кто-то из детей первый увидит и скажет тому. Все в доме работают”.

Я: “Мне легче самой сделать, чем учить его и ждать”. – “Всем легче так, но ребенка надо приучать к жизни и важности его труда”.

Дадут ли рекомендацию для этого фонда в Сионистском форуме, – неизвестно. У них, оказывается, есть негласное распоряжение их начальства: никому ни в какие фонды никаких рекомендаций, а то вдруг им, начальникам, самим понадобится. Такие у нас *общественные* организации – всюду одно и то же: кормушка!

17.06.95

Костенькина учительница Орна – очень хорошая! – в таком от него восторге: “Ему учиться не надо – его голова сама учится, такой умница и так внимательно все впитывает, а говорит уже как израильтянин. Но и шалить начал – освоился”. Мы с дедом были просто счастливы.

Орна всегда его хвалит, но тут было родительское собрание. Здесь оно проводится так: каждому родителю назначается индивидуальное время и идет с ним *отдельный* разговор – просто замечательно! И потому она говорила больше и подробнее.

У Г.Н-а тоже есть успехи: его приняли в здешний Союз писателей (заочно, чтобы не таскать его по жаре в Тель-Авив), ждем решения министерства абсорбции, дадут ли деньги. Толя сказал, что они обязательно примут участие. Но пока все это зыбко...

20.06.95

Купила для малыша путевку в “кайтану” – летний лагерь при школе. С начала июля три недели с 8-ми до часу: будут возить в бассейн, экскурсии – это хорошо, меньше просидит у телека.

Страшно устаю от ульпана, а толку нет – никакой памяти, да и живем в русской языковой среде: русское радио, русское телевидение, русские соседи – для жизни хорошо, но не для языка...

Очень переживаем события в Буденновске – все время смотрим и смотрим. Какая трагедия! Какая же наша страна несчастная!

Г.Н. под огромным впечатлением – вспоминает и вспоминает: информация по русскому ТВ: какой-то деревенский тракторист в русской глубинке, отец троих детей, встал возле стены и пустил на себя трактор – медленной скоростью: трактор его *раздавил*. Символ русской безысходности!

22.06.95

Скоро у нашего малыша каникулы – учатся до конца июня. Он очень дружит с израильскими детишками – такие славные мальчишки! И они его любят – только и слышно: “Костя! Костя!”

После уроков Торы домой он приходил с вопросами: “Оказывается, арабы – наши двоюродные братья! Почему же они ненавидят евреев?” Или: “Ведь все люди на земле – братья! Все – дети Адама!” Он увлеченно рассказывает какой-то библейский сюжет, дед, пораженный, спрашивает: “Вам что, рассказывают по-русски?” – малыш так смеялся...

Он и читает на иврите отлично, на русском тоже немного читает, но больше мы ему – он любит слушать.

Да, ребенок здесь просто счастлив, любит Израиль всей душой.

28.06.95

Наша группа сегодня вместо занятий – на экскурсии. Мы были всего один раз – по Иерусалиму, а они уже объездили всю страну, и очень дешево.

Две фразы Г.Н.-а: “Самое тяжелое у нас здесь – это твоя голова” – и вдруг, тихо: “Наверное, нам не надо было ехать...” (как будто был выбор – его не было).

После твоего письма я стала размышлять – ты мне, как говорит Г.Н., *надвинул* на глаза – о твоём вопросе: “Где они, вечно бодрствующие?..”

У меня есть кандидатура. Адвокат Максим Борисович Эпштейн, наш бывший хозяин по той мрачной квартире. Это ему-то, рижскому еврею с университетским образованием по еврейской истории, преподававшему ее и на идиш, и на иврите, потерявшему всех родных в Катастрофе, ватику, “академаи”, – дали такую амидаровскую квартиру! – хуже не бывает.

Сразу, когда приехали, надо было легализовать мое русское опекунство: перевести на иврит и заверить. Л. хотела только к Ланкину: как же, живая легенда Израиля – командир “Альталены”! (был послом, в старости стал нотариусом) – так он не постеснялся содрать с меня тысячу шекелей.

К Максиму Борисовичу мы ходим уже чуть ли не год, все заверяем и заверяем, и он не берет с нас ни копейки. Мне даже неловко стало: “М.Б., я не смогу к вам больше прийти, ведь вы же отказываетесь брать у меня деньги”. Его жесткий ответ: “Нет, вы приходите обязательно!” – и после паузы, сердито: “Я с сирот денег не беру”.

Были среди документов и проблемные (не адвокатские – человеческие проблемы). Обычно молчаливый, Максим Борисович четко высказывал свою точку зрения, и для меня, вечно растерянной, это высвечивало суть дела и очень мне помогало.

Ты бы видел его!.. Он с 1908 года, но какая ясность ума и взгляда!

Максим Борисович, сказал мне потом Аркаша, всем новичкам заверяет бесплатно – он сам с кипой своих бумаг через это прошел.

Вот когда встретишь такого *еврея*, то вспоминаешь “вечно бодрствующего” еврея Бальмонта, и забываешь про всякую людскую мелкость, и душа расцветает...

28.06.95

Вчера к нам приходили из социальной службы. Здесь она очень важна: охраняет интересы ребенка, они же решают вопросы официального оформления наших прав на него.

Проверяли, как живет ребенок. Вроде все им понравилось: его комната, письменный стол, книги, его рисунки, игрушки.

Но они не только не поддержали мою просьбу о его усыновлении (что справедливо: наш возраст), – но и об опекунстве тоже: это очень сложно, да и зачем – у вас есть российское опекунство (т.е. наши права на ребенка вроде бы признаны), а “материально это ничего не изменит, мы посоветуемся с начальством”.

Посмотрим.

24.07.95

Итак, два открытия. Первое – Рина Левинзон, известный в Израиле поэт, которую знают и признают и израильтяне (она здесь около двадцати лет).

Она о нас заботится: все присходящее сейчас с книгой – мечтанное! – ее заботами.

“Русские” на Земле Обетованной, к счастью, не все оказались каганскими.

Рина прочла цветаевскую книгу, пришла от нее в восторг. Сказала мне: “Он не Генрих Горчаков – он гений Горчаков! “

Принесла Г.Н-у книги своих стихов с трогательной надписью нам. Мы прочли ее стихи и просто поразились: какой талантливый поэт! Я стала твердить: напиши о Рине... напиши Рине...

И, представь себе: чудо! Г.Н. вдохновился ее стихами и написал Рине изумительное письмо о ее стихах.

Я просто счастлива, что Г.Н. смог так написать о Рине. Ее стихи того стоят, и ведь это первое, что он смог сделать здесь (но *смог!*).

И вторая радость. Перед отъездом, преодолевая свою гордыню, попросила Новикова (так завидовала ему, что у него есть!) подарить нам трехтомник Бориса Слуцкого. И вот Оля его нам прислала, а так как я сейчас все больше лежу, то смогла его прочесть.

Ну, скажу я вам, какой же мой любимый Боря Слуцкий молодец – как же он меня обрадовал!

Читаю моим мужчинам, читаю кому могу (мало кому!), и не могу не восхищаться: сколько же, оказалось, он при жизни наработал настоящих, замечательных стихов, которые только сейчас дошли до читателя – лежали *в столе!* Вот одно:

А нам, евреям, повезло:
Не прячась под фальшивым флагом,
На нас без маски лезло зло,
Оно не притворялось благом.

Еще не возникали споры
В торжественно-глухой стране,
А мы, припертые к стене,
В ней точку обрели опоры.

Думала – все, ничего уже не смогу запомнить, а оказывается – могу: этот стих запомнила с ходу...

Рина хочет устроить в “Доме поэта” (где Г.Н. читал свой парижский доклад) вечер памяти нашей дочери. Она высоко оценила ее стихи. А ее муж Саша Воловик – тоже поэт, высокой культуры, многоязычный, прочтя прозу дочки, сказал: “Это человек!” (со слов Рины).

29.07.95

Главное, что держит на поверхности, – это Костины успехи, и, совершенно для меня неожиданное, – есть люди в культурно-литературной среде, кто проявляет доброе и даже, бывает, восхищенное внимание к Г.Н-у.

Одна талантливая поэтесса, она здесь давно, пишет не только на русском, но и на иврите, сказала мне о нем: “великая душа”.

О нем пишут, скоро будет о нем получасовая передача на русском радио, его уже начали печатать, собираются помогать с изданием его мемуаров.

Кажется, культурная среда здесь (не вся, разумеется, но есть – это уже *много*) более живая, менее завистливая и заостеневшая, чем в Москве, и даже очень известные литераторы способны и восхищаться, и помогать – то, что дома мы даже и представить себе не могли!

1.07.95

Вчера Костенька закончил школу, и я не могу не поделиться с вами нашей радостью. Кончил он на сплошные “алеф” (высшая оценка), есть только па-

рочка “алеф-бет” (вроде – вторая оценка) и по поведению, понятно, “алеф-бет” (“Бабушка, ты не огорчайся, я буду себя хорошо вести!”).

Вот что он нам *выдавал* в последние дни:

1. В соседнем классе несколько месяцев учится мальчик, который все время плачет и не хочет ходить в школу (со слов его мамы). Я спрашиваю у Кости, знает ли он этого Павлика: “Да... его все обижают, дразнят “русский” и что он не знает иврита” – “А как же ты?” – “Меня тоже так обижали вначале”. – “Но ты мне ничего не говорил!” – “я видела, какой ребенок грустный, напряженный, но, кроме Рони, – я вам об этом писала, – ничего не говорил” – “А зачем говорить? Я же знал, что они потом станут моими друзьями. И они стали моими друзьями”.

Вот такой у нас мужественный мудрец.

2. У них в школе в пять часов была “месиба” – праздновали день рождения одной девочки из класса, а Костя забыл об этом (дед поздно обнаружил бумагу про “месибу”). На следующий день он мне говорит, что многие забыли, а трое мальчиков не пошли, потому что – девочка.

“Когда они женятся, как они тогда будут жалеть, что не пошли на эту месибу! Ведь там был фокусник!.. Я у нее попросил извинения, что не пришел”.

3. Нам подарила свою книгу Дина Рубина с трогательной надписью. Костя заинтересовался книгой: “Когда я вырасту, я буду читать эту книгу! И мои дети, и внуки, и правнуки тоже будут ее читать. Она всегда будет в нашем доме. А как ты думаешь, бабушка, они (его потомки) будут знать друг друга?”

Вот так благодаря Торе растет *историческое сознание* человека.

4. Социальная служба спрашивала у Лены, балуем ли мы Костю (“Это хорошо, если балуют!”), покупаем ли игрушки... Я рассказала малышу – он был просто в восторге и сам (аршинными буквами, которые ему к тому же для образца написал дед, – он читает русские книжки, а писать уже не может, а я не хочу отвлекать его от иврита) сделал приписку к письму Р-м: “Израиль – единственная страна, в которой надо обязательно баловать детей!”

На новости с отношением сейчас к Г.Н-у Аркаша высказался так: “Я так тосковал от мысли, что Г.Н. здесь будет совсем одинок, в чем я не сомневался. И такая радостная неожиданность, что есть люди...”

Сегодня на радио будет о нем получасовая передача.

2.12.95

Володя привез нам в подарок свой компьютер – “Макинтош”, и вот я теперь пишу как цивилизованный человек.

Грустно сознавать, что вряд ли вы соберетесь в Иерусалим...

Еще грустнее сознавать, какой стала сегодняшняя Россия... не оставила нам даже право на ностальгию.

Помнишь, Мишель, как я всегда гордилась потаенной духовностью России – мы, мол, и бедные, и несчастные, но у нас есть боль, есть страдание, а потому есть *душа*...

И вот Россия вроде бы освободилась, открылась. А где же?..

Впечатление такое, что русская духовность улетучилась вместе с русской несвободой.

Но я все же надеюсь, что это впечатление создано хоть и искусно, но искусственно.

Недавно по российскому каналу показали знаменитую ленту Никиты Михалкова (“Оскар”!) – “Утомленные солнцем”.

Когда читаешь русскую прессу о своем времени или смотришь этот фильм, чувствуешь себя как бы заживо похороненной. Все же неплохо бы вспомнить, что живы еще люди той поры, – как же можно так беззастенчиво, так цинично лгать...

Еще в советское время с лету запомнилась эпиграмма Валентина Гафта:

Россия, слышишь этот зуд?
Три Михалкова по тебе ползут.

Сколько же этих Михалковых сейчас ползут по России к заветной цели – УСПЕХУ, с добавочкой: мани-мани... Впереди *ползущих*, как и положено, Михалков Никита Сергеевич.

Это Марина Цветаева была “пригвождена к позорному столбу славянской совести старинной...” – Михалковым стыд глаза не выест, потому Никите Михалкову так легко долдонить: “Россия!”, “патриотизм!” и пр. А сам давно полз к “Оскару” – и вот приполз: из трагедии народа, из *моей* боли сшил триллер голливудского образца для ничего не ведающего о его стране западного обывателя.

И при этом отмазывает и папочку – идеологического генерала сталинского времени, и весь свой род, заодно и их права на генеральство: зачисляет себя и свой клан в *жертвы*.

Для всех сегодняшних *михалковых* правда о советском прошлом – самая страшная опасность, потому и поторопились ее наглухо замуровать, “безгласных” же похоронить – самое милое дело, да при нынешних-то *информационных* правах и “свободах”!

Потому еще в 80-х в сочинениях абитуриентов появился – не раз с изумлением таращилась! – загадочный “культличности” (так и писали – слитно!), а сейчас объявился новый страшный зверь – “коммунизм”.

28.12.95

Замечательно, что малышка так радуется людям.

Мне очень нравится в израильтянах их естественная общительность. И вот я вижу ее происхождение. В нашем доме живет молодая мама Офра – дочка чуть младше Либби, очаровательная девочка (Офра работала в посольстве в Штатах, и отец – какой-то смывшийся американец). Так Офра, когда идет с дочкой, а я курю на галерее, – всегда подойдет, малышка радуется мне, тянется, беру ее на руки – каждый говорит на своем языке, и все счастливы.

И даже торопясь на работу – обязательно хоть на минутку подойдет. И не раз я вижу молодых мам, которые останавливаются, давая возможность ребенку пообщаться с взрослым, и несут они младенцев – лицом к миру, а не к себе, как было у нас.

Вот потому и дети здесь другие.

Дошит меня проклятая тоска... дошла уже до того, что сегодня по давно купленным билетам на детский спектакль (всего второй раз в Иерусалиме) с Костенькой пошел дед – а я вот пишу тебе.

Мне кажется, эта кухня меня доконает – все кухня да кухня... куда ж денешься... или тащишься на рынок через весь город.

Все мои “оптимистические” надежды на отношения с людьми – сплошная иллюзия.

Нет, мы здесь встретили – немного, понятно, но ведь и это удивительно – по-настоящему хороших людей, но у всех – сложившаяся жизнь, да к тому ж мы слишком непохожие – *не такие* (не знаю, как объяснить)...

Тут пропагандистское “русское” радио любит вещать об успехах израильской экономики. Г.Н. прокомментировал их восторги так: “Собрались зеки в камере, и кто-то воздух испортил – а один обрадовался: “Ребята, затопили!”

20 декабря был цветаевский вечер. Г.Н. верен себе: перечитал – опять! – всю Марину, даже с глазами стало плохо – сам побежал к глазнаку (мне и слова не сказал), теперь ясно, что это было переутомление.

Много было предварительных волнений, даже думали, что все сорвется, но вечер был. Г.Н. выступил прекрасно, народ пришел и хорошо слушал. Значит, цель достигнута – еще одну цветаевскую тему он поднял!

Тема эта: МЦ – русская женщина, вернее, русская баба, и МЦ – женщина-мать.

Конечно, уже нелегко ему, да и без необходимых материалов, без необходимых условий (ох, как вспоминаю его, пусть крошечный, но свой кабинет...), очень устал, да и чувствует себя неважно: аритмия, скачет давление. И все же – дело сделано!

Недавно по российскому ТВ показали Жигулина – отвратительная рожа. Но сколько изданий его “Черных камней”, и какой у него великолепный загородный особняк, кабинет роскошный, участок – лес, а у Г.Н-а остался один только неудобный диван, на котором и коротает свои последние годы, да тревоги, да заботы... да стой часами перед этим вшивым российским консульством с его лощеными, презирающими тебя чиновниками... Но что делать, такая наша судьбина.

Костенька сейчас – шабат – у Аркаши, а я вот изливаюсь – слезами заливаюсь.

У нас были в гостях из того общества “Друзей Израиля” (хотели познакомиться с жизнью олимов) очень симпатичные христиане из Новой Зеландии. Они очень живо реагировали на мой рассказ о Г.Н-е (с ними была переводчица), и тогда я сделала для них ксерокопию твоего перевода “Сопки”, и теперь он в Новой Зеландии – уверена, что они его прочтут. Вот такие бывают неожиданные неожиданности...

2.01.96

В Израиле такая пошла охота на ведьм – вспоминаешь молодость. Последний сюжет: какой-то парикмахер за антирабинские разговоры вызван в полицию, сообщила наша РЭКА; на следующее утро она же: парикмахер сказал, что этот тип, его клиент, ругал и обвинял всех религиозных – вот они его и выставили из парикмахерской, а тот побежал, надо понимать, в полицию.

Знаешь, какое самое великое событие в России конца года? – пятидесятилетие Геннадия Хазанова! Ему и орден, про него все новогодние празднества, и даже “Поле чудес”! Г.Н.: “Они доиграются!”

А ведь Хазанов одновременно и гражданин Израиля, у него здесь вилла, так был заказан самолет на двести персон – весь еврейский русский “высший свет” пировал в Израиле.

А как здешние евреи презирают русских – “такой народ... выбирают коммунистов!” – что ж, Хазанова, что ли, выбирать?

Приезжал Леня Р-н, и я ему по телефону с большим удовольствием развивала идею Жаботинского, который в начале 30-х выдвинул лозунг: “Эвакуация!” – очень на него тогда обижались и немецкие, и польские евреи: он портит их отношения с коренными народами!

Вот и в России сейчас время эвакуации – долго ли еще народ будет терпеть, а уж не приведи Бог русский взрыв!..

30.01.96

Тут по российскому ТВ очень измывались (это они теперь так острят) над фразой Достоевского: “Константинополь будет наш!” (из “Дневника”).

Г.Н. меня, помню, всегда осаживал, когда я возмущалась подобным в “Дневнике”: “Достоевский страстно любил свой народ, болезненно обижался на отношение к нему Запада, а всякая страстность рождает перекося”.

Так на *близких* перекосях начинаешь понимать *дальние* – вот и рождается *чувство истории*.

Ты спрашиваешь о правовом положении Кости. Усыновить его мы не можем – против этого социальная служба, а она здесь самая главная в решении проблем с детьми. Но это разумно: наша старость.

А вот почему они меня обманывали, уверяя, что не нужно добиваться израильского опекунства, поскольку у меня есть российское, и что на пособии это не отразится, – этого я понять не могу.

Знающий человек объяснил мне, что и они, и “Битуах леуми” нас обманывают – платят нам на ребенка 245 шкалим в месяц, а ему положено полноценное пособие как сироте.

Иду в “Битуах леуми” – там меня оглушили: если бы дочь умерла в Израиле – он был бы для них *сирота*, а поскольку она умерла в России – он для них *не сирота*. Такая вот логика.

Эта социальная служба здесь – совсем советская, я бы сказала, антисоциальная. Только когда я пробилась в министерство юстиции и там замечательный еврей – на руке у него номер: значит, прошел через концлагерь – сказал, что они дадут мне бесплатного адвоката, и мне обязательно суд присудит опекунство, – только после этого они смиростивились: могут сами заняться этим. Вот уже третий месяц занимаются...

10.02.96

Да, нам, в особенности людям эмоциональным, часто не хватает объемного зрения. Вот я, со своей тоской, часто думаю: как же я грешу... Всё мои то физические, то психические болячки заслоняют – уже не видишь четко, что вокруг. А сейчас Г.Н. сильно простыл, и посыпалось: его долгий кашель, его слабость, его сердечная аритмия, а сейчас и плохая кардиограмма, и давление... Меньше, думаю я, дорогая Л.Б., надо думать о себе.

28.05.96

Вот Володя осенью привез нам в подарок свой компьютер – древняя моя мечта! Но, как часто бывает, мечта сбывается слишком поздно – не только для работы Г.Н-а (об этом уже почти и не мечтаем...), но даже и для моих писем – их тоже нет. Не помню, когда писала.

Книга Г.Н-а - это действительно из области чудес.

Я только радовалась и, как говорится, не чуяла беды. Книга издана хорошо, тираж – 1000 экземпляров, о ней была передача по русскому радио, была очень хорошая презентация, но почти весь тираж лежит у нас дома – целая гора! И реализация книги – это уже наша проблема. А где взять для этого силы?..

23.07.96

Прочли в “Русской мысли”, что вышел сборник парижских докладов “Песнь жизни”, среди перечисленных в газете авторов есть и Г.Н.

Скажи Веронике Лосской, что Г.Н. получил ее письмо о его книге, конечно, напишет ей с большой благодарностью за отклик. Но пока неважно себя чувствует, да еще проходит обследование, да еще у него вырывают негодные зубы...

В Москве в “Литгазете” появилась хорошая рецензия на книгу. А тут еще такая неожиданность. Один иерусалимский профессор-славист сказал Г.Н-у, что в “Руссиан литератур” (Амстердам) в этом году напечатана работа Г.Н-а о блоковских “Шагах Командора” (написана в 85-м году). Гоша говорит, что это самый престижный журнал русской славистики, и даже он не знает, как рукопись попала к ним. Надеемся, что Гоша, выйдя на работу, отксерит ее и пришлет нам.

Когда нам издатель привез тираж книги и свалил его в углу (1000 экземпляров!), я сказала Г.Н-у: “Это памятник на нашу могилу” – как мы при своем неумении и слабом запасе сил можем справиться с ее распространением?..

Но нам стали помогать люди, очень успешно прошла презентация, и была хорошая продажа. А тут вообще произошло чудо: мне позвонила женщина, которая была подругой Ленушки, очень хорошо ее вспоминает. Она здесь человек влиятельный и помогла нам по-настоящему: если бы не она, я не смогла бы получить для малыша визу в Штаты (для этого надо иметь израильское опекуновство, а мне его пока что только обещают), и вот помогла с книгой, и гора уже не давит. Книга явно вызвала интерес, и теперь уже нет прежнего страха.

Так дочка помогла и сыну, и родителям.

31.07.96

Мне все больше и больше чудится, что наше пребывание в Израиле под Б-жьим контролем.

Эта публикация “Шагов Командора” через одиннадцать лет без всякого внешнего человеческого участия... Надо же, какое торжество одинокого духа!

Это Костенькино путешествие к вам...

Вот он уже пошел в кайтану (летний лагерь) в новой школе – пошел с радостью, и там наш малыш уже Барух, или Борух (идишский вариант) – мечтанное имя не только для меня – для Ленушки.

Еще одна новость – Г.Н. получил ответ из того американского фонда – они ему дают грант – 3000 долларов. Значит, мы продолжим работу над воспоминаниями!

Г.Н. конечно ожил, и мне надо сейчас стараться – так укладываться с бытом, чтобы хватило и времени, и сил на работу с ним. Сердце замирает от надежды – начнется диктовка, диктовка...

И в эту книгу войдет *роман*.

Вчера Г.Н., уже почти ночь, пришел к нам в комнату (я читаю “Дневник” Ю.Нагибина – прелюбопытный документ), сел понуро (сегодня с утра поехал на тяжелейший для него анализ кишечника, а вчера ничего практически не ел, кроме слабительных) и говорит:

– Какую мы с тобой прожили трагическую жизнь...

И начал вспоминать “этапы большого пути” – свою судьбу (есть один этап, о котором он всегда молчит, – дочка).

Вспомнила, в связи с этим разговором, слова из его – молодого! – романа, в котором все сказано – и все предсказано: “Я твердо убежден в том, что литература – не синекура. Один начинающий писатель прислал для отзыва еврейскому писателю Перецу свои стихи. Тот ответил весьма лаконично: “Пишите лучше цифры”.

Если вы хотите писать для заработка – пишите лучше цифры.

Литература никогда не будет синекурой”.

Костя – мой мудрый внук – говорит мне в автобусе – внутри рассказа о тебе, о Бруне, о том, как играл со Светланой, какая веселая Ксения Владимировна: “В Америке хорошо, а в Израиле в сто раз лучше!” – и после паузы с тихой грустью: “А Володя остался в суровой Америке...”

Да, такой избыточный комфорт – и вдруг точное слово: *суровая*.

(...) Несколько *ядовитых* вопросов.

Ты что, считаешь, что конец нашего века являет нам торжество “*внутренней свободы, независимости мысли, чувства собственного достоинства и других положительных аспектов развитой личности*” (Вл. Г-н. с.140)?

Или ты предполагаешь, что сегодняшняя “новая” Россия являет воплощенные идеи соборности, общинности, коллективизма и прочих ненужных и вредных для личности вещей, а не воплощение самого неприкрытого эгоизма, даже лишенного западных начал: воспитания, самодисциплины и прочих

подобных хороших (сегодня больше, мне кажется, *внешних*) вещей – а по сути служит тому идолу, который зовется успехом-комфортом и требует сурового служения?..

Г.Н. писал тебе о полном неприятии Достоевским всякого индивидуализма и что значит для Д-го личность.

Я тогда еще подумала: надо же, а ведь у Достоевского по сути все – личности, и та вами любимая (академиками в смысле) бахтинская полифоничность Ф.М. – это, в сущности, его любовь и к Лебедеву – личности, и, предположим, к генералу Иволгину – тоже личности и пр.

Твое: “... сильная, независимая, самостоятельная личность стала пугалом, которым, ссылаясь на Достоевского, стали запугивать людей... русские интеллектуалы... вместо того, чтобы внимать тому положительному и необходимому, что содержится в развитии личности”, – я не знаю, Гошенька, почему ты прельстился такой схемой? Где ты это увидел?..

Я понимаю, что огорчаю тебя, но ты попал – ненароком – на мою любимую мозоль...

Только в годы “новой” России мне стало ведомо то чувство, которое вело руку Блока:

Мы обернемся к вам своею азиатской рожей!

29.11.96

В ответ на мою жалобу о тотальном, непробиваемом одиночестве Г.Н. мне сказал: “Знаешь, я тебе скажу два афоризма:

1. Мы сделали ошибку, приехав в Израиль.

Но еще большую ошибку мы сделали бы, поехав в Америку или Австралию.

Но самую большую ошибку мы сделали бы, оставшись в России.

2. Ты в слишком слабой жизненной позиции, чтобы быть такой сильной, как ты; и слишком сильная, чтобы быть в такой слабой позиции, – и это наш с тобой общий удел, и до нашей встречи, и вместе.

Конечно, мне бы надо посоветовать тебе, моей молодой жене, – откажись от реакции, не реагируй... Но ведь твои учителя – Федор Михайлович, Марина Ивановна – никогда не отказывались – всегда реагировали.

У тебя остается один выход – пиши”.

– Ну нет, выход у меня – быть твоим секретарем. А писать – я и так пишу – письма.

– Вот и пиши письма. Роман в письмах.

– А ведь Аллисон мне так и сказала – “роман в письмах”! Вот и пишу вам – свой роман в письмах. И все же мне удивительно везет – есть кому писать свой роман...

Поэтому, мои дорогие, на вас большая забота – мне отвечать.

У меня в жизни большое событие – моя любимая Рахель Пресман читает в этом году лекции раз в неделю – недельная глава Торы. И это страшно интересно!

Прихожу домой – все докладываю – с интересом слушает (это сейчас как раз входит в сферу его интересов).

Представьте себе, я, оказывается, и понятия не имела об основополагающих постулатах нашей веры, и они меня глубоко поражают. Я бы сказала, прежде всего, что это всегда была и есть МОЯ вера – мое отношение к человеку, к идеалу, к нравственным основам – просто потрясающее единение, и полная для меня неожиданность (а может, думаю я иногда, это у Рахель моя вера... не знаю, что и думать, но она здесь очень почитаемый авторитет).

Сейчас останавливаюсь – бегу слушать Рахель: ЧАС СЧАСТЬЯ.

11.12.96

Мой бесконечный дневник...

Вчера – впервые была хорошая возможность! – поговорили с Рахель, моей прекрасной, моей *божественной* Рахель.

Был вечер праздника Хануки, и пели два ее мальчика. Когда они – очаровательные, с прекрасными глубокими глазами – 7-ми и 12-ти лет, разговаривают с мамой, они – ребенок и мать – смотрят глаза в глаза. Одна наша симпатичная олимка: “Вы прекрасная мать!” – “Стараюсь”.

Чем больше узнаю Рахель, чем больше думаю о ней, тем больше понимаю *русский* религиозный мир, и Аркашу тоже.

В отличие от всего, что я здесь (и раньше) слышу и читаю о нашей вере, – у Рахель она не *плоская*: надо – не надо!.. Авраам пошел – Авраам пришел... а глубокая и объемная, необъятная психологическая глубина.

Рахель в объяснение Торы включает множество толкований, но создается цельная картина, включающая в себя человеческую сложность, противоречивость и даже, можно сказать, нашу амбивалентность и многовариантность...

И вот возникает вопрос: по русскому радио, в русских газетах и пр. и пр., и чаще всего, между прочим, женщины тут выступают проповедницами иудаизма, – так много именно плоского! И все вроде знают Рахель, знают о ней...

Но если бы я не приехала к Аркаше, не поселилась в Рамоте, я бы ее *никогда* не услышала.

Свои потрясающие лекции-открытия она читает (говорит, конечно!) в жалком клубе пенсионеров Рамота... сидит 12-15 человек.

Почему же Рахель в Израиле – русском – (об ивритском не говорю – не знаю) осталась невостребованной?!

Наверное, потому, что не будет расталкивать локтями, не будет не только пролезать – лезть...

“Тихий свет ее очей”... тихий, но такой яркий свет ее духовности...

А может, главная причина – нужны ли не только Ф-м, но и... такие “психологические тонкости”, сложности...

Наверное, ни “культурному” (провинциальному!) русскому миру здесь, ни, к сожалению, религиозному такая глубина и такая ответственность не нужны – слишком многого она требует от человека.

Так просто: кошер – шабат – мезуза. Не включать свет и т.д.

“Вечерний Иерусалим” 12 декабря 1996 г.

РАДОСТЬ ХАНУКИ

В своих блистательных лекциях по недельной главе Торы Рахель Пресман рассказывала нам: после войны на юге Франции евреи искали в монастырях спасенных еврейских детей, и дело это казалось безнадежным – бумаги сожжены, малыши выросли и ничего не помнят.

И тогда один рав обратился с просьбой о последней попытке. Он зашел в спальню, где лежали уже готовые ко сну мальчики.

– Шма, Израэль! – сказал рав, и несколько мальчиков заплакали: они *вспомнили*.

...На вечер праздника Хануки в матнасе Рамота “Алеф” собрались пенсионеры – поколение, пережившее войну... многое пережившие евреи из России.

Там за свою долгую жизнь мы были евреями прежде всего потому, что нам об этом хорошо напоминали. Но ведь немало среди нас и тех, кто даже не знает идиш...

И вот звучит еврейская музыка, поет еврейские песни наш чудесный, удивительный хор пенсионеров Рамота, и взывают ввысь чистые детские голоса Шмулика и Янкеле Пресманов.

И как откликается, как тянется к Небу наша еврейская душа...

А на смену им – снова и снова звучат еврейские мелодии, еврейские песни – приходит ансамбль из “Кфар Хабад” – “Афцелохес але сойним”, и как же вместе с их песнями еще больше выпрямляется, и радуется, и молодеет душа...

Одно дело, когда молодой человек в религиозном обличье тебя, несмышленища старого, наставляет, поучает, – и совсем другое, когда Меир Верзуб, глава ансамбля, обращается к тебе с живым словом, зовет тебя:

– Будем евреями!

Нас угощают чудесными пончиками – “суфганиот”, и мы хором произносим положенную “браху”, и наши мужчины пьют “лехаим!”

Нам открывают азы еврейского этикета, но не менторски, а весело, по-братски.

Слушая Меира, я невольно вспомнила любимые строчки:

Все замки и скрепы рушит
Дивная разрыв-трава:
Из души и прямо в душу
Обращенные слова.

И невольно восклицаешь: это лучшая агитация – от сердца к сердцу!

И звучит:

– Шма, Исразль!

И оркестр, и Меир, и мы все – все вместе! – поем “Ломир але инейнем...”, и плачут наши еврейские сердца, потому что, как и те мальчики, мы тоже *вспомнили*.

Так ясно помню. Я – ребенок, и когда собирается в доме моя родня на семейный праздник, мы поем “Ломир але инейнем...”, и наши взрослые – все! – плачут...

Это был настоящий праздник – прекрасная Ханука, незабываемая Ханука!

Спасибо сердечное нашей дорогой Элеоноре Шифрин за эту радость Хануки.

– Это был самый прекрасный праздничный вечер в Израиле! – сказал мой десятилетний внук.

13.12.96

Сегодня развивала Г.Н-у свою идею: почему Всевышний нас переместил в Израиль.

В России у меня в душе был полный мрак – полная безнадежность.

Здесь, несмотря на бюрократию, на *таких* олимов... есть надежда: есть *еврейская* идея, есть прекрасные евреи... есть “Барух Ашем!” – есть Эрец-Исраэль...

И еще о Рахели. Я только теперь, видя “тихий свет ее очей”, поняла, почему Марина при своей неистовости так ценила Сережину кротость.

Тютчев об этом тихом свете сказал точно:

Земное ль в ней очарованье
Иль неземная благодать?..
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвется обожать.

У нас с ней нет личных отношений, и, хотя это грустно, думаю, что не будет: она замкнута в религиозном мире, работает, мать восьмерых детей, вокруг нее плотная стена “несчастненьких” олимов, которых она опекает, и немало есть, наверное, еще причин...

Но у нее есть к нам личное отношение, которое она высказывает (больше шепотом).

После очередной ее лекции я к ней подхожу:

– Рахель, но ведь получается, что мой муж – настоящий еврейский праведник?

– Конечно! Конечно же... А вы еще больше.

С этим я не могу согласиться – я великая грешница: дочкина судьба...

Но вот мой Г.Н.... Так мне важно, что это сказала Рахель.

15.12.96

Мы тебе благодарны – за все: и за твои добрые слова – поддержка, и за присланные материалы Белинкова, и больше всего – твое письмо: и боль, и ирония, и *информация*, которой нам так недостает.

Смотрим два российских канала – нет информации, одна привычная – советско-антисоветская! – показуха. Этот отвратный откормленный Сванидзе... А в нашей русской прессе тем более – ничего толком о России.

Знаешь, у меня давно уже выработался, я бы сказала, птичий язык: щебечешь с людьми на каком-то птичьем языке: “Перекинуться словом не с кем на роскошном моем языке...” Да и не особо надеешься, что придется с кем-то говорить на *человеческом*...

В России, к примеру, редко с кем из русских решишься на еврейскую тему, ну а здесь – обратное.

К моему большому удивлению, русское общество здесь (здесь, как и в Штатах, мы все русские) совершенно не антисоветское, я бы сказала, скорее советское: очень гордятся “великими” евреями вроде Бориса Ефимова и прочей сталинской сволочи – главное, чтоб еврей! Зато очень антирусское, чего я просто вынести не могу, – радуются, что вовремя сбежали.

И вот, Леша, твое письмо – на человеческом...

И удивительное чувство: ты, наверное, единственный, с кем я могу ругать и евреев, и русских, но и болеть душой, но и восхищаться... (не дай Бог с кем-то из олимпов похвалить ватиков – это приехавшие из Союза в 70-80-х, или пуще того – израильтян, а уж русских – совсем вроде неприлично).

Мне так понравился твой *втык* Гене насчет украинской мовы.

Мы, евреи, такие чувствительные, естественно, к нашему национальному, – не всегда понимаем, что у других народов тоже может быть чувствительность.

Конечно, читаем всякие дайджесты из России, получаем парижскую “Русскую мысль” – она более информативна, но все политика да либеральщина...

Меня забирает лютая тоска, когда думаю о России... такая безнадежность...

Раньше нами правили мертвецы, и мы негодовали или смеялись – теперь Россия сама выбрала мертвеца – “Над кем смеетесь?!”

И попробуй здесь, как и у вас, заикнуться против Ельцина – тебя сразу “сразят”: альтернатива!!!

С одной приезжей дамой, ее сынок какой-то прихвостень у Чубайса, так она хуже анпиловских бабусь, еще злобнее, орала на меня с этой самой альтернативой... скандал, да еще в приличном доме! Вот и стараешься помалкивать.

Когда Геня читает в вашей прессе, если попадется, о коммунистах, он говорит: “Вот так в Германии кричали о евреях”.

Да, картина твоя такая страшная, такая трагическая... Мой жизненный пессимист, но исторический оптимист не верит, что Россию можно вот так прикончить: она всегда будет великой. Но твои цифры, твои факты...

Вот мы уже прожили здесь больше двух лет. Попробую подвести итоги.

Первое время я, как сейчас понимаю, была в долгом шоке, да и сейчас, честно, не всегда ощущаю себя в реальности – какая-то призрачность существования, как будто и не я... все это снится... А во сне всегда – в моей Москве, всегда.

И все-таки медленно, но накапливаются какие-то новые переживания, какое-то иное видение. Трудно, ох как трудно – но появляется ощущение

какой-то новой жизни, обновления души... Трудно выразить, но, я надеюсь, ты меня поймешь.

Первое время – больше года – я жила вся в прошлом. Нет, конечно, воспринималось и здешнее, но отстраненно...

Каждый вечер, как прикованная, “Вести” и “Санта-Барбара” (сказка для взрослых). Читала только газеты и детективы (здесь есть русская библиотека).

Сейчас уже по-другому: детективы забыты, “Санта-Барбара” тоже.

Если говорить о нашем с Геней общественном сознании, то оно у нас русско-еврейское, как было раньше (с акцентом на русском), а еврейско-русское, и тому есть причины.

Россия, и это навсегда, есть и будет моей болью. Мы так обрадовались взлету Лебеда, особенно Геня. Не знаю, но все же из чеченской ямы он страну вытащил... То, что кремлевская мафия вроде бы его боялась, тоже в его пользу.

Мне и так безумно стыдно перед вами за всех этих Хазановых, Жванецких, Захаровых и прочую еврейскую нечисть – как они “ликуют” (твое давнее: “пусть они... ликуют”), как они наглы в своей уверенности в безнаказанности... а тут эти Березовские, эти Гусинские, эта закладка синагоги на Поклонной горе... Кто только будет молиться в ней?..

Для Гени символ этой местечковой наглости – Ганапольский. Все это, говорит он, ганапольские.

Знаешь, Леша, я ведь не очень-то жаловала наших московских евреев, а сейчас, глядя на олимовские ряды, то есть “русских”, и того меньше.

Это длинная и трудная история, связанная с моими корнями, с детством.

Мой отец бежал из той гешефтно-местечковой среды, рвался к культуре, к свободе... потому был членом Бунда, потому и погиб в сорок лет. А я с пяти лет – с начала моего сиротства – попала к родственникам отца, в ту самую местечковость, из которой бежал отец и против которой бунтовала я (в детстве – гадкий утенок, которую никто не любил), и на всю жизнь запомнила, как мои тетки водили меня в баню: всегда большая очередь, и тоже всегда – мы идем без очереди, и я иду сквозь строй русских женщин, которые тихо приговаривают: “Понятно, э т и...”, и шла сквозь строй... и помирала от стыда...

Представь себе, одно из самых благих впечатлений здесь – я увидела других евреев – тех, о которых писал К.Бальмонт в своем потрясающем эссе “Вечно бодрствующий” – о вечно бодрствующем еврее, которого он встречал на своем пути и который в трудную для него минуту откликнулся на его боль, и Бальмонт увидел в этом особенное свойство еврея, его особенную отзывчивость и чуткость.

Я увидела таких евреев и среди ватиков – тех, кто приехал сюда в те годы, когда можно было свободно рвануть в Америку, – это был их свободный выбор; и среди израильтян, несмотря на мою почти полную безъязыкость, представь себе... Удивительно светлых людей увидела я здесь, и это, я думаю, главное мое приобретение, потому что я, как и ты, давно уже не делю людей на нации и партии, но вся моя надежда – когда встретишь в человеке *отклик*.

Как-то мне пришло в голову, что на отношении к нам можно вроде бы проверить человека на “вшивость”, и одна женщина мне сказала, что это так и есть, и это записано в Галахе. Это я говорю о нас в Израиле.

Государство тут – как сейчас и везде, наверное, – насквозь бюрократическое, которое кто умеет обманывать, – легко это делает, ну а кто не умеет вроде нас – на вечном подозрении, что обманывает, и хватай его за руку...

Правда, со скрипом, но прорваться к закону здесь можно – он здесь *есть*.

Так мы, после двух лет прорывания, получили, наконец-то, израильское опекуновство на малыша – и только тогда нормальное пособие, а до этого сентября, стыдно сказать, получали на Костеньку около 300 шекелей – сейчас 1081 шекель – разница! Все как-то крутятся, подрабатывают – или лестницу мыть, или сидеть со стариками, но это не для нас.

Равнодушие государства, равнодушие общества – это вещи для нас привычные, да и олимовский истеблишмент встретил нашего деда ревниво-враждебно – что тоже не удивительно. Я другому поражаюсь: есть люди, и немало, кто оценил его по достоинству.

Последние годы в России я совсем потеряла веру, что его воспоминания при нашей жизни могут выйти. Не только вышли – помогли люди: кто дал высшую оценку рукописи в министерстве абсорбции, кто помог обратиться к фондам, которые тоже подкинули денег, помогли наши американские дети – те, кто издали за свои деньги его “Цветаеву”, – а как важно было, что он приехал сюда автором книги... как они вовремя, получается, ее издали!

И вот “Л-1-105” есть (только, к нашей печали, не в России), можно сказать, что книга имеет хотя и скромный, но успех. О Генрихе были две отличные передачи на русском радио (одна – о книге), писали и в газетах. Даже у меня – жены! – брали интервью на радио. Люди читают, до нас доходят всякие хорошие отклики.

Вообще чем дольше живу в Израиле, тем больше ощущаю, что в нашем бегстве – или перемещении в пространстве – есть *Предопределение*.

Первое, и главное, Костенька не только говорит на иврите, и не просто это уже давно, примерно с год, его первый язык – он стал настоящим израильтянином, учится хорошо, очень везет – пока! – с учителями, учится в религиоз-

ной школе (не очень строгой), очень любит уроки Торы, увлеченно нам рассказывает, задает мудрые вопросы.

Малыш говорит: “Израиль – страна детей!” – и он полюбил страну.

У него много друзей, детишки здесь раскованные, довольно самостоятельные, мечтает – солдатом – быть защитником, и это действительно его земля...

Все-таки великое дело, когда есть общая – объединяющая – идея, а здесь она есть.

Костя часто на шабат, а мы всегда на религиозные праздники ходим (это полчаса от нас) к нашим религиозным друзьям – это мой ученик, который приехал сюда уже религиозным.

А праздников – много, и все они обязательно включают детей – и маскарады, и множество других радостей. И каждый праздник – это отдельная сказка. Действительно, страна детей, и полная им свобода, хоть днем (в школу – только сами! Возле каждой школы дети-регулирующие в ярких жилетках перекрывают движение, когда ребенок переходит дорогу), хоть поздно вечером.

Вот парадокс: террор, а в городе никаких страхов, еще ни разу не видела пьяного на улице, двери от квартиры (первый этаж) практически не запираем, бывает, и на ночь забудешь. В Штатах, в Австралии вообще детей на улицах нет, а у нас шастают на полной свободе.

Геня здесь физически себя чувствует лучше. Есть проблемы, но медицина помогает. А морально, душевно он получил здесь реальную поддержку, и это так важно.

Трудно, конечно, без языка. Радио, телек, газеты, соседи есть русские, но в медицине, в офисах – трудно. В магазинах, на рынке справляюсь, а если мы вместе, Геня мой словарь – он знает слова, а разговариваю я. Но подрастает свой переводчик.

Конечно, мы достаточно одиноки, впрочем, это не новость. Новость – есть люди, которые проявляют интерес, и сочувствие, и внимание.

Геня несколько раз выступал с лекциями, и даже я один раз – прочла лекцию о Борисе Слуцком.

Все-таки чувствуется здесь близость Неба – много чудесного и со всем неожиданным происходит с нами здесь. Но об этом – в другой раз.

16.12.96

Дел невпроворот, но не так-то легко оторваться от письма тебе.

“А душу можно ль рассказать?...”.

Я всегда переживала за Израиль, война 67-го года – моя гордость, его поражения – тоже мои...

Конечно, как ты понимаешь, еврейские корни глубже моего бунта – сколько поколений галута, сколько еврейских страданий и скорби...

В одной прекрасной книге о Катастрофе, читанной давно и подпольно, старый дед героя говорит: “Мы никому не отдаем наших книг”... а сам герой: “Мы никому не отдаем наших глаз” – наши скорбные еврейские глаза...

Но полюбила эту землю – и даже неожиданно для себя, наверное, – я уже здесь.

Ты бы видел, как она прекрасна... какой древней сказкой видится она вся. А Иерусалим!...

Я пережила здесь – вместе со всеми – ужас страшных терактов. В нашем доме живет прекрасная израильтянка Сара, и она всегда согревает нас своей заботой – она о нас *знает*.

Ее единственная дочь Рикки, с первой беременностью, сгорела в теракте в автобусе недалеко от нашего дома. И погибают наши мальчики в Ливане, и звучат на всю страну их имена... и хоронят их тоже “всем народом” (толстовское выражение). Вы бы видели, какой поток евреев шел, когда погибла Рикки...

Я душевно ощущаю свою общность с теми, кого здесь именуют “национальным лагерем”, кроме одного: у меня нет ненависти к арабам, они ведь тоже жертвы нашего страшного века...

У нас во дворе растут розы (здесь так много цветов!), садовник-араб с территорий, и я вижу его испуганную фигурку, непроходящее выражение страха, его зажатость... и я рада, что он идет к нам в туалет или позвонить, что вынесу ему попить, что он рассказывает о себе (он-то знает иврит!) – живет с отцом, хотя уже не молод, но на женитьбу нет денег. И он радостно здоровается с нами, и кажется мне уже не таким запуганным...

А в соседнем магазине молодой рабочий-араб часто разговаривает с нашим внуком, и Костя о нем: “Это мой друг!”, и я ему говорю: помни, что у тебя есть друг-араб...

Конечно, с точки зрения *высот цивилизации*, может, для кого-то и кажутся смешными или странными наши религиозные евреи (уверена, что израильские “левые” – здешние либералы – их попросту стыдятся), но я на этих людей, особенно в праздники: как же они молятся, как они поют... – смотрю с тайным восторгом, и не потому, что предполагаю, что все они такие прекрасные, но их верность вере – верность отцам, верность себе... *Верность*, которая в нашем мире кому-то кажется романтическим пережитком...

Блок и Рильке очень хорошо писали о разрушительности чрезмерной иронии, и я – с ними: “Ведь сердце радоваться радо и самой малой новизне!..”

Когда-то, в прежние времена, я гордилась перед американцами, которые приходили к нам, скрытой, потаенной, но живой русской духовностью – сейчас я не знаю, жива ли она еще, – этого никто, наверное, не знает: она ведь сейчас в еще более глубоком подполье...

Но я не представляю себе, любовь к чему и к кому я могла бы внушать нашему мальчику в Москве.

Ты проклянешь в мученьях невозможных
Всю жизнь за то, что некого любить...

В Израиле ему есть кого и что любить.

И когда я смотрю на моего старого, но такого мудрого Еврея – здесь, в Иерусалиме, – я думаю, как говорил в Летяжском карцере Костя Потапов:

“Есть Бог! Есть Бог!”...

“А ДАТЫ... КАК СОЛДАТЫ”

Лия Владимирова

* * *

И даты вспять бежали, как солдаты,
И падали, вмерзая в черный снег..
И встанет век на век, как брат на брата,
И в Боге усомнится человек.

Огонь погас, но дух самосожженья,
Как душный хмель, еще гуляет в нас,
И, как полки в слепом дыму сраженья,
Сошлись века невидимо для глаз.

* * *

Может, лечь на луговину,
Тронуть свежую траву,
Может, жизни сердцевину
Вдруг увидеть наяву,

Чтобы время не бежало
Над постелью луговой,
Чтобы в прахе смерть лежала
Перед вечностью живой.

* * *

Нет, нет, уже не крикну: “Подожди!
Дай на прощанье встречей надышаться,

Последние утраты впереди,
Все впереди, и нечего бояться”.

И Бог не даст, чтоб страх меня настиг,
Чтоб в смертной муке крикнула: “За что же
Я в этой жизни старюсь каждый миг
И только в прошлой становлюсь моложе?”

* * *

Так хватит жалоб, хватит отговорок,
Поблажек и оттяжек. Не грехи!
Вдохни-ка дух ржанных и кислых корок,
Дыши, пиши, вослед себе спеши.

Запомни запах улочек, задворок, –
Там снег идет, а больше никого.
И так он близок, так далек, так дорог,
Тот год световорота моего!

Сумятицу сорочьих поговорок
У переулков утренних займи
И терпкий холод мандаринных корок
В ладони благодарные прими.

* * *

И вот он умолкает, шум дневной.
И звездный свет, целительно и зряче,
Прильнул прохладой, горечью степной
К щеке, шершавой и горячей.

Овечьи шкуры, сумрачный шатер...
Все странствия, все вехи перечисли,
Но как охватишь запертый простор
Свободной, одинокой мысли?

В дали вечерней блеяли стада,
Темнела каменистая дорога.

Один во всей вселенной навсегда,
Совсем один он слушал Бога.

* * *

Какая россыпь цвета! Разноцветье
И разнотравье. Господи, постой!
Зачем мне эти два тысячелетья,
Мой корень жизни, горький мой настой?

Она, моя сегодняшняя смута,
Не в прошлом и не в будущем, а здесь.
Вот эту полноцветную минуту
Ты взвесь и с вечностью уравнишься.

Яков Хромченко

* * *

Камера, прогулки,
Следствие, допросы, –
Все пройдет, как длинный,
Как тяжелый бред.
Выйду – кто-то встретит,
Выйду – кто-то спросит:
“Ты откуда, Яшка?
Яшка, сколько лет!..

Заходи, дружище,
Сядем, как бывало,
Закури “маршанской” –
Сильная махра!..”
Будто все – как было,
Будто все – сначала,
Будто не прощался
Я ни с кем вчера...

Почему ж смеяться
Не хватает силы?

Почему не смотрит
Мне никто в глаза?
Будто все – сначала,
Будто все – как было,
Но чего-то главного
Не вернуть назад.

Отчего такие
Пасмурные лица?
У меня сегодня
Целый день весна.
Мне сегодня хочется
До конца напиться –
До конца напиться,
Допьяна...

Ну-ка, признавайтесь:
Сколько лет не ждали?
Все оттосковалось,
Все давным-давно.
“Яшка, знаешь новость?
Вышла замуж Валя”.
Валька вышла замуж?
Впрочем, все равно...

Это сразу – дико,
Это сразу – ново.
А потом привыкну:
Не она одна.
Где-то есть другая,
Все начнется снова.
Выпьем за другую!
Разом все! До дна!

Выпьем за другую...
Если б хоть похожа –
Выпил бы, стаканом
О стакан звеня.

Но как нож, как пуля,
Как мороз по коже,
Эта ваша новость
Обожгла меня.

Камера, прогулки –
Дальше все в провале:
Никакою ниткой
Не стянуть края.
Встреча и прощанье –
Вот и все о Вале.
До свиданья, Валя –
Чья-то, не моя...

* * *

Заходит солнце за рекой,
И каждый звук и чужд, и лишен,
Такая тишь, такой покой,
Что благовест как будто слышен.

И если встанешь в полный рост
И если глянешь против света,
Через Оку к Генисарету
Протянется высокий мост.
Таруса, август 1972 г.

* * *

Одноколейка. Скальной стеною
И вверх, и вниз – обрывы с двух сторон,
Насквозь промыт, насквозь продут вагон
Летающей вспять сплошной голубизною.

И смотришь, задыхаясь и балдея,
Как там, в долине, пенится земля,
Как розовеют крылья миндаля
На горных перевалах Иудей.

Ровнее путь. И в розовом тумане
Уже густеет жизни кутерьма,
Все выше поднимаются дома,
Что плыли в самолетно-дальнем плане.

Как медленно они проходят мимо!
Конец пути. Уже закрыта даль.
Но в двориках цветет, цветет миндаль,
Как знак, как знамя Иерусалима.
1 января 1998 г.

* * *

Юле

Рассвет отсрочен, ночь не тает,
Безмолвной явь, свободней сны.
Для самой полной тишины
Сверчка, пожалуй, не хватает.

Прижмись крепче: пусть считают
Удары сердца ход весны,
Пусть пальцы переплетены,
Пускай дыханья не хватает.

Как медлит предрассветный час!
Неслышный звук – и тот погас.
Лишь кажется, что плещет море.

Давай до света подождем:
Чуть пахнет завтрашним дождем
И травами. Все звезды в сборе.
26 ноября 1997 г.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Эта слабая плоть,
Это сердце печальное –

Это
Превратится в крупницы земли плодоносной
И в зной,
Пробудившись, возжаждет
Веселой струи водяной,
И потянется ввысь,
И пробьется к весеннему свету.
Напитавшись дождем,
Я воспряну, я вырвусь на волю
Из могилы глубокой,
Сквозь комья земли полевой,
И увижу я небо –
Кустами, цветами, травой,
И зажмурю глаза,
Обожженные зноем и болью.

Из Леи Гольдберг

ЭЛУЛ В ГАЛИЛЕЕ*

1.

На сто молчаний слез мне не достало.
Вершины гор. Безмолвие вокруг...
Среди колючек мы брели устало
Под ветром, устремившимся на юг.

Лишь на распутье – старая маслина,
С корней до серебрящейся вершины
Печально-одинокая, как ты.
Трепещут на ветру ее седины...
Среди вершин спускался путь наш длинный –
До полной темноты.

2.

Средь желтых гор осенней Галилеи,
Сухой элул еще не перейдя,

* Элул – осенний месяц еврейского календаря, соответствует, примерно, сентябрю.

Когда из трещин выползают змеи
И, извиваясь немо, ждут дождя,
Как жажду доброты твоей в печали,
Как дорожу сочувствием твоим!
Смотри: деревья от плодов устали,
И мы, усталые, подобны им.

ВЫХОДНОЙ

Я сегодня беру выходной у тоски,
У усталости, взрослости, у фолиантов,
Что готовы словами ученых педантов
Поучать, что иные слова – пустяки.

Хорошо мне ответа не ждать на вопрос,
Как цветущее дерево это зовется?
Как молчание птиц в тишине отзовется?
И откуда звезду эту ветер унес?

Может, я потерялась в словах, что близки,
И прекрасного больше в прекрасном не вижу
Или, может, мне самое дальнее – ближе?
Я сегодня беру выходной у тоски.

Ицхак Боголюбов

ЖЕЛЕЗНАЯ КОЖА

В старинном немецком городке Вальденвизене один старый немец пришел поздним осенним вечером к покосившемуся от старости домику на окраинной городской улице и тихо постучал в неприметную дверь.

Вскоре она со слабым скрипом отворилась и на пороге появился хозяин – старый сапожник. Его очки в потертой и перевязанной в нескольких местах оправе свисали на длинный острый нос, вялые глаза смотрели из-под густых седых бровей.

– Добрый вечер, герр Шумахер, – приветствовал гость старого сапожника.

– Ах, это вы! – отвечал тот.

– Я, конечно, кто же еще? Здесь, я думаю, больше никого нет...

– Нет, – со слабой улыбкой кивнул сапожник.

– Вот и хорошо, – продолжал гость, – страсть как не люблю, когда кто-нибудь мешает.

– И я тоже, – подхватил сапожник, запуская волосатые руки под свои изрядно потертые подтяжки. – Вы, наверно, хотите ботинки заказать?

– Да. Как вы угадали?

– Раз почтенный человек приходит в поздний час к сапожнику, значит, ему срочно нужны хорошие ботинки.

– Да, вот именно, хорошие.

– Еще бы! Плохие можно в любом магазине купить. А хорошие надо заказать у старого Шумахера: уж он-то знает, что такое хорошая пара... Но что это я с клиентом через порог разговариваю! Проходите в дом, уважаемый... – Он сделал паузу, и гость не преминул ее прервать:

– Гайсенвассер.

– Гайсенвассер, – повторил сапожник. – Входите же, господин Гайсенвассер.

Спустя мгновение гость и хозяин оказались в слабо освещенной, довольно просторной комнате, служившей хозяину его приемной и одновременно

мастерской. Единственный источник света – керосиновая лампа с полуприкрытым фитилем стояла на низеньком сапожном верстаке. Она приветствовала вошедших в комнату своеобразным их изображением на стене в виде огромных пляшущих теней.

– Значит, господин Гайсенвассер хочет, чтобы я для него срочно сшил пару отличной обуви?

– Именно, господин Шумахер.

– Ну, материал, как я понимаю, вы принесли с собой...

– Конечно.

– Вот и отлично. Материал, если я не ошибаюсь, тот самый, натуральный...

– Конечно. Самый натуральный.

– Самый натуральный, – как эхо, повторил сапожник. – Интересно, надолго ли нам еще хватит этого натурального материала?

– Думаю, что уже не очень надолго: столько лет прошло...

– Да... столько лет прошло... А ведь материал был действительно – изумительный: на все шел – и на ботинки, и на самые лучшие дамские туфельки, и на детскую обувь, и на сумочки, на кошельки, на перчатки, на абажуры!.. – У сапожника перехватило дух.

– И на футляры. и даже на ледергаузен!

– Вот-вот!..

– Если бы мы начали производить эту кожу раньше, нам бы хватило ее на всю нашу жизнь. Жаль – поздно сообразили. Это уже когда миллионы трупов были просто сожжены. Но если бы война продолжалась, еще очень много миллионов кож пошло бы на выделку по нашему новому методу...

– Методу... – повторил сапожник, поежился и спрятал глаза за стеклами очков.

Он достал откуда-то тонкую полоску белой бумаги и снял мерку.

После этого посетитель растегнул свою сумку и выложил на верстак сверток, в котором, как и ожидал сапожник, оказался довольно большой кусок черной мягкой и тонкой кожи.

– Похоже – от ребенка, – взглянул мастер поверх очков на заказчика.

– Похоже. Я думаю, этому щенку было лет десять-двенадцать, не больше.

– Да... правильно говорят, что евреи – товар хороший.

– Неплохой.

– Говорят, что и еврейские ученые – товар хороший.

– Да... и из ученых можно сделать неплохой товар...

– М-да, – протянул сапожник, устремив поверх очков острый взгляд на своего клиента.

В это время послышался довольно сильный стук под верстаком, который, по-видимому, из-за этого стука слегка подпрыгнул. Лампа недовольно качнулась, ее пламя испуганно бросилось сразу во все стороны, а гвоздики и инструмент на верстаке ответили коротким и сухим звяканьем.

– Что это? – испугался клиент.

– Ничего, ничего, господин Гайсенвассер.

– Ничего? А все-таки?..

– Наверное... Наверное, мой помощник...

– Какой помощник?

– Есть у меня помощник для срочных заказов, понимаете?

– Извините, господин Шумахер, не понимаю.

– Ну, да это и не важно.

– Не важно... – тихо повторил клиент и вытер обратной стороной ладони проступившие на его лбу капельки пота.

– Приходите завтра – ваши ботинки будут готовы.

– Завтра утром! – твердо и громко сказал заказчик.

– Да, конечно. Именно утром... Они будут готовы до рассвета.

– Странно, герр Шумахер. Неужели можно сделать пару хороших ботинок – а вы мне обещали именно такие – за пару часов?

– Мой помощник... – начал было сапожник, но клиент его тут же перебил:

– Ваш помощник! Я хотел бы увидеть вашего помощника.

– Зачем же его беспокоить?

– Я хочу видеть того, кто будет шить мне ботинки. Имею я на это право?

– Ну, раз уж вы настаиваете... Туфель! – позвал Шумахер. – Туфель! Извини меня, но ты должен показаться нашему уважаемому заказчику. Ты же знаешь: желание заказчика – закон.

Послышалось шуршание и какое-то движение под верстаком. И вдруг на верстак вскочило какое-то странное существо величиной с небольшую собачку. “Чертик!” – мелькнуло в голове Гайсенвассера. Горящие глаза, короткие рожки, длинненький хвостик, копытца на задних ножках, черная шерсть... Из открытого рта торчал красный язык, с которого одна за другой скатывались капли желтой слюны, белые острые зубки сверкали в неярком свете керосиновой лампы. Чертик стоял на своих копытцах и почесывал черный бочок.

– Вот, – наконец проговорил сапожник.

– Я так и знал, – отозвался клиент, – а иначе – как можно за пару часов соорудить пару отличных ботинок...

- Вот, – снова сказал сапожник.
- Ну да ладно, мне все равно. Завтра утром я приду.
- Мы будем ждать вас, господин Гайсенвассер.

На следующее утро господин Гайсенвассер явился за заказанной парой.

Сапожник пригласил клиента в мастерскую, усадил его на мягкий стул и принялся за примерку.

Новые ботинки легко сели на ноги Гайсенвассера. Он встал, переступил с ноги на ногу, незаметно пошевелил пальцами внутри ботинок, и широкая улыбка расплылась на его лице. Ботинки блестели свежей мягкой чернотой. Они были как раз по размеру.

Клиент запустил руку в карман, и на свет появился пухлый кошелек.

Сапожник взял протянутые ему деньги и очень вежливо склонился в знак благодарности перед клиентом.

Но только радостный заказчик сделал шаг в сторону двери, как внезапно остановился. Глаза его испуганно расширились, и неприятная испарина покрыла его лоб и покрасневший затылок.

- Ой, – простонал он.
- Что такое? – подскочил к нему сапожник.
- Твои ботинки!..
- Что – ботинки?
- Жмут! Они сжимают мои ноги! – уже кричал господин Гайсенвассер.
- Что значит – жмут? Вы же только что сами сказали, что эта пара – лучшая из всех, какие у вас бывали...

– “Сказали, сказали”! – передразнил перепуганный заказчик. – Сами посмотрите! – И он указал сапожнику на свои ноги.

Сапожник нагнулся, пригляделся и, к своему удивлению, увидел, что чудесные ботинки стали какими-то жесткими, будто они были сделаны не из добротной человеческой кожи, а из листового железа. Теперь испарина покрыла и его перепуганное лицо.

– Болит! – кричал Гайсенвассер. – Они ужасно давят! Помогите мне скорее от них избавиться.

И заказчик вместе с сапожником принялись расшнуровывать ботинки. Но что это? Шнурки превратились в стальную проволоку, и развязать их оказалось невозможно. А ботинки все туже и туже сжимали ноги несчастного заказчика. Они превращались в железные оковы, все больше врезаясь в ноги господина Гайсенвассера.

- Скорее! Зовите на помощь!
- Кого звать? Здесь же никого поблизости нет, – отвечал насмерть перепуганный сапожник.

В это время что-то встряхнуло сапожный верстак, и оттуда донеслось:

– Даже я такого никогда не видел...

Все кончилось тем, что господин Гайсенвассер потерял от боли сознание и упал на пол. А когда подоспела помощь, за которой сбегал сапожник, люди увидели, что обе ноги валявшегося на полу заказчика были отдавлены, как будто откушены на уровне ботинок...

Господина Гайсенвассера увезли в больницу, подлечили культы, снабдили инвалидной коляской и через какое-то время отправили домой.

На следующий день почтенный немец отправился в церковь, где целый день молился, выпрашивая у Всевышнего прощение за жестокие дела, некогда им сотворенные и известные в подробностях ему одному. После молитвы он подкатил к священнику и передал ему очень щедрое пожертвование, невнятно буркнув: “Помолитесь за евреев. И за меня”.

С тех пор господин Гайсенвассер ежедневно являлся в церковь, где усердно молился и каждый раз передавал священнику щедрое пожертвование.

Но ровно через год после злосчастного случая, ночью, когда Гайсенвассер спал, он вдруг почувствовал, что его укороченные ноги снова сжимают все те же черные ботинки. Он в смертельном страхе вскочил с кровати и тут же упал на пол. Ботинки из человеческой кожи снова сжимали его ноги железной хваткой.

Очнулся господин Гайсенвассер в больнице. Ему оказали посильную помощь и как могли утешили.

И снова несчастный ежедневно молился и не жалел пожертвований.

А еще через год все повторилось снова...

И чем все это кончилось – никому не известно. Но говорят, что это не кончится никогда.

Зоя Туманова

* * *

Под барабан дождя,
Которому нет меры,
Считать его часы
И ждать его отмены,
Чтоб небо разглядеть,
Чтобы поверить снова...

Какой жестокий век!
Мы ждали не такого.

“Спаси и сохрани!” –
Кого просить, гадаем
И на разрыв души
Клянем и страдаем...

Ты на святой земле,
Где взорваны святыни.
Оборваны во мгле
Пути мои в пустыне.
Над пропастью лежит
Истерзанное слово,

А мы в конце пути
Или в начале снова?

* * *

Бормотанье дождя средь ночи,
Монологи его взхлеб,
Словно с кем поделиться хочет,

Да глядит: не туда загреб.
Что вокруг? Железные души
Бессловесных крыш в темноте,
А его отчаянье душит
И выходят слова – не те...
Я ему подсказать не в силах:
Поистрачена слов казна.
Бьет в виски только – было... было...
Бормотаньем дождя казня...

Ташкент, 2002

Валентин Красногоров (Файнберг)

ПРЕПАРАТ-3

Профессор Клуге не всегда был профессором. Когда-то он был школьником-вундеркиндом, а затем – честолюбивым студентом, мечтавшим о самом великом из всех возможных открытий. Клуге долго размышлял, каким оно должно быть. Новая теория относительности? Ракеты со сверхсветовой скоростью? Универсальное лекарство от рака? Самые фантастические цели казались молодому человеку слишком частными и мелкими, а он не хотел разбрасываться на мелочи. Сколько талантливых людей не смогли составить себе имя в науке только потому, что занимались второстепенными проблемками – вроде повышения урожайности моркови или получения новых сортов оптического стекла! Поэтому Клуге не торопился. Шестнадцать лет он проучился в университете на разных факультетах и за эти годы пришел к решительному выводу, что человечество знает поразительно мало, и что знания эти растут удручающе медленно. Еще каких-то двести лет назад наука была маленьким шариком, быстро катившимся вперед от легкого толчка одного человека. Теперь же она превратилась в огромный снежный ком, который едва под силу сдвинуть миллионам исследователей. Самое гениальное открытие, самое революционное изобретение не может заставить катиться этот ком быстрее. Разве повлияла, например, разработка даже такого фундаментального вопроса, как квантовая теория, на усовершенствование винторезных станков, рационализацию книжного дела, борьбу с болезнями тонкорунных овец и еще на сто тысяч проблем, над которыми ломают головы неисчислимые армии ученых?

Но, как ни странно, именно эти печальные размышления привели Клуге к пониманию того, над чем он должен работать. Не позаботившись даже о получении очередного диплома, Клуге оставил факультет (не то физический, не то зоологический, он не помнил точно) и немедленно принялся за работу.

Спустя двадцать лет Клуге был уже профессором и обладателем всех других возможных степеней и званий. Однако вместо того, чтобы вести нормальный для крупного ученого образ жизни – председательствовать в оргкомитетах, заседать в ученых советах и присутствовать в качестве почетного гостя на банкетах, Клуге, к удивлению своих коллег, продолжал работать. Ибо ПРОБЛЕМА оказалась сложнее, чем думалось ему вначале. Для того, чтобы подступиться к ней, пришлось предварительно решить множество частных Проблем, проблемок и проблемочек. Именно разработка этих, чрезвычайно важных, но второстепенных для самого Клуге, направлений и принесла ему известность. Его авторитет в области психологии, техники слабых токов и палеоботаники был непререкаем. Ньюфаундлендская академия наук дважды избрала Клуге в свои члены – один раз по отделению химии, другой раз – математики, в полной уверенности, что речь идет об однофамильцах. Быть может, он пользовался бы даже мировой славой, если бы меньше работал и больше давал интервью. И даже когда Клуге получил в один год сразу две Нобелевских премии – одну по физике, другую по медицине, и мир с удивлением узнал, что все эти Клуге на самом деле не созвездие имен, а одно крупнейшее светило, на планете и тогда не нашлось универсального ума, способного связать воедино и оценить все, что сделано профессором.

Между тем именно тогда Клуге вплотную приблизился к решению ПРОБЛЕМЫ. Она же заключалась в том, чтобы сделать человечество в несколько раз умнее. Ничто другое не могло бы так ускорить прогресс, как решение этой задачи. В несколько раз возросли бы скорость обучения в школах и темпы исследований во всех областях знания. Следовательно, все поставленные человечеством цели достигались бы во много раз быстрее. Вот почему ПРОБЛЕМА имела универсальный характер, затрагивала каждого человека и обещала тому, кто ее разрешит, вечную славу.

Разумеется, Клуге подошел к Проблеме капитально. Несколько лет он затратил только на то, чтобы понять, что же такое, собственно, умный человек. Действительно, от чего зависит ум: от объема хранимой информации, от скорости ее переработки или от умения находить связи между разнородными понятиями? И как измерять этот объем, эту скорость и это умение? Для ответа на эти вопросы ученому и понадобилось фундаментальное изучение психологии, логики, теории информации. Затем Клуге приступил к исследованию анатомии и физиологии, механизма мышления, химиотерапии мозга. И только через двадцать лет неустанного труда профессор смог, наконец, уверенно и сознательно осуществить невероятно сложный синтез вещества, которое должно было решить ПРОБЛЕМУ.

Подопытная крыса, которая первой удостоилась чести проглотить таблетку Клуге, выбралась из лабиринта в восемь раз быстрее, чем раньше. Обезьяна, получившая препарат, научилась считать до тринадцати, произносить скрипучим голосом два десятка слов (“дай”, “банан”, “деньги” и пр.) и стала подолгу перелистывать букварь.

Затем таблетки приняла, не подозревая об этом, супруга профессора. Уже через два дня она потеряла вкус к телевизору, детективным романам и портнихам, увлеклась Гете, купила билеты в филармонию и впервые в жизни заинтересовалась работой мужа.

После столь явного успеха Клуге решился испытать препарат на себе. К своему удивлению, он не ощутил никакой перемены, никакого особого просветления. В ожидания действия таблеток профессор несколько раз посетил заседания ученого совета. Он нашел их более бессмысленными и бесполезными, чем всегда, а коллегам, в свою очередь, нобелевский лауреат показался более замкнутым, заумным и высокомерным, чем обычно. Уединившись в кабинете, Клуге перечитал свои труды и записи за двадцать лет и с горечью убедился, как много им было сделано ошибок, ложных выводов и ненужных исследований. “Подобно крысе в лабиринте, я десятки раз упирался в тупики и сделал сотни лишних зигзагов, – подумал Клуге. – Если бы мне пришлось повторить этот путь теперь, я бы достиг цели во много раз быстрее”.

Случайная мысль о крысе вдруг заставила профессора понять простую истину: препарат подействовал! Клуге поспешно проверил себя с помощью давно разработанных им самим тестов и установил, что его способности возросли, по крайней мере, в шесть раз! Цель всей жизни была достигнута, ПРОБЛЕМА решена. Всемирная и вечная слава, богатство, почести, творческое удовлетворение – все, о чем только может мечтать человек, ждало Клуге, и все это было заключено в небольшой рукописи, которую немедленно опубликовал бы любой самый солидный журнал. Однако Клуге не торопился отправлять ее в редакцию. Он уже разработал план новых, чрезвычайно увлекательных исследований. Они должны были привести к созданию препарата, в десятки раз более эффективного, чем предыдущий.

Ночи напролет проводил Клуге в лаборатории, непрерывно подгоняя своих медлительных и туго соображающих сотрудников. Они с трудом понимали отрывистые и невразумительные фразы шефа, которые ему самому казались ясными и исчерпывающими указаниями. Профессору не мешало бы задуматься, что чем умнее человек, тем выше стена непонимания, окружающая его, и тем острее его одиночество. Но Клуге слишком торопился, чтобы думать о чем-нибудь, кроме работы, – увы, слишком частая ошибка!

Несмотря на бешеный темп исследований, препарат был получен лишь через три года. Проглотив новые таблетки, обезьяна тут же на безупречном немецком языке спела “Канцону” Листа, сама аккомпанируя себе на фортепиано, а жена профессора перестала строить виллу, купила учебник индийской философии и задумалась о смысле жизни.

Сам Клуге, приняв препарат-2, понял, что все сделанное им до сих пор, – пустая игрушка по сравнению с тем, что он может создать теперь. Сама мысль о том, что он когда-то гордился своими первыми таблетками и даже хотел осчастливить ими мир, вгоняла его в краску стыда. Поэтому, не теряя времени, профессор принялся за разработку препарата-3, который действительно должен был стать настоящим и окончательным решением ПРОБЛЕМЫ. Поскольку сотрудники к тому времени отупели настолько, что совершенно перестали понимать шефа, он вынужден был их уволить и всю работу проделать своими руками, на что, впрочем, у него ушло всего восемь недель. Сознывая фантастическую силу нового препарата, Клуге не решился глотать нужную дозу в один прием. Он разделил стопку маленьких зеленоватых таблеток на равные порции и осторожно принимал их в течение семи дней.

Еще не дойдя до последней пилюли, Клуге почувствовал себя другим существом, подобным скорее всеведущему божеству, чем человеку. Разум его не знал теперь границ и пределов. С первого взгляда Клуге мог проникнуть в сущность всех вещей и явлений. Мир стал для него открытой книгой, лишенной тайн и загадок, но удивительно захватывающей. И профессор погрузился в чтение этой великой книги. Поскольку классическая математика с ее громоздким аппаратом оказалась непригодной для описания единой теории материи, Клуге создал собственную математическую систему, способную выразить любые, самые сложные понятия и закономерности. С пером в руках он часами просиживал за письменным столом, объясняя в строгих и изящных формулах систему мироздания, прежде недоступную пониманию человека. Законы, объясняющие сущность тяготения, времени и пространства, схему синтеза препарата-4, проблемы вечной юности и бессмертия, методы установления связи с внеземными цивилизациями и организации межгалактических путешествий – все это последовательно излагал ученый в своей рукописи. Людьюми профессор не интересовался. Их мышление было настолько примитивно, что он почти разучился поддерживать с ними контакт. Он продолжал писать свою книгу, каждая страница которой была драгоценнее, чем все библиотеки мира, не задумываясь над тем, поймет ли ее кто-нибудь, кроме него самого.

В связи с потерей надежды на излечение профессора ученый совет постановил передать кафедру его помощнику, а проблемную лабораторию закрыть из-за неясности ее назначения. Клуге был перевезен в лечебницу, на что, впрочем, он сам не обратил ни малейшего внимания.

Клуге и теперь еще содержится в клинике. Посетителей туда допускают по последним воскресеньям каждого месяца, и, если хотите, вы можете навестить его. Он по-прежнему неустанно работает, и каждый вечер санитар, убирая палату, выбрасывает в мусорный ящик изрядную кипу листов, испещренных непонятными формулами.

ВЫБОР

Возвращаясь домой, Харт пытался понять причину своего дурного настроения. Он вспоминал события прошедшего дня час за часом и не находил ничего особенного, ничего неприятного. Да и событий, собственно, не было. Утром он, как всегда, торопливо поел, потом побежал к станции метро и втиснулся в переполненный вагон. На службу он прибыл, как всегда, ровно в девять. Тут спешка сразу кончилась, и время поползло нехотя, с медлительностью часовой стрелки. Харт писал какие-то бумаги, заполнял однообразные ведомости, терпеливо соглашался с отрывистыми замечаниями шефа и подолгу курил в туалете, слушая старые анекдоты и сплетни о сослуживцах.

И теперь, возвращаясь с работы, Харт, как всегда, ощущал недовольство. Он знал, что его ждут жена, ужин, газета и вечерние новости по телевизору, и эта незыблемость домашнего уклада тоже была ему почему-то неприятна. Однако на этот раз жена встретила Харта новостью, которая предвещала нарушение заведенного распорядка.

– Я должна огорчить тебя. Умер мой дальний родственник. Ты не знаешь его, да и я с ним почти не встречалась. Все же для приличия тебе следует пойти завтра на похороны. Я сама позвоню твоему шефу. Если бы не простуда, я бы пошла с тобой.

Харт нахмурился. Мысль о кладбище внушала ему отвращение. Вместе с тем он невольно почувствовал тайную радость от того, что завтра утром не надо будет торопиться на работу.

“Похороны продлятся часа три, не больше, – размышлял он. – Значит, у меня останется еще полдня. Можно будет куда-нибудь зайти...”

Устыдившись своих мыслей, Харт с мрачным видом уткнулся в газету.

В маленькой церкви, где отпевали покойника, топталось несколько десятков человек, одетых в черное. Харту не был знаком никто, но его почему-то

знали все. Они здоровались с ним – грустно и серьезно, как и полагается в подобных случаях. Отпевание уже закончилось, но вынос тела задерживался, и провожающие уныло шептались в темных холодных углах, пытаясь подавить в себе тягостное чувство ожидания. Только мертвец лежал в своем гробу спокойный, равнодушный, с пугающе-неподвижным, отрешенным от всего земного лицом.

Наконец гроб поставили на катафалк, и погребальная процессия медленно двинулась по грязной скользкой дороге. Харт побрел за черной каретой, досадуя на холод, на слякоть, на покойника, на собственное легкомыслие, с которым он согласился идти на похороны, да еще не надев теплого белья. К этому примешивались обрывки мыслей о величии и неизбежности смерти, о бессмысленности жизни, о ее мелких тяготах, о неоплаченных счетах, о простуде жены, об обещанной прибавке к зарплате... Скоро Харт потерял способность вообще о чем-либо думать и лишь механически переставлял ноги, зябко ежась под резкими порывами ветра.

Ему показалось, что прошел целый день, когда траурный кортеж остановился, наконец, у кладбищенских ворот. После невыносимо долгой паузы толпа вновь зашевелилась: гроб понесли к могиле. Дождь лил Харту за воротник, мокрый снег слепил глаза. Глядя на равнодушное лицо покойника, Харт вдруг с ненавистью подумал, что мертвецу не нужны прощальные речи, что эта церемония нелепа, обряды бесцельны. И ему страстно захотелось тепла, света, смеха, захотелось забыть об ужасе смерти и думать лишь о радости жизни. Он уже повернулся, готовый бежать прочь, но в это мгновение кто-то положил руку на его плечо. Харт вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял человек с нервным бледным лицом, одетый, как и все, в черное. Его пристальный взгляд был направлен куда-то мимо Харта, в пустоту.

– Нам пора начать наш разговор, – произнес он.

– “Нам?” – удивленно переспросил Харт, но незнакомец не обратил на его реплику никакого внимания.

– Что вы скажете на все это? – спросил он.

– Ужасно. Ужасно, – ответил Харт.

– Да, ужасно, – согласился собеседник. – И подумать только, что ежедневно я должен испытывать это.

– Простите, я не понимаю вас.

Незнакомец опять не ответил. Казалось, он поглощен только своими мыслями.

Через некоторое время он повторил:

– Да, каждый день я должен хоронить его. Каждый день.

Харт в изумлении смотрел на странного человека, пытаясь разгадать смысл его слов. Кто он? Агент похоронной конторы? Кладбищенский сторож? Наемный плакальщик?

– Почему вы должны ходить сюда каждый день?

Незнакомец вздохнул.

– Потому что мне не хватает мужества. – И, не дожидаясь новых вопросов, он быстро заговорил. – Представляете ли вы в полной мере, что это такое? Каждое утро я встаю, заранее коченея при мысли о том, что мне предстоит. Я надеваю не просохшую еще одежду и иду в мрачную холодную церковь. Затем снова плетусь по грязи на кладбище, и липкий снег летит мне в лицо. Стоя по колено в ледяной воде, слушаю одни и те же надгробные речи, смотрю, как могильщики деловито заколачивают гроб, и снова мне кажется, что гвозди вонзаются прямо мне в сердце. И опять удары первых комьев земли о крышку гроба гулко отдаются в ушах, и снова, утомленный, промокший, замерзший, голодный, я влачусь домой, думая о том, как он остался лежать там, придавленный землей, в тесной темноте под снежным саваном. И я начинаю понимать, что теперь его нет, действительно нет. и никому не суждено его больше увидеть. Но наступает новый день, и снова я в церкви, и вновь я смотрю на его покрытое синими пятнами лицо, и опять все повторяется сначала.

– Но что заставляет вас... – начал Харт, и незнакомец быстро ответил не дав ему закончить:

– Я же сказал вам, что мне не хватает мужества сделать правильный выбор.

– Какой выбор? – спросил Харт, чувствуя неясное беспокойство.

– Вы всегда не понимаете, – пробормотал человек в черном, и беспокойство Харта усилилось. Что значит это “всегда”? Он хотел спросить об этом, но незнакомец уже продолжал, понизив голос и боязливо оглянувшись.

– Слушайте же. Однажды ко мне пришла она.

– Кто “она”?

Мужчина усмехнулся.

– Она сказала, – голос его стал еще тише, – что наступил мой час. Я стал умолять о пощаде, и не напрасно: теперь я могу жить столько, сколько захочу. Да-да, сколько захочу. Во всяком случае, долго. Оказывается, она щадит многих, но то мнимая жалость. Им обещается вечность, а дается один день, один лишь день, который, правда, они могут прожить столько раз, сколько захотят. Всякому достается свой день, на мою же долю выпал вот этот, – и он устало обвел взглядом могильные кресты.

“Безумец, – зашевелилась мысль в голове Харта. – Со мною говорит безумец!”

– Я вам сочувствую, – осторожно заговорил он. – Ходить на кладбище, да еще в такую погоду, действительно очень тягостно.

Незнакомец поморщился.

– Не в этом дело. В конце концов, моя жизнь не так уж тяжела. Я не испытываю особенных страданий, меня не мучают, не бьют, не заставляют надрываться на непосильной работе. Разумеется, грязь, ноги в ледяной воде, этот гнусный ветер и трупные пятна на лице мертвеца – все это невероятно противно. Но главное в том, что это повторяется. Похороны, конечно, неприятны, но они занимают не весь день. Вечером я возвращаюсь домой, где могу отдохнуть. И меня даже встречает жена. Но и она каждый день говорит одно и то же, вы понимаете?

Харт поневоле стало жутко.

– Неужто вы ничего не можете сделать, чтобы вырваться из этого круга?

– Могу, конечно. Я же сказал. В любое утро мне достаточно не захотеть начинать снова этот день. И все. Надо только немножко мужества. У меня его нет. У него, – умалишенный кивнул в сторону мертвеца, – оно было. – И, отвечая на немой вопрос Харта, добавил: – Ведь он самоубийца.

Харт побледнел.

– Пусть так, – сказал он. – Но ведь не все повторяется. Сегодня может быть одна погода, завтра – другая. Сегодня хоронят старика, завтра – молодую девушку. Наконец, провожающие – они всегда разные, и потому... – Харт посмотрел на собеседника и осекся под его тяжелым взглядом.

– Харт, – медленно отчеканил незнакомец, и тот вздрогнул, услышав свое имя. – Харт, каждый день, вы слышите, каждый день повторяется одно и то же. Одна и та же старая церковь; одна и та же размытая дорога; один и тот же снежный ветер; одна и та же желтая могила; один и тот же бесстрастный покойник; одни и те же прощальные слова.

– Но ведь не станете же вы утверждать... – неуверенно начал Харт, и незнакомец понял его.

– Да, – сказал он. – Мы говорим с вами в тысячный раз, и тысячный раз вы отвечаете мне теми же словами. Как персонажи вечно повторяемого фильма, мы делаем одни и те же движения и произносим одни и те же слова. Таков наш удел.

“Еще немного, и я тоже сойду с ума”, – подумал Харт и заговорил, медленно подбирая слова.

– Ваш рассказ внушает мне участие и сострадание, но в одном, поверьте мне, вы заблуждаетесь. Я впервые на этом кладбище, и вы не могли меня здесь видеть и, тем более, говорить со мной. Вероятно, это горестное событие так взволновало вас, что вы по ошибке приняли меня за другого.

Незнакомец рассмеялся.

– Короче говоря, вы считаете меня сумасшедшим. И знаете, почему? – Он нагнулся к уху Харта и быстро зашептал: – Потому что в глубине души вы поверили мне. Поверили и испугались. Вам будет спокойнее, если я окажусь безумным. Но я вполне здоров, уверяю вас.

Харт хотел отодвинуться, но ноги плохо слушались его, и голос все шептал ему в ухо:

– Почему вы всегда притворяетесь, что пришли сюда в первый раз? Разве вы не заметили, что все здесь вас знают? Разве ваш день не повторяется, как и мой, от начала до конца? Вы в самом деле не верите мне? Тогда посмотрите на эту ветку; через несколько секунд ее обломит ветер... Видели? Я показывал вам это уже много раз... А сейчас могильщик уронит в яму лопату... Готово, он уже лезет за ней. А теперь посмотрите на покойника. Его лицо покрылось хлопьями снега – как странно, что они не тают, не правда ли? Сейчас вон та старушка захочет очистить его лицо. Вот, глядите... Она поворачивает голову, видит покойника, нагибается, протягивает дрожащую руку.. Можете не смотреть, Харт, она все равно не решится до него дотронуться. Теперь вы мне верите? Тогда прощайте. До завтра.

Незнакомец сделал несколько шагов и слился с черной толпой. Когда оцепеневший Харт пришел в себя, вокруг уже никого не было. С трудом вытащив ноги из мокрой глины, он побрел домой, чувствуя себя больным, разбитым, бесконечно усталым.

На следующее утро его, как всегда, разбудила жена. Харт вскочил, торопливо поел, потом побежал к станции метро и втиснулся в переполненный вагон. На службу он прибыл, как всегда, ровно в девять.

“ЭТО СТРАННО...”

Виктор Меламедов (Зильман)

СХОДСТВО

Это странно, но старость
иногда так похожа на юность,
даже скорее на раннюю юность
своими ранимостью и незащищенностью...
Даже своею особой неловкостью движений.
И, может быть, чем-то еще
неопределенным, трудно уловимым...
Эта тонкость запястий,
эти туманность и легкость седин...
эта почти весенняя размытость глаз...
это ожидание скорых перемен...
И отсветы, и скользящие по лицу тени –
уже не сама красота,
а ее летучее отражение,
зыбкое, легкое,
как тень дерева
в ветреный день...
Вот она идет одиноко,
в чем-то длинном и темном.
Тонкая. Болезненно ломкая.
Приближаясь (или удаляясь?).
Маленькая. Чуть ссутулившаяся.
С белой головой.
Застенчивая.
Глубокая юность.

ЕВРЕЙСКИЕ ФИЛОЛОГИНИ

Лие Горчаковой

Еврейские филологини,
всерусской грамоты твердыни,
где пребываете вы ныне
по всяким берегам?
Учителя, редакторессы
TV и радио, и прессы
(вот разве что не стюардессы),
вы всем бывали т а м.

Вы, открыватели талантов,
эксперты рифм, творцы диктантов,
в рядах различных “подписантов”
вы тоже тут как тут.
А нынче жизнь так мягко стелет,
вам повезет, коль в метапелет*
в итоге вас приканителит
(почетен всякий труд).

На маленьком пространстве неком,
стремясь остаться человеком,
вы поспешаете за веком
(куда он приведет?).
Вы не свои в “плевах на дальность”
и ваша “вредная” ментальность
вам сбиться не дает.

ПЕЙЗАЖ С СОСНАМИ

Горы встают на горах,
неба касаясь плечом.
Сосны растут на камнях.
Камни лежат ни на чем.

* Сиделка (иврит).

ОСЕНЬ

Осень. Золото. Медь.
В синь упирается взгляд.
Птицы кричат “Лететь!”
Листья шепчут: “Лететь...”
Люди твердят: “Лететь”.
Только птицы летят.

Юрий Суноницкий

* * *

Больница – дом, где разбиваются сердца,
где стены выкрашены краскою угрюмой,
где до того своеобразен юмор,
что без конца ты только ждешь конца.
Когда бессилье явственной сомнений,
здесь боль порой так трудно угадать,
и ты готов принять, как благодать,
за верное – желанное из мнений.
Здесь невозможно выразить в словах,
как жалость на безжалостность похожа,
здесь тот же риск, как, впрочем, тот же страх,
и стол в мертвецкой, как итог, все тот же.

* * *

Генералы приезжали
в длинных джипах цвета хаки,
и на их челах лежали
мысли, скрытые во мраке.
Генералы собирались
над распластанною картой.
Дважды чуть не передрались,
трижды ссорились в азарте.
И спешили секретарши,
им печатая приказы:
генералов только марши
доводили до экстаза.

Генералы отдавали
предпочтенье грубой силе.
Генералы воевали,
а солдаты грязь месили.
Генералы победили,
а солдаты уцелели.
Генералов наградили,
а служивых пожалели...

* * *

Это было в деревне, в том дивном краю,
где коровы задумчиво сеном шуршат.
Обнял правой рукой я подругу свою,
ну а левой задумчиво череп чесал.
Но сказала подруга, прижавшись ко мне:
– Ах, любезный поручик, вы так хороши,
посмотрите, как чуден амбар при Луне,
да к тому же вокруг и внутри – ни души!
Я поправил фуражку, затылок скребя,
дивно пели о чем-то своем индюки,
и сказал: “Всей душой тебя нежно любя,
я почти что зачах от тягучей тоски”, –
и затылок поскреб. Но горнист протрубил,
и умчал эскадрон лить горячую кровь.
Ах, вернусь ли в тот край, где так нежно любил
где ночами бродил средь печальных коров...

Даниил Мирошенский

ЭТА УЛИЦА ПАХНЕТ...

Эта улица пахнет рыбой,
Овощами и сдобным тестом,
И сулит суета здесь прибыль,
И считается хлебным местом.

Артистизм в крови с рожденья,
Но торговцы не ждут оваций...

Нету большего наслажденья,
Чем с торговцем поторговаться.

Он недаром стоит за стойкой,
Здесь святая его обитель.
Он профессиональный сойхер* –
Ты же просто спортсмен-любитель.

Он клянется, взывая к богу,
Но подсунет товар лежалый,
И ему не покажется много,
И тебе не покажется мало...

Эти рыночные отношенья,
Эти деньги – товар и обратно...
Как легко поддаешься внушенью,
Если это внушенье приятно.

И любишься им невольно...
Так бы жизнь прожить, бога ради, –
Покупатель уйдет довольный
И торговец не будет в накладе.

МАЛЕНЬКИЙ БРАТ

Точнее не скажешь – годы летят.
Не крутануть барабан этот вспять.
И вот тебе, Алик, уже пятьдесят,
А мне, стало быть, в аккурат сорок пять.

Но в нашей семье так говорят,
И так я впитал детской душой,
Что младший брат – он маленький брат,
А старший брат – он брат большой.

Какая уверенность в детстве была:
Брат самый сильный, с братом не трус...

Продавец, торгош (иврит).

Много иллюзий жизнь отняла,
Но с этой расстаться не соглашусь.

Брата не угадаешь в лото,
С братом по жизни – не наугад.
Я и живу с оглядкой на то,
Что брат подумает, что скажет брат.

Копируя слепо, шагая след в след,
Так бы и шел я с легкой душой...
Жалко, что мало отпущено лет
Маленьким быть, брат мой большой.

Но в нашей семье так говорят,
И так я впитал детской душой,
Что младший брат – он маленький брат,
А старший брат – он брат большой.

МОЯ РЕАКЦИЯ НА СТИХИ ВИТИ ГОЛКОВА В ЖУРНАЛЕ “ГАЛИЛЕЯ”, 4-Й НОМЕР

Зачем ты, Витя, хочешь выйти,
Проехав зайцем без билета,
Как человек (но не политик)
С душой уставшего поэта.

Душа поэта вне религий,
Облачена духовным званьем.
Чужое горе, как вериги,
Принять для самоистязанья.

Нам выпали с тобой страданья
За ту страну, теперь за эту...
Что – “Родина”, свежо преданье –
Мы все разбросаны по свету.

От возраста или от скуки
Поверю в Мекку или в Будду,

Но – “Родина” с заглавной буквы
Писать, наверное, не буду.

Мы – человеки, и нам дорог
И молдаванин, и еврей,
“Молдовеняска” и “Семь сорок”
Смешались и в душе моей.

Ответ арабского вопроса
Ищу и я, как птица просо,
Но вот вопрос – вопрос ли это
Или последствие ответа?

Нина Ечмаева

* * *

Кричат: доживем до беды –
всчасно скудеют запасы
угля, животворной воды
и почвы, и нефти и газа.

А хватит ли счастья для нас?
Оно на исходе, похоже:
сжимается счастья запас
коварной шагреневои кожей.

Ученые наперебой
твердят, что спасенье в науке.
Поверим, ведь им не впервой
придумывать разные штуки.

И паника тут ни к чему:
они постепенно, не сразу
отыщут замену всему –
и почве, и нефти, и газу.

В пробирках и колбах взрастят –
ведь все в их таинственной власти –

нейтральный на вкус суррогат,
замену иссякшему счастью.

Спасибо судьбе: удалось
избегнуть мне этой напасти –
в свой срок испытать довелось
еще натуральное счастье.

* * *

Как-то раз у клетки с обезьяной
Я стояла долго – битый час –
и нашла злорадно все изъяны,
все ее отличия от нас.

Жесткой шерсти грубы клоки,
Желтые свирепые клыки,
Низкий, резко усеченный лоб
И кривые пальцы плоских стоп,
Пристальные недоуменный взгляд
И бесстыдно оголенный зад.

Обезьяна на меня взидала
И презренья не пыталась скрыть...
Что бы обо мне она сказала,
Если бы умела говорить?

* * *

Стучала шишкой по стеклу
Разлапистая ель,
И зайчик солнечный скакал
Со стенки на постель.

И ветер парусом вдувал
В окно крахмальный тюль,
И шмель гудел, и зной дрожал,
И плавился июль.

Скворец свистел на проводах,
Журчал счастливый смех,

И рядом был со мной тогда
Тот, кто дороже всех.

Он мне ромашки приносил –
веселые цветы,
И дни, как тихий ручеек,
Текли без суеты.

Все так, как раньше, как тогда,
И жаловаться грех,
Вот только рядом нет того,
Кто был дороже всех.

Ничем заполнить не могу
Унылой пустоты..
Не он мне – я ему ношу
Печальные цветы.

Полина Данилова

АННЕ ФИШЕЛЕВОЙ

Мы с тобою в пространстве, гонимые звездною пылью.
Ветром солнечным выбелен нами неведомый путь.
Наши дроги продрогли и спутаны слабые крылья,
И пороги разрушены. Как разобраться – в чем суть?
Корневищами спутаны – где тут концы и начала?
Едкий воздух дорог забивает и давит мне грудь.
Даже камень трещит под напором травиночки шалой,
Не легко милой слабости каменный мир обмануть...
Вверх по тонкому мигу-лучу! Солнцебой... Солнцедействие...
Из грядущих плодов показался щедушный росток...
Нас скрепили лучи на планете Людского Содействия –
На земле иудеев – в плавильне вселенских тревог.
Мы в едином пространстве несем ток любви и страдания.
Током поиска истины движется звездная быль...
Некто крутит кино наших судеб в судьбе мироздания.
Неслучайностью встреч озаряется вечности пыль.

Я И МЫ

Я – уголь для топки печи Вселенной.
Я – материал, составляющий недра.
Я – небесам дающая радость.
Я – наслаждение для льющейся песни.
Земля, по которой я ступаю,
Меня бережет – и я вырастаю.

Неважно, что время идет и губит
Это пространство и эту материю.
Счастье – когда тебя просто любят...
Пускай на время. Пускай как потерю.

Елена Калинец

* * *

Заблудившееся детство то подманит, то обманет,
То без спроса поиграет в “да” и “нет” и в “нет” и “да”
А потом бесследно канет,
На прощанье след оставит
Сумасшедшая, хмельная одинокая звезда.

Заблудившееся детство,
Что ты выбрало за место?
Тут тебе не выжить, зайчик.
Тут пустой холодный дом.
Взгляд на взгляд – кардиограмма.
Мальчик, девочка упряма
И хоть тонет в речке мячик,
Не заплачет ни о чем.

Заблудившееся детство,
Израсходованы средства.
Ничего, зато картинка
Нарисована на “пять”.
Поскорее б снова утро!
Покидаю дом Абсурда.

Мальчик, девочка не кукла,
Кукле нечего терять.

* * *

А весна пропишет по глотку сирени.
Ветер в серых крыльях спутает слова.
Жду хотя бы взгляда, жду хотя бы тени,
А весна не дышит, словно не жива.

Жду, ломая перья, скусывая ногти,
Загибая пальцем белые листы,
И плывет навстречу небывалый остров,
И крошатся спички - не до темноты.

И плывут куда-то расписные кони,
Навевая нечто, схожее со сном,
И горит окурок в маленькой ладони –
Жду. Все остальное – не сейчас, потом.

* * *

Милый мой, ну почему так больно?
Райский сад придуман не для нас.
Мы – в аду, где по команде “вольно”
На любовь отведен ровно час.

Солнышко, ну почему так сложно?
Живы оба – так неужто зря?
Невозможно только то, что ложно...
Что ж это такое – ты и я?
Снова не докурит сигарету,
Выпрямится, ломкий, как свеча.
Шоу откровенное “Про это”
Мы сыграли явно сгоряча.

Час прошел, а мы бесстыдно лгали.
Расстаемся. Боль, как мир, стара.
Только не оставь меня в печали
И не дай очнуться во вчера.

Лиля Валтонен

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Памяти мужа

Ты ушел в свой последний рейс,
Самый длинный, до самого неба,
Взял в дорогу свой старенький кейс,
Две газеты и черного хлеба.

Мимо плыли леса и поля,
Август мари́л прощальным дыханьем,
Ты сказал нам тихонько: “Пока”...
Не сказал даже нам “до свиданья”.

Ты ушел, как на пару минут,
От намеченных дел и от жизни,
А мальчишки тебя еще ждут,
Не поверив ни людям, ни тризне.

Вдруг услышат, как звякнут ключи
И появишься ты на пороге.
Почему ты так долго молчишь,
Ну приди хоть во сне, ради бога!

Лиля Шмидт

1 ИЮНЯ 2001 ГОДА

Именно в этот день совершен был в Тель-Авиве, у дискотеки, теракт, в котором погибли больше двадцати подростков и молодых людей... а ранено было намного больше.

Эта страна бывает желтой,
Как песок на пляже...
Или голубой, словно небо...
А нынче она окрашена алым,

Горько-соленым на вкус...
И черным, пахнувшим дымом.
Это цвет крови.
Это цвет сожженных тел.
Красный и черный, красный и черный...
Разве здесь нужны еще какие-то слова?!
Ясно одно: и через сто тысяч лет
Мы не забудем и не простим,
Потому что *такое* забыть нельзя.
А земля, пропитанная слезами и кровью,
Прощать не умеет.

Есть итальянская поговорка:
“Мечь – это блюдо, которое подают холодным”.
Так вот, на этот раз будет иначе:
Мы поставим его горячим на стол,
С приправой из пулеметного огня.
Да, так случится, и пускай подавятся те,
Кто напоил наши души болью и ненавистью!
Ведь земля, пропитанная слезами и кровью,
Прощать не умеет.

Иосиф Паперников

МОЙ ЯЗЫК

На идиш говорила моя мать,
И потому могу без напряженья
Родной язык любить и понимать
И говорить на идиш – с наслаждением.
Живу, дышу я этим языком –
Как воздухом, который опьяняет
И пахнет павшим осенью листком.
Язык свой, как сорочку, не сменяю.
В моей крови, я знаю, это есть,
В крови, в слезах – то, что дано нам свыше.
И я пою, так долго буду петь,
Пока меня на идиш будут слышать.

Перевел с идиш Владимир Иткинсон

РОДИНА

Мой край любимый, колыбель моя,
Желаю всем здоровья и покоя.
Я покидаю, родина, тебя
И не прошу за это ничего я.
И уйду, свой оставляя дом,
Не так, как шелудивый пес, готовый
Лизаться, прыгать и крутить хвостом,
Бежать назад по первому же зову.
Я уйду, душа моя болит,
Пудовой гирей каждый шаг дается
Я с кровью отрываюсь от земли –
Так трудно мне прощанье достается.
И виновато взгляд свой отвожу,
Частицу сердца здесь я оставляю.
Быть может, в трудный час я уйду,
Но всем я счастья и добра желаю.

Перевел с идиш Владимир Иткинсон

Яков Шабтай

ПРОТОКОЛ

Было около восьми, в магазине оставалось еще двое покупателей. Акива чувствовал усталость во всем теле и хотел поскорей закончить и уйти. Он принес сыр, чтобы отвесить двести граммов для госпожи Каминки, обсуждавшей что-то с господином Габриэлем Селпом. Они говорили о сыне семейства Бройер, молодом человеке, убитом в Иорданской долине. Госпожа Каминка все вспоминала, какой прекрасный парень был Меир Бройер – и способный, и красавец, а война эта – ужасна, и хуже всего то, что конца ей не видно. Габриэль Селп во всем с ней соглашался, однако заметил, что у нас нет другого выхода, как следовать правилу: “Опреди пришедшего убить тебя”. Он проговорил эти слова, поглядывая через толстые стекла очков на взвешивающего сыр Акиву, будто ожидая от него поддержки. Акива кивнул головой, сказал, что “смерть Меира, в самом деле, что-то жуткое” и выложил на прилавок сыр, обернутый в пергаментную бумагу. Вес сыра составлял двести двадцать граммов, и Акива колебался, занести ли лишние двадцать грамм на счет госпожи Каминки или нет. Он решил не делать этого и выставил рядом с сыром баночку майонеза, пачку масла, йогурт, баночку варенья, каравай хлеба “Кимель”, а после пошел набрать для нее черных маслин. Он взял полиэтиленовый пакетик и подумал, что зря, наверно, уступил ей двадцать лишних граммов. Габриэль Селп припомнил Ханана Авни и Баруха Фридмана, убитых в Войне за Независимость, но госпожа Каминка продолжала говорить о Меире Бройере и о том, какая эта трагедия для обоих его родителей. Акива склонился над бочкой с маслинами, от которой шел приятный терпкий запах, слушал, что говорилось, и в какой-то момент перед его внутренним взором встало траурное объявление с именем Меира Бройера в центре, опубликованное жильцами дома. На секунду он даже почувствовал облегчение и даже какое-то удовлетворение оттого, что не уклонился пойти на похороны. Но кроме этого мимолетного ощущения, в душе ничего не дрогнуло, ни чувства сожаления, ни боли. Голову сверлило что-то совсем

иное, но что именно, он никак не мог уловить. Он положил маслины на весы, а госпожа Каминка, также обращаясь к нему, сказала, что все эти четыре дня она не в состоянии отделаться от мыслей о Меире Бройере и от того страшного факта, что он убит по ошибке, и что никакой необходимости в его гибели не было. Акива следил за стрелкой весов и злился на себя за то, что не внес на ее счет двадцать граммов – не обязан же он, в самом деле, делать ей подарки. Габриэль Селп в ответ на ее слова отметил, что всякий, кто убит на войне, погибает по необходимости и что на войне невозможно избежать промахов и ошибок. Кроме того, как известно, в этой стране погибают больше в дорожно-транспортных происшествиях, чем из-за всех военных операций. “Лес рубят – щепки летят”, – заключил он и с самодовольным видом посмотрел на Акиву и на госпожу Каминку, которая, проверяла, достаточно ли мягкий хлеб и тыкала и мяла его пальцами. Она заявила, что и сама все знает, только от этого не легче, и, повернувшись к Акиве, сказала, что хлеб не возьмет, потому что он несвежий и черствый. Тон, в котором это прозвучало, и то, как она отодвинула от себя буханку, задела Акиву, но он сдержался и сказал, что у него есть только такой хлеб, а другого нет. Однако госпожа Каминка продолжала твердить свое и спросила, почему же в лавочке на Сиркин есть и гораздо лучше. Ему хотелось сказать, чтобы она шла к черту и покупала там – на Сиркин, а его пусть оставит в покое, но он не сказал ничего, уложил ее продукты в корзину, подсчитал стоимость и записал в тетрадь. Когда она ушла, Габриэль произнес: “Земля пожирает своих людей”, и Акива кивнул, хотя и не совсем понял, что тот имел в виду. Он взял из рук Габриэля записку и подал ему все, что значилось по списку, кроме лакрады, которая кончилась. Меж тем он постоянно возвращался к попытке ухватить и понять ускользавшую от его сознания мысль, которая так донимала и мучила его, но все было тщетно. Габриэль Селп продолжал говорить о дорожно-транспортных происшествиях и рассказал об аварии, случившейся с его племянником, а Акива слушал, согласно кивал головой и ждал, пока тот заберет свои продукты и сдачу и уйдет. После его ухода магазин опустел. Какое-то время Акива стоял неподвижно, поднеся руку ко лбу, потом взял сосиски, чтобы повесить их на крюк. Нет, как он ни старался, ничего не выходило, он просто не в силах был вспомнить, но зато к нему вернулось ощущение удовлетворения оттого, что он был на похоронах Меира. Вдруг ему пришло в голову, что он ошибся в расчете с Габриэлем Селпом. Он повесил сосиски, после чего проверил и убедился, что и в самом деле ошибся. Он открыл ящик кассы, достал лиру семьдесят пять, поспешил вслед Габриэлю и, принеся извинения, вернул ему сдачу. Возвратившись в магазин, он стоял, прислонившись к прилавку, ожидая, пока успокоится дыхание.

Поглядел вокруг и увидел облезлую облицовку, трещины, заскорузлую грязь и расщелину, образовавшуюся в стене и тянувшуюся от самого потолка до небольшого окна, и у него мелькнула привычная мысль, что хорошо бы взять какой-нибудь цемент или гипс и заделать ее. Он терпеть не мог этот магазин, весь день полутемный и освещавшийся под вечер лишь двумя пыльными лампочками, бросавшими желтый свет на всегда находящиеся в беспорядке бутылки, коробки, упаковки, ящики, полки и мешки, среди которых он чувствовал себя как в ловушке. В былые годы он помышлял продать магазин и вложить деньги во что-нибудь другое, более привлекательное, к примеру, магазин одежды или обуви. Потом он решил поменять хотя бы облицовку, прилавок и полки, а заодно побелить потолок. Но до сего времени так ничего и не сделал и знал, что делать не будет, и магазин останется таким как есть. Он говорил себе, что дело это требует слишком много усилий и слишком больших расходов, что совершенно ни к чему, потому что жизнь пройдет так или иначе, а в конце концов все равно помирать. Он выпрямился, пошел на балкон и стал заносить ящики с зеленью и мешки с картошкой. После инфаркта врачи запретили ему особенно напрягаться, но он игнорировал их советы. Иногда только, когда наступало стеснение в груди или затруднение дыхания, он ненадолго приостанавливался. В такие моменты, так же как во время инфаркта, он чувствовал, что смерть притаилась, что она уже зацепилась за него и может пожаловать в любой момент. Должно быть, такое ощущение в какой-то степени свойственно любому человеку, решил он, опираясь на дверную раму, чтобы немного распрямить спину. Когда все прошло, он сказал себе, что вот и Меир Бройер наверняка чувствовал, что смерть рядом, и все же за минуту до смерти не знал, что через минуту он умрет. Он взглянул на погруженную во тьму улицу, увидел перед собой лицо Меира Бройера и попытался представить, как случилось, что его убили по ошибке. Он вообразил, как тот спускается по склону холма, покрытого кочками и выгоревшей травой, а потом, как он лежит распростертый на земле без признаков жизни с почерневшим лицом. “Такова жизнь”, – проговорил он, обращаясь к самому себе, и почувствовал страшную усталость в ногах, в спине и во всем теле. Он оторвался от притолоки и стал опять заносить ящики, а в голове всплыла фраза Габриэля Селпа “Земля пожирает своих людей”, которая долго продолжала вертеться в голове, пока не утратила всякий смысл и не распалась на отдельные звуки. Занеся все, что нужно, он опустил жалюзи, забрал из кассового ящичка деньги, учетную тетрадь и квитанции и направился к выходу. Он потушил свет, взялся за ручку двери, но задержался, постоял минуту в темноте и вновь попытался восстановить в памяти то, что ускользало и что он должен был вспомнить, и это бессилие давило, как собравшаяся над головой туча.

Его жена Ципора, закончившая работу в лавочке на час раньше, готовила на кухне ужин для них обоих и их младшего сына, приехавшего на пару дней из киббуца. Старший учился в Технионе и почти не показывался дома. Акива положил деньги, квитанции и тетрадь на комод в прихожей и пошел принять душ. Из зеркала на него глядело серое, изможденное и небритое лицо. Глаза воспалены. Он потрогал щеки и подбородок и решил отложить бритье до завтрашнего утра. “Хм, ну и зараза – эта госпожа Каминка”, – решил он, пока переодевался, после чего отправился на кухню и уселся за стол. Присутствие сына тяготило его. Он чувствовал себя обязанным разговаривать с ним, но ощущал такую крайнюю усталость, что не мог найти ни вопроса, ни темы, с которой можно было бы начать беседу. Он спросил сына, не останется ли тот еще на день и не нужны ли ему деньги. Сын ответил: нет, и Акива молча продолжал есть, прокручивая в голове список продуктов, которые он должен заказать, и одновременно пытаясь вспомнить то, что его донимало. Он знал, что это нечто безотлагательное и касается его лично. Он бросил взгляд на Ципору и спросил ее, надо ли заказать перловку. Она ответила, что нет, но он решил все же проверить и сразу же после ужина пойти и удостовериться, и тут же вообразил перед собой мешок перловки, стоящий в магазине. Ципора принесла чай и, обратившись к сыну, спросила, навещил ли он родителей Меира Бройера, а сын ответил, что намерен зайти к ним завтра во второй половине дня перед отъездом в киббуц. “Сделай это, сделай”, – приговаривала Ципора, опуская ломтик лимона в чай Акиве. Последние слова он воспринял как адресованные и ему, что окончательно испортило ему настроение, поскольку он уже три дня собирался посетить семью Бройер и все откладывал из-за размолвки, случившейся месяц назад между ним и Эфраимом Бройером, отцом Меира, по поводу уборки вестибюля и лестниц. Дело было пустяковое и дурацкое, но вызвало у Акивы такую злость, что в глубине души ему хотелось просто как следует наподдать Эфраиму, однако он овладел собой и не сказал тому ни слова. Акива пил чай и успокаивал свою совесть тем, что ходил на похороны и даже внес деньги на публикацию траурного объявления, в самом центре которого стояло имя Меира Бройера, который дней за десять до несчастного случая зашел к нему за сигаретами. Он был в отпуске и пришел со своей девушкой, от смущения оставшейся дожидаться его у входа в магазин. Он спросил сигареты “Тайм” и, когда вышел, сказал ей: “Идем, Рухама. Пошли”. И они ушли. К Меиру Бройеру Акива не испытывал никаких чувств – ни симпатии, ни сочувствия, ни сожаления, правда, и по отношению к своему младшему сыну, поднявшемуся из-за стола и сказавшему “пока”, он тоже ничего такого не чувствовал. И только старший приводил его в сильное смущение, в его присутствии Акиве бывало не по себе, а демонстративное

отдаление сына от семьи оскорбляло его. Он не понимал, почему сын ведет себя столь отчужденно и даже презрительно. Ведь именно на него, а не на младшего, Акива возлагал большие надежды, никогда и ни в чем ему не отказывал: ни в еде, ни в вещах, ни в деньгах, а когда сын был маленьким, ходил с ним на прогулки, по субботам иногда водил на море, хотя сам он не просто терпеть не мог моря, а прямо ненавидел его.

Он выпил чай, взглянул на стоящий перед ним стул, на котором только что сидел их младший сын, и произнес: “Земля пожирает своих людей”. Правда, ничего конкретного в эти слова он не вкладывал и вообще не придавал им значения, потому что голова его была занята совсем другим.

Он отодвинул от себя стакан, поковырял в зубах зубочисткой, встал и вернулся в магазин, чтобы проверить, как обстоит дело с перловкой. Тут он заметил, что скоро кончится мука, и ощутил недовольство Ципорой, которая не сказала ему об этом. Он стоял и осматривал магазин, с целью выяснить, нет ли еще чего-нибудь, что надо заказать, и видел полки с облупившейся краской, старые жалюзи и облицовку, и нагромождение бутылок, и пустые мешки, грязные стены, паутину, пыльные окна, трещину, медный крюк со свисающей с него гроздь бананов. “Все рушится”, – сказал он самому себе с каким-то злорадством, потом вернулся в дом и сел за стол, чтобы покончить с кассовыми счетами и составить список заказов на завтра. Он придвинул к себе тетрадь, квитанции, взял в руки ассигнации и внезапно вспомнил, что через пять дней должен быть день рождения Ципоры. Это и было то самое, что так тяготило его и никак не удавалось вспомнить, и теперь, вспомнив, он почувствовал облегчение и даже радость. Он посмотрел на Ципору, направляющуюся из кухни в комнату, сосчитал деньги, записал сумму, пересчитал еще раз, затем стал переписывать данные квитанций в тетрадь, решая при этом, что бы ей купить. Сначала он подумал о платье или костюме, или о меховой шубке. Однажды, когда они только начали встречаться, она пришла в черной шубке, которая была ей удивительно к лицу, но подойдет ли ей такая сейчас, он сомневался. Если бы он был уверен, что она обрадуется и станет ее носить, то купил бы, несмотря на цену. Он прекратил писать и отдался этим размышлениям, мрачней с каждой минутой и ощущая все большую подавленность. Чем больше он думал, тем более убеждался, что понятия не имеет, что ей купить, так как за исключением первых двух или трех лет женитьбы, он вообще не делал ей никаких подарков и не знал ни ее вкусов, ни того, нуждается ли она в чем-либо, ни чем ее можно порадовать. Будь его воля, он пропустил бы и эту дату, но на сей раз ей исполнялось пятьдесят, и он считал своим долгом купить для нее что-нибудь. От отверг мысль о шубе и теперь подумывал о какой-нибудь красивой сумочке или

ожерелье, но чтоб оно было не такое, как у Рухамы Меира Бройера, а другое. И вправду, было в этой Рухаме что-то милое, но бусы на ней – молодежные, а ему хотелось бы какие-нибудь более дорогие, например, жемчуг. Идея с жемчугом показалась ему подходящей, и он попытался прикинуть, сколько могло бы стоить жемчужное ожерелье. Пока он перебирал в голове разные варианты, неожиданно ему вспомнилась шаль, купленная им однажды для Сары Краузе. Как всегда, память приподнесла ему неожиданный сюрприз: ведь слишком много времени прошло с той поры, да и Сара, в общем-то, была им позабыта и вычеркнута из жизни. Он мысленно ухмыльнулся и самому сюрпризу, и тому ощущению издевки, которое всегда возникало у него при этом воспоминании, ибо для того, чтобы обнаружить связь между собой и той женщиной, которая когда-то звалась Сара Краузе, и восстановить связь между собой и тем мужчиной, который покупал для нее шаль, – с его стороны требовалось немалое усилие. Он помнил, что это был шелковый головной платок зеленого цвета, купленный по случаю дня ее рождения, на праздник Шавуот, и помнил также, что так и не отдал ей своего подарка, потому что боялся выказать свою любовь и опасался связать себя какими-либо обязательствами. Кроме того, он ждал, пока Сара Краузе первая сделает что-нибудь в этом роде. А если бы он отдал шаль и продолжал ухаживать за ней и был бы с ней, – размышлял он, – все ведь могло бы пойти по-другому. Это сознание удручало его, и он поспешил от него отделаться. Он усмехнулся и сказал себе, что по-настоящему он никогда и не собирался жениться на Саре Краузе, а хотел только переспать с ней. Действительно, однажды в Иерусалиме она с ним была. Ему захотелось припомнить из этого что-нибудь еще, но Ципора из другой комнаты позвала его помочь ей передвинуть стол. Ципора была уже в просторной ночной рубашке, и он старался отвести взгляд, чтобы не видеть ее обнаженные руки, шею и толстые ноги. Они подвинули стол, и она, укладываясь в постель, напомнила ему, что нужно заказать халву и селедку. Он кивнул ей и вышел, затем уселся за стол, взял ручку, готовясь заняться счетами, но помедлил, чтобы еще минутку побыть в воспоминаниях с Сарой Краузе. Как он ни старался, ему не удавалось ясно представить ее лицо, перед глазами вставало лишь жалкое подобие образа, хотя он помнил, что она была красивой девушкой с большими зелеными глазами и черными волосами. Это обстоятельство он отметил особо, гордясь тем, что спал с такой красавицей. Он стал считать, сколько минуло времени, и оказалось, что с того момента, как это случилось, как раз в ту самую неделю, когда Гитлер напал на Польшу, прошло тридцать лет. Он смотрел на столбцы цифр перед глазами и спрашивал себя, почему он, пусть и не собирался жениться, не вернулся и не переспал с ней еще. Сам по себе вопрос был лишен всякого смысла и омрачал ему

настроение, потому что, как всегда в таких случаях, он ощущал бессилие, понимая, что что-то непоправимо упущено. Он попытался отвлечься от навязчивых воспоминаний, но вместо этого закрыл глаза и сосредоточился, чтобы восстановить события во всех подробностях: как они встретились на улице и она пригласила его к себе, как он прошел с ней в комнату и они пили чай из баночек из-под варенья, и как она сидела возле него, держа его руку в своей и перебирая его пальцы. Через щелочки жалюзи просвечивали солнечные лучи, раскрашивая ее лицо, грудь и плечи полосками света и тени. Она положила его руки на свои бедра, распласталась на постели и потянула его за собой, и он с закрытыми глазами приник к ней и слился с нею. Эти давнишние и туманные видения не вызвали в нем ничего, разве что слабое приятное ощущение. Он уцепился за него, но чем настойчивее старался удержать, тем активнее оно распадалось, и даже то малое удовольствие, которое он испытал, рассеялось окончательно, и он уже не чувствовал ничего, кроме раздражения и разочарования. Все было досадно и мертво. Он поднес руку к лицу и, шевеля губами, стал пополнять список новыми цифрами. По ходу дела вспомнилась ему госпожа Фройнд. Во второй половине дня она покупала продукты в кредит, и Ципора, кажется, позабыла внести в тетрадь счет за ее покупки. Он перестал писать, встал и пошел к ней, спросить, но она уже спала, и желтый свет ночника падал на ее тяжелое лицо. Он постоял некоторое время, глядя на нее, и подумал, что если бы он вернулся к Саре Краузе и был с нею, то наверняка они бы поженились, только он не вернулся. Он переехал в Тель-Авив и все оттягивал время, чтобы наладить отношения, пока однажды, года через четыре, его известили, что Сара Краузе три месяца назад умерла от лейкемии. После ее смерти желание быть с нею жгло его пуще прежнего, и в глубине души он даже простил ей, что за все эти четыре года она не сделала ни единой попытки встретиться с ним. Но спустя недолгий период желание это стало ослабевать и угасло. Он потушил ночник, прошел на кухню, налил полстакана грейпфрутового сока, выпил его и сказал самому себе, что в принципе ему повезло, что он не женился на Саре Краузе, что и Ципора была когда-то привлекательна и, главное, полна жизни. Он подумал, что окажись старший сын рядом, может, он посоветовался бы с ним насчет подарка, да ведь его почти не бывает дома. Он вымыл стакан, поставил его на место, потом уселся за стол, придвинул к себе листок бумаги и принялся записывать: “мешок муки, халва, соленая рыба, лакрада”, и пока писал, ему пришло в голову, что он мог посоветоваться и с младшим сыном, правда, теперь они смогут увидеться, вероятно, только после ее дня рождения, разве что он задержится в доме у родителей Меира Бройера. Младший сын, со своей стороны, не задавал ему никаких вопросов по поводу дня рождения,

поскольку понятия не имел об этой дате. На глаза попало слово “лакрада”, он долго смотрел на него, и ему вдруг показалось, что оно плохо написано. Он перечеркнул его и принялся выводить заново, а пока писал, думал, что хотя он и вступил в конфликт с Эфраимом Бройером, и тем более если обошелся с ним несправедливо, ему, Акиве, следует навестить семью Бройеров и выразить свое соболезнование. Он решил, что пойдет к ним завтра ближе к вечеру и уже вообразил себя, поднимающегося по лестнице и звонящего в дверь, а потом сидящего в большой комнате рядом с Эфраимом и Грэти Бройер и Наоми, сестрой Меира, прилетевшей из Лондона по случаю похорон. Может быть, там окажется и Рухама, девушка Меира Бройера, который лежал возле разверстой могилы, укрытый национальным флагом, и Акива напряженно вглядывался в него, а потом перевел взгляд на собравшуюся вокруг толпу людей и увидел по другую сторону могилы Рухаму с расширенными от ужаса карими глазами, погруженную в самое себя. В ее позе было что-то настолько трогательное и так брало за сердце, что он опустил глаза, и на мгновение удержал взгляд на ее загорелых ногах, скрывающихся под юбкой, слегка колеблющейся с боков от ветра и обвивающей бедра. Сбоку до него дошел звук осыпающейся земли и он ощутил стеснение в груди и какую-то слабость и дрожь в ногах и одновременно услышал армейского кантора, поющего “Владыка многомилостивый, обитающий в вышине!.. Дай обрести покой, уготованный под покровом Божественного присутствия...”, а потом троекратно прозвучали выстрелы, он закрыл глаза, и они наполнились летним солнечным светом, а когда открыл их, все уже начали двигаться к выходу. Он огляделся вокруг, высматривая Рухаму, и, не найдя, стал лавировать между идущими, чтобы отыскать ее и пойти вместе, но все его усилия оказались тщетными, потому что на глаза она так ему и не попала. И лишь когда дошли до кладбищенских ворот, он оглянулся в последний раз и увидел ее снова, идущую позади. Он подумал, что надо бы остановиться и дожждаться ее или даже вернуться за ней, но только слегка замедлил шаг, а потом забрался в автобус и сел, чувствуя в душе отчаяние и досаду, но когда въехали в город и разошлись, то и эти чувства улетучились тоже.

Перевод с иврита Любы Лурье

Ханох Левин

ИЗ КОРОТКИХ РАССКАЗОВ

ФАКТ

Было так, что перед Горкой предстал человек, и, когда он взглянул на Горку, рот его разверзся во всю ширь, и из него вырвался громкий возглас: “Ааа... Браво! Ааа... Браво!” И сразу же Горка скромно склонил голову и машинально слегка поклонился, хотя и не понимал, за что кричат ему браво (ведь ничего такого он не сделал), но вот где-то глубоко внутри него всколыхнулось нечто вроде воспоминания о каком-то страстном томительном ожидании: вспышка света и рассекающий воздух звук предназначавшегося ему “Ааа... Браво!” Глаза его наполнились слезами. Тут же в воображении, освещаемый мощным прожектором, он вскочил на невысокие подмости – один на огромной сцене; неосвещенная публика, ревушая, неистовствующая до потери сознания, вопящие женщины, машущие в его сторону, готовые отдаться ему, все действо целиком. Смотрите, смотрите: число почитателей не иссякает. Кажется, будто среди них и его мать с отцом, – а то, как они восстали из мертвых и присоединились к радостно голящему обществу, собравшемуся вокруг него, – сейчас не важно, главное – это самое “Ааа... Браво!”

Так и пронеслись себе дважды эти “Ааа...Браво!” Прошло мгновение, если хотите, или, если угодно, – вечность, но при третьем возгласе ушам Горки удалось расслышать, что это не “Ааа... Браво!”, а “Абрамов!” Когда же шаги кричащего приблизились вместе с его очередным восклицанием, то уже вне всяких сомнений стало ясно, что “Абрамов”. Все очень просто: человек звал кого-то через плечо Горки, и когда Горка обернулся, то и в самом деле увидел усамого и очкастого мужчину с беретом на голове, задравшего голову и взглядом отвечавшего на приветствие. Да, так это и было: кричащий (какой-нибудь Закерман или Константинов) увидел своего старого знакомого в берете Абрамова и позвал его через голову Горки. В Горке происходило быстрое душевное движение: погасли огни прожекторов, сам он спешно спустился с

подмостков, исчезли сцена и публика, почившие родители вернулись в свои могилы. Все случилось в мгновение ока, и он уже отказался от того “Ааа... Bravo!” Ясно ведь, что никто и не мог сказать ему “Ааа... Bravo!” Чем он заслужил его – тем, что позавтракал? И вот уже Горка сделался скромным донельзя, и возжелала его душа стать просто Абрамовым, потому что кому было бы хуже, если бы он был Абрамовым с усами и беретом и кое-кто узнал бы его на улице, окликнул, и они пожали бы друг другу руки и, может, даже зашли бы в какое-нибудь небольшое кафе (недорогое) и предались бы воспоминаниям и поговорили бы о последнем кризисе в России, а если бы они были близкими друзьями, то даже и о женщинах. О! Женщины!

Другое дело, если человек позвал бы Горку. Или Горка был бы Абрамовым. Тогда все было бы иначе. Но кричащий звал Абрамова, а Абрамовым был не он, а другой, он же был – Горкой. Так распорядилась судьба. Разве что слово “судьба” слишком тяжеловесно для нашей истории и, скажем, достаточно слова “факт”, что означает “так оно и есть”, или “прошел еще день”, или: “что поделаешь с этой жизнью, что поделаешь...”

Я СТРАДАЮ

Я страдаю. Будь прокляты те, кто в этом сомневается. Будь прокляты те, кто думает, что хоть когда-нибудь я получал удовольствие. Углядели, что я ем соленую рыбу и по движению моих челюстей решили, что приятный вкус вызывает у меня обилие слюны, и я, за счет многократного подталкивания языком к нёбу этого вкусного месива, удерживаю его во рту и наслаждаюсь вовсю! Знали бы, как они ошиблись! Ведь именно в этот момент посетили меня печальные мысли и воспоминания о людях, которых уже нет в живых. Другие жрут и думают черт-те знает о чем, а вот у меня именно тогда, когда челюсти пережевывают хлеб с маслом и соленой рыбой, мозг пронзает мысль о том, что сейчас на кладбище мертвые пребывают в темноте. Те, кто скажет, что мысль эта уже не нова, попадут мимо цели: не на оригинальность я претендую – а на страдание.

А вот теперь я готов претендовать также и на оригинальность. Любая мысль и любое изречение уже были облачены в слова и высказаны, но вопрос в том, как и в каком именно стиле. Смее утверждать, что еще ни один человек не формулировал мысль об умерших, покоящихся во тьме, в момент пережевывания соленой рыбы; а если кое-кто и сделал это, то таких было мизерное количество: может быть, еще двое-трое за всю биографию человечества. Не так уж плохо быть одним из двоих в истории. К тому же – стиль! Ведь пережевывание куска хлеба кем бы то ни было происходило по-другому,

не так, как у меня; выражение чувств на моем лице – другое; слова в моих мыслях не идентичны словам, произнесенным до меня. Все вместе, как отпечатки пальцев, уникально только для моей индивидуальности.

Для утверждения своей полной исключительности добавлю: кроме как о мертвых, лежащих в темноте, я думал еще и о белье, вывешенном мною утром и сохнущем сейчас на ветру. Само высушивание не стоит мне ничего, ветер работает на меня задаром. Даже появилось желание воспользоваться ветром, и охватила страсть стирать и сушить еще и еще, открыть институт по высушиванию белья на ветру. Признайтесь, что невозможно, чтобы комбинация такого рода могла повториться в истории у кого-нибудь еще: поедание соленой рыбы плюс мертвецы, лежащие в темноте, плюс белье, сохнущее на ветру. Я – единственный и неповторимый в этом мире. Насчет оценки собственной уникальности не скажу ничего, разве что и через миллион лет она останется незабываемой. Время – лучший судья.

Теперь по поводу удовольствий: я не хочу прослыть посмешищем. Пусть другие тратят время, развлекаются и получают удовольствие. А мне-то что? Я никогда не наслаждался, но зато сполна был вознагражден другим. Наибольшую пользу я извлек во время поедания соленой рыбы из мысли о мертвых в темноте: ведь вследствие того, что я вкушал нечто вкусное и приятное нёбу, я сделался весьма чувствительным. Душа моя возвысилась, стала более деликатной, восприятие более обостренным, шансы найти себе красоту возросли (ведь они любят нас утонченными), но сразу же и упали, потому что побеждают шустрые и потому, что в тот момент, когда я уже готов был нашептать красавице соблазнительные слова, которые вызвали бы поволоку на ее глазах, пришла мысль о мертвых, остановившая мой язык.

Теперь признаюсь в своей хитрости: на самом деле я вообще не мог ни у кого вызвать какого-либо чувства, потому что, во-первых, изо рта у меня несло соленой рыбой, а во-вторых, само собой, не было там никакой женщины. Просто мне показалось, что будет выглядеть поэтичнее, если сказать, что я не добился красоты из-за мысли о мертвецах и, тем самым, представить себя как жертву собственной утонченности. Эта мысль о мертвых оказалась мне на руку. Прошу извинить: я использовал мертвых для постыдной спекуляции – прошу вас, смотрите на меня как на раскaiивающегося подлеца, – это лишь умножит мою сложность и изощренность.

Еще одно слово относительно утонченности: поскольку мысль об использовании ветра в целях высушивания белья выставляет меня как человека слишком практичного, думающего лишь о материальном, я не настаиваю больше на своей абсолютной оригинальности и заявляю, что вообще не думал ни о каком ветре и ни о каком белье. Солгал. Я возвращаюсь к тому,

чтобы снова быть утонченным, потому что, по мне, стоит приобрести утонченность даже в ущерб оригинальности. А что касается того, что прежде я утверждал, что думал о ветре, а теперь беру свои слова назад, то для меня главное – быть человеком изысканным, пусть и вруном. Насчет вранья извините, пожалуйста, и смотрите на меня еще и как на человека, кающегося во лжи, в дополнение к моей изысканности и сложности.

Вот он я весь перед вами – человек, все принимающий в расчет. Утруждаю себя обдумыванием чрезвычайно и почти лопаюсь от напряжения. Страдание мое огромно.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

С завтрашнего дня я стану другим человеком, прекращу болтать, буду говорить только необходимое. “Оставьте меня в покое”, “Потише!”, “Не мешайте мне!”, “Дайте кофе”, “Дайте кусок пирога”, “Дайте поспать!”, “Дайте яичницу”, “Дайте мармелад”, “Дайте шоколад”, “Дайте мне жить!”, “Не шумите!”, “Не морочьте мне голову!”, “Нет у меня времени”, “Я занят” и... “Нет, ни за что!” Преимущественно – “Нет, ни за что!” И откроется передо мной новая жизнь, жизнь – полная глубокого удовлетворения.

ДОЖДЬ

Ураганный дождь обрушился в одно мгновение. Мы вышли из дому в летнем: короткие брюки, хлопчатобумажные рубашки – думали, что лето будет продолжаться вечно и мы всегда будем налегке и всегда – к морю... И вдруг такой потоп! Залило всю улицу, люди бегут, слышно, как вскрикивают испуганные дети и женщины.

Внезапно, словно по мановению волшебной палочки, дождь прекратился. Поглядев вверх, мы увидели, что над нашими головами раскрыт старый черный зонт, который держит старуха лет восьмидесяти, с седыми волосами, очень высокая и костлявая, с коричневым беретом на голове. На нас она не глядит, губы вздернуты, обнажая зубы в напряженной гримасе, – выражение человека, явно ушедшего в себя и концентрирующегося на каком-то внутреннем усилии. Вокруг с силой продолжает хлестать дождь.

Кто оказался там прежде, кто к кому присоединился? То ли мы нашли приют под покровом старухи, то ли она подошла к нам и прикрыла зонтом? В нетерпении мы ждем, когда прекратится дождь, но он зарядил надолго, угрожая смыть все тепло лета, которого не стало, и повелевает нам убраться

глаз долой наши короткие брюки: больше не моги! Больше не моги! Итак, старуха, высокая и неприступная, смотрит в никуда, с зубами желтыми и длинными, да еще какими крепкими! Ситуация не совсем ясна, похоже, что она вдова. Но не можем же мы ни с того ни с сего сообщить ей, что мы не холостяки. Что же делать? Из-за всех пор нас прошибает потом, на скулах вспыхивает яркая краска стыда.

Как раз в этот момент из ближайшего киоска верещит радио, чтобы возвестить, что сейчас два часа дня, и вот вам новости, в коих сообщается, что мы наконец-то присоединились к Европе. Как долго мы ждали этого часа! Хотя здесь все так и останется, как было: грязь, шум, жара, мухи, уродство и тоска, как паутиной оплетающая тебя со всех сторон, к полному твоему бессилию. Тем не менее формально, во всяком случае принципиально, мы входим сейчас в Европу, правда всего лишь сбоку припеку, но все же в Европу, Европу в широком смысле, Европу-брутто, на определенных условиях. Но зато – какой почет! Выдающийся! Потрясающий! Многие в нашей стране сейчас прячут влажные глаза. И этот хлещущий дождь, уж не пытается ли и он прозрачно намекнуть: “Добро пожаловать в Европу!”?

И именно теперь, когда все открыто и мир распростерся перед нами во всем своем великолепии и блеске, а все француженки – и в очаровательных деревушках долины Луары, и в публичных домах Сен-Дени – стоят у окон, прижимаясь грудью к благоухающим цветочным ящикам, и машут флажками; именно теперь, в миг столь долгожданный и возвышенный, вышло так, что мы, в силу сочетания странных обстоятельств, вынуждены связать свою жизнь с местечковой старухой, обладательницей зубов и держательницей зонта.

Она не отстанет от нас. Те, что махали нам флажками, уже отошли вглубь своих спаленок, плюхнулись в мягкие кровати. Окна захлопнулись. Дрожь от-вращения проходит у нас по спине, когда мы готовимся с ложным смирением и возрастающим нетерпением к выносу по утрам холодного ночного горшка старухи. Из-за этого (из-за этого тоже) так дерзко гримасничает с нами дождь, который только что деликатно намекнул: “Добро пожаловать в Европу!”

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ЭЛЕГИЯ

Что до большинства – (а разве не для всех нас ее решение безоговорочно?) – то, когда наступает предсмертная агония, они поднимают головы, силясь вернуть блеск потухшему взгляду, и заявляют “Еще немного, закончим курс лечения, оставим свои постели и тогда вернемся в мир с удвоенной энергией и преуспеем больше прежнего”.

Когда она явится к нам в свой час, хорошо бы, чтобы у нас хватило сил свесить голову на впалую грудь и сказать: “Не возвратимся в этот мир, конечно”. И услышать, как наши друзья и женщины мягко возражат: “Ну что ты говоришь? Скоро ты станешь на ноги!” Удалось бы удержать остаток энергии на то, чтобы заупрямиться (по щеке сползает слеза): “Конец, и баста!” Уголкем глаза увидеть жену (и она в слезах), все еще протестующую, но уже энергично топающую ножкой и прикладывающую усилия, чтобы не дрогнул голос: “Ну что ты говоришь? Что ты говоришь!” Дай Бог, чтобы хватило сил всего лишь суметь подумать, как подрагивают ее ягодицы, когда она топает ногой, – и тогда уже окончательно вернуться к тому, что “Конец – и баста!”

Перевод с иврита Любы Лурье

Вера Горт

СТИХИ И ПСАЛМЫ

“Небытиё – условность”

Цветаева

Метеор упал. Раскололась
степь, и трещины пролегли.
Я разыскиваю Ваш голос,
Марина из-под земли.

Я – мала, я всего – подросток,
распахнувший чертополох.
Но зато, как никто из взрослых,
как язычник, наитьем острым
Ваш подземный я чую вздох.

Вам писали и пишут письма.
Их ссылая в земной раскол,
отклик жду, не держа и в мыслях,
что этаж Ваш безлюдно гол.

Жду ответа, как ждут бемоли
у скрипичных своих ключей,
словно птицы, пока безмолвно, –
исполнения певчей боли
унисонами скрипачей,

поэтически точных жалоб,
по которым седой эксперт

даже в случае небывалом
свой выписывает рецепт.

Павших пестуют корни сосен,
их целует весной ручей,
к Вам в пробоины светит солнце
в мегальон восковых свечей!

Месяц май, как Акрополь, – белый!!!
Словно войско свое Спартак,
мир – с распятым войною телом,
мир – который не знал, что делал, –
Вас терял... Молчал Пастернак.

Кстати,

тот Бокштейн Илюша,
что в стихах по уши, –

шлёпает по лужам –
ищет, где поглубже...

– Дождь идет, Илюша!
– Он ко мне?
– К кому же?!

Человек ли – эльф ли,
истина ли – блеф ли,

в седине ли – в пакле,
гений ли – чудаки ли,

очи ли в глазницах –
притчи ль во языцах,

от сего ли мира
сам поэт и лира?

– Хмур ты или весел?
– Жив. Живу для песен.
Остальное праздно.

Лишь одно в нем страстно:
строчество, стиховье.

– Проза – пустословье.

Стоп! стихи Илюши –
трепетны, как души,

зорки, неехидны,
орхидеевидны.

ИЗ “КНИГИ ПСАЛМОВ”

Рифмованные переводы

ДАВИД

*Дирижеру – для голосов
с филистимской лютней*

Твое особенное имя, Боже,
одно лишь освещает облака!
Ты щебетом грудных младенцев можешь
остановить взбешенные войска!

Гляжу я на перстов Твоих изденье –
на солнце... месяц... Но спрошу Тебя:
что человек в любой Твоей затее?
не позабыты ли Тобой на деле –
он и его дитя?.. Он... и дитя?..

Пред ангелами умалив, все ж – умным
Ты сотворил его, снабдив красой
и властью над ягненком тонкорунным,
быком огромным, трепетной лисой, –

все к человеческим Ты сложил ногам,
что шуйцей и десницей сделал Сам.

Полоску чертит в небе птичья стая,
а в море – рыба: сих линеек двух
в просвете – каллиграфия святая –
Господне Имя – горстка Божьих букв.

АЛЛИЛУЙЯ

Давид, сын Ишая

Мальчик – юноша – младший брат
сыновей своего отца –
был я пастырем отчих стад,
правил шаг озорных козлят,
в сердце пестуя дар певца.

Руку я превращал в овал
лирной рамы, уча персты
петь без струн... только б Ягве внял
сонму истых Ему похвал,
мною заслушавшись с высоты.

Горы ведают ли о Нем? –
но деревья растят слова,
будто песнь моя – их листва,
но, любуясь моим гуртом,
судит Высь о труде моем.

Кто еще так певуче б мог
перечислить Его дела?
Все Он слышит – Элога – Бог,
все Он зрит в неземной зрачок,
отделяя добро от зла.

Снарядил Шмуэля Господь,
чтоб помазать – меня? вручив

царство – мне!.. На тропу меж нив
вышли братья мои - *как* гость,
ими встреченный, был красив

в приближеньи своем! – заря
так является... Но из них –
рослых, статных, в кудрях густых –
он не выбрал стране царя.
Я же брел промеж коз моих.

Но за мною послал пророк
и из стада меня извлек,
и, на лоб мой пролив елей,
сделал пастырем тех людей,
о которых печется Бог.

БНЕЙ-КОРАХ

*Дирижеру – для голосов
с филистимской лютней*

Сколь мною любимы, Бог Цеваот,
милы мне – Твои жилища.
Тоска по дворам Твоим – сердце рвет, –
здесь – песнь для Тебя и пища

на тлеющих углях, здесь птица жилье
в стенных обживает щелях,
здесь ласточки – при колыбелях:
кладут в них птенцов... Здесь место мое,
где жертвенник жарок. Сэлла!

Блажен, кто тянуться к Тебе рожден.
На торном пути своем в Твой Цион,
сквозь зной, засушливым летом, –
такой – околдовывает дождем
долину Плачущих Веток

самим прохожденьем своим средь пекл,
он – лекарь сухого стебля,
он – я! я – помазанник Твой на песнь!
услышь меня с неба!.. Сэлла!

Единственный день у Твоих дверей,
вблизи Твоего порога, –
дороже мне долгой тысячи дней
уют в шатрах порока.

Чего же достойным недостает?
вот – тень Божьих крыл... вот – солнца восход.
Страшись лишь грешного шага,
благой человек! а Бог Цеваот
благих не лишает блага.

Анатолий Гольдберг

ПИСЬМА И.В.ОСТРОВСКОМУ

Человек на перекрестке истории

С Анатолием Гольдбергом мы сверстники, земляки. Знаю его с юношеских лет. Жизненные препятствия у еврейских ребят первых послевоенных лет были схожими. Однако Толя в силу способностей характера преодолевал их, как волнорез. По окончании Львовского университета отправился он по назначению в село Заболотцы учить математике украинских детей. Через год подал документы в аспирантуру “альма матер”, но проректор профессор Гребинский сказал ему: “Зачем вам аспирантура? Мы знаем вас как сильного студента. Аспирантура – форма помощи слабым. А вы и без аспирантуры защитите диссертацию”. Действительно, Гольдберг сделал работу на дому и успешно защитил кандидатскую диссертацию. В родной университет его по-прежнему не брали, и он занял вакансию в Ужгородском университете.

Ученый, крупный математик, Анатолий Гольдберг взял свое. Защитил докторскую, стал профессором Львовского университета. О его таланте педагога, принципиального и остроумнейшего преподавателя ходили легенды. Честно говоря, мне порой было тяжело вести с ним диалог. Даже во время мимолетных встреч он успевал так разложить по полочкам любой факт, что спорить или высказывать другую оценку было бесполезно. Исключительная логика, память, твердость нравственных основ проявлялись даже в мелочах. Истинную же цену личности Гольдберга могут дать его коллеги, многочисленные ученики, математический мир. Прибыв в Израиль пять лет назад, он определился в научно-исследовательский сектор Бар-Иланского университета.

Обычные житейские рамки – не для незаурядного человека. В том числе и в личной жизни. На попечении Анатолия были три сына и еще первенец, больной от рождения сын Марик, требующий непрерывного присмотра.

Почтенный профессор становится достопримечательностью некоторых улиц Львова, ибо в определенные дни и часы обязательно появляется там на прогулках с сыном. Исполнение им отцовского долга – беспримерное. И вы можете оценить трагикомизм сценки, описанной в письме Гольдберга, когда чиновница израильской полиции при получении паспортов пеняет отцу за недееспособность сына.

Анатолий – человек очень наблюдательный, рассказчик с неперменной искринкой юмора. Об этом свидетельствуют его письма начала девяностых годов к харьковскому ученому, соавтору и другу И.В.Островскому. Недаром Островский хотел еще в девяносто первом году через Марка Азова опубликовать их в печати. Это был час, когда прежний образ жизни в Западной Украине и ее духовном центре Львове сметался зачастую нецивилизованным путем и на этой волне вскипала пена национализма и даже ксенофобии. В дальнейших письмах прослеживаются издержки этого процесса, наносившие серьезный ущерб культуре, просвещению, межнациональным связям. Каково же было в тех условиях разгула низменных страстей выстоять евреям, сохранять достоинство и самоуважение! Именно Анатолий Гольдберг оказался непоколебимым.

Письма его, конечно, несут отпечаток личностного взгляда на события. Но в данном случае он, попав, по выражению Герцена, на перекресток истории, стал человеком, сумевшим сразу определить векторы разбушевавшейся стихии, дать ей верную оценку. Друзья А.Гольдберга собрали его письма и переслали их нам, считая важным познакомить с этими свидетельствами широкую общественность. Они правы. И журнал “Галилея” предлагает своему читателю выдержки из писем Анатолия Гольдберга как своего рода историческую хронику, запечатленную современником с умом и завидной достоверностью.

Роман Цивин

Пивные ларьки на нашей доисторической часто украшались плакатиком: “Требуйте отстоя пены!..”

Если применить этот императив к “пене национализма и даже ксенофобии” (Р.Цивин), вскипавшей на волне борьбы за “незалежність” в Западной Украине, то, пожалуй, пена содуется вместе с пивом. Всякая революция чревата ненавистью: классовой – у большевиков, расовой – у нацистов. Сепаратисты в данном случае не исключение. Для нас это наблюдение всегда злободневно.

Марк Азов

20 января 1990

Во Львове обстановка ощутимо накаляется с каждым днем. Вчера на факультете на доске объявлений висел огромный самодельный плакат: “Українська хвиля: наша мета – тільки незалежна самостійна Україна!” По городу распространяются листовки с угрозами побить стекла тех окон, из которых 22 января не будет свисать сине-желтый флаг.

10 февраля 1990

У нас события разворачиваются в том же направлении. Во Львове выходил журнал “Жовтень”. С 1990 года его переименовали на “Дзвін”. О том, что это не случайно, свидетельствует то, что в № 1 за этот год помещен портрет С.Бандеры.

У нас доцента Галину Ивановну Чуйко студенты заставили перейти на украинский язык преподавания, устроив обструкцию.

23 февраля 1990

Ко всему человек привыкает. Вот и сегодня я проводил коллоквиум и был вынужден выбираться из здания через черный ход, так как от парадного входа до памятника Франко шумел митинг под лозунгами: “Вимагаємо української національної армії”, “Не віддамо наших дітей до московської окупаційної армії” и т.д.

24 февраля 1990

Радио с утра до вечера передает бандеровские песни, к слову сказать, в большинстве случаев очень мелодичные. Но тексты совершенно однозначные, хотя не всегда, как модно говорить, созвучные с “исторической правдой”. Например, только что прозвучала песня с припевом: “Будем бити москалів так, як їх Хмельницький бив.”

13 апреля 1990

Привет из революционной Львовщины!

Вы напрасно уехали 7 апреля. Надо было остаться еще на неделю и сидеть у телевизора. Начала работать сессия Львовского облсовета. Первое заседание было в оперном театре. О его характере говорит воззвание, которое я Вам посылаю. Обстановка напоминала II съезд Советов в 1917 году, но не такой, как на самом деле, а как его изображают в историко-революционных фильмах. Бесконечные вставания, пение “Ще не вмерла Україна”, целование Библии и сине-желтого флага. Кое-что взято из советского ритуала. Сессию постоянно приветствуют делегации хлеборобов и т.п., одетые в

костюмы из реквизита художественной самодеятельности, которые идут по проходу к трибуне с сине-желтыми флагами. Все принимается почти единогласно, против и воздержавшихся вместе – 6-7 одних и тех же людей. Слова им не дают. Все обращаются: “пан”, “панове депутати” и т.д.

Некоторые из наиболее ярких выступлений. Председатель горисполкома Б. Котик (он был на этом посту и раньше, его предвыборный плакат: “Котик підтримав Рух, Рух підтримує Котика”): “Досить базікання, що Львів, мовляв, інтернаціональне місто. Львів – українське місто. Інші національності тут гості. Ми їх шануємо, але вони не більше як гості”. Другой депутат: “Духовною столицею України є не Київ, а Львів. Звідси ми почнемо наш визвольний похід на схід на береги Донця та Кубані”. Депутат из Самбора выступал в духе “Памяти”, но называл не еврейские, а русские фамилии лиц, “які підступно пролізли у райвиконком”. “Чи можуть люди з такими прізвищами вболювати за долю Української землі?”

16 и 17 марта праздничные дни, ничто не работает, и сессия объявила перерыв. Возобновит работу 18-го. Кстати, целый день идет прямая трансляция сессии по телевидению.

Заниматься нет никакой возможности. Обстановка в университете очень напряженная. Студента 4-го курса Беспалько однокурсники избили так, что его увезла скорая помощь. Причина – он демонстративно не вставал, когда исполнялся гимн “Ще не вмерла Україна”.

25 апреля 1990

Я наблюдал по телевидению, как снимали завгороно – нашего выпускника В.Н. Гладунского. Об этом писала и “Правда”, но в очень мягкой форме. О деловых качествах его речь не шла. Зато депутат Стецьк (журналистка) выставила свидетельницу, соседку Василия Назаровича по дому, которая, поклявшись на Библии, сообщила, что сама слышала неоднократно, что В.Н. со своими детьми разговаривал по-русски. В.Н. сказал: “Моя рідна мова українська. Але тут я можу висловити свою думку лише по-російськи. Пошли вы все к... Куда идти, я не скажу, так как я педагог”. После этого он вышел из зала. Но его, конечно, все равно бы не оставили.

Выдвинут принцип: если хотя бы один из родителей украинец, то ребенок обязательно должен учиться в украинской школе. Депутат (он же поэт) В. Романюк в своей очередной поэме сформулировал (цитирую по газетному тексту) это так:

*Тільки далі йде русифікація –
Найпідліша з твоїх одісей.*

*Вибір мови батьками – то акція
Проти Бога самого й дітей!*

Кстати, в той же поезмі он признається, що не може любити своїх русско-язичних восточних собратів:

*Знов живе Україна тривогою,
Западєня не чує східняк...
Хай люблю я тебе за вимогою –
Ти ж не зміг полюбити ніяк.*

Но возвращаюсь к школьным делам. Тут не обошлось, как водится, без “перегибов”. Во время урока к Вите в класс зашли два молодца с сине-желтыми повязками и сказали, чтобы все, у кого папа или мама (или оба) украинцы, подняли руки. “Кто честно не скажет, мы все равно узнаем”.

Официально не объявлено, но ходят слухи, что евреев тоже не пустят в русские школы. Будет открыта одна еврейская школа (примерно на полпути между моей квартирой и гостиницей “Россия”, где Вы жили) и можно будет записывать или туда, или в ближайшую украинскую школу. Но я знаю, что в обществе им. Шолом-Алейхема, куда обращались новые власти, сказали, что учителей, которые могли бы преподавать естественные дисциплины на идиш, они найти не смогут. Я думаю, что и для других дисциплин не смогут. Надо сказать, что всю верхушку новой власти составляют члены УГС - Української Гельсінкської Спілки – наши правозащитники.

Еще один занимательный эпизод. О нем писала “Правда Украины” в статье “Львовская Мата Хари”, но я этой статьи не читал и не знаю, как точно она освещает события. Я основываюсь на телепередаче. 13 апреля во время заседания облсовета Стецьк (упоминавшаяся ранее журналистка) сказала, что у нее важное сообщение. Что она познакомилась с полковником Виктором Баранцом, который сказал ей, что он прибыл из Баку, где наводил порядок, и такой же порядок наведет во Львове. Стецьк с гордостью заявила, что для того, чтобы добыть секретные сведения, “важливі для національної справи, вона навіть поступилася жіночою честю”.

18 апреля я телевизор не смотрел, но говорят, что на заседание ворвалась какая-то женщина, которая распустила Стецьк волосы и кричала: “Сука!” Ее с трудом вывели из зала и никак этот инцидент не комментировали. Уверяют, что это жена Баранца. Одним словом, у нас не соскучишься.

28 апреля 1990

У нас на факультете полный развал. Многие преподаватели депутаты, они все время заседают. Замены никто не организует. Студенты не ходят и на те занятия, где преподаватели есть, а непрерывно митингуют то за Литву, то против АЭС, то за молитву перед началом занятий, то за создание музея С.Бандеры, то за бесплатную раздачу контрацептивных средств. Так что учебные планы никого не волнуют.

16 мая 1990

По поводу львовских дел. С 3 июня мы не будем жить по московскому времени, стрелки будут переведены на один час назад.

В области образования партизанские выходки прекратились, но линия на апартеид сохраняется и даже развивается. Сейчас много говорят о создании отдельного русского университета, причем ссылаются на то, что в довоенной Праге, кроме Карлова университета, был еще отдельный немецкий университет. Различие в том, что предполагается, что содержание русского университета будет целиком за деньги русскоязычной общины и в нем будут только факультеты: русская филология, русская история и теология. Но это пока все лишь туманные проекты. Много говорят об увольнении русских с работы, главным образом пенсионеров.

1 мая я по старой традиции пошел на демонстрацию, хотя мои домашние отговаривали меня, опасаясь, что будет драка. Но драться было не с кем. Вся колонна несла сине-желтые флаги, причем в таком количестве, как когда-то колонны знаменосцев на физкультурных парадах. Без флага или транспаранта человек чувствовал себя как голый. Я хотел было дать тягу, но меня заметили и это выглядело бы как демонстрация. Я пристроился к относительно объективному лозунгу: “Український народі! Тебе будить дзвін історії!” Один сердобольный парень предложил мне лишний плакат “Борис Олійник – зрадник українського народу”, но я отказался. Людей на демонстрации (то бишь манифестации, как она официально называлась) было раза в три меньше, чем обычно. Два старичка несли красные флаги. Они были совершенно невозмутимы, хотя их окружала молодежь, непрерывно скандировавшая: “Ганьба КПУ”, “Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС”. В конце колонны шли человек 20 борцовского вида с транспарантами “Спілка українських ідеалістів” и несли лозунг “Хай живе Українська ідеалістична республіка”.

Надо сказать, что председатель Облсовета В.М.Черновол по сравнению с основным составом депутатского корпуса занимает более умеренную позицию. Когда он говорит о “самостійності України через декілька років”, в зале

крики (“Ганьба!”, “Зрада!”), топот и т.д. Он решительно прерывает депутатов, когда они употребляют слова “москалі, жида, ляхи”.

25 июня 1990

...Певец на эстраде вместе со всем залом пел очень задушевно песни вроде такой:

*Гей, під львівським замком
Зелен дуб стоїть,
А під тим дубочком
Партизан лежить.
Бився за Україну
Та и за рідний край,
Щоб по Україні
Не гуляв москаль.*

Львовское радио передает отрывок из какой-то пьесы в исполнении драмкружка какого-то ПТУ. Содержание отрывка. Бандеровцы на лесной поляне поют лирическую песню. Сбоку лежит труп советского лейтенанта. Неожиданно труп начинает стонать: “Пити! Пити!” Один из бандеровцев дает ему пить. Лейтенант оживает. Он тронут проявленным гуманизмом и тем, что слышит вокруг украинскую речь, “на якій до нього промовляла матінка”. Страстный монолог лейтенанта, который понял, что был орудием в руках москалів и стрелял в своих братьев. Он просит у сотника пистолет, чтобы застрелиться. Сотник дает ему свой пистолет, но говорит: “Твое життя в руках Бога і народа. Даю тобі зброю, щоб ти разом з нами бився за Україну, щоб жодного чужинця не залишилося на нашій святій землі”. Лейтенант целует пистолет. Народный умелец тут же в два счета переделывает (слышно звяканье молотка) его золотую звезду героя в тризуб. Бодрая походная песня.

30 июня 1990

Сегодня, 30 июня, во Львове торжественно отмечается вступление гитлеровских войск в 1941 году и провозглашение украинского правительства во главе со Стецько и с президентом митрополитом Андреем Шептицким (через месяц немцы это правительство разогнали).

19 июля 1990

Во Львове идет кампания переименования улиц. Например, ул. Ленина переименовали в Лычаковскую. Есть уже ул. Гетьмана Мазепы и т.д. Ул.

Фрунзе переименовали на ул. Жидивскую (с пояснением, что по-русски надо писать именно так, а не Жидовскую). После официального протеста Еврейского общества им. Шолом-Алейхема эту улицу опять переименовали в ул. Староеврейскую.

6 сентября 1990

...Что касается ликвидации русской литературы как предмета в украинских школах, то ради точности надо сказать, что введен курс мировой литературы в такой форме. Будут изучать по 3 писателя русских, английских, американских, французских, немецких, по 2 писателя польских, белорусских и т.д., у каждого писателя будет изучаться одно произведение. Выбор по усмотрению учителя из рекомендательного списка, довольно обширный. Все произведения изучаются в украинских переводах, например, “Евгений Онегин” в переводе М.Рыльского.

Сильно сокращены часы математики, физики и т.д. за счет введения таких предметов как украинский фольклор, украинская этнография, религия и т.д.

А на бытовом уровне тривиальное хамство. Я был свидетелем того, как кассирша не приняла у женщины квартплату, так как та написала в книжке “август”, а не “серпень”. Женщина покорно переписала бланк.

16 сентября 1990

Посылаю Вам очередную вырезку из “Львовской правды”. Из того же номера за 15 сентября я Вам пришло другую заметку, но позже, так как на обороте программа телевидения. Аналогичное описанному в этой второй заметке 13 сентября произошло с моим Витей (сын автора. – Прим. ред.). Среда бела дня без всякой причины или хотя бы повода он получил удар в зубы такой силы, что был сбит с ног и на короткое время потерял сознание. В результате от удара шатаются два верхних передних зуба, закушена и распухла губа, а вся щека ободрана о тротуар. Это все же лучше, чем то, что описано в заметке, когда мальчику сломали два ребра. Так как тот мальчик русский, то ему был устроен экзамен. Он засыпался на том, что не знал “Отче наш”. В украинских школах молитвы обязательны, всего надо выучить 10 молитв. Тексты их в школьном издании продаются во всех магазинах в виде листовок с картинкой и текстом одной молитвы. Одна листовка стоит 50 коп, так что обучение религии стоит недорого. Если хотите, я куплю для Вас комплект или образцы вроде “Боже великий, единый! Нам Україну спаси!” Если ситуации линейно экстраполировать, то я думаю, что через год рабочий день во ФТИНТе (*Физико-технический институт низких температур. – Прим. ред.*) будет начинаться молитвой, поэтому следует запастись текстами, пока издательства справляются с нагрузкой.

3 ноября 1990

Мне в трамвае засунули в карман листок СНУМа. Назвать СНУМовские издания бульварной прессой – значит похвалить их. Написаны они не литературным украинским языком, а галицким диалектом. Приведу образчик их стиля. Передо мной поэма “Москалі в українській хаті”.

*Щоб ви здохли всі до рана,
Курва ваша мати засрана!
Некультурно так казати,
Але що з москаля взяти?
Та звичайно впадеш в нерви,
Коли в хаті такі стерви!
Що си хтіли, тамка жерли,
Ще й з собою додому перли.*

Выясняется, что те москали, которые “додому перли”, – это полбеда. Хуже те, которые поселились в украинской хате и женились на украинках. После уничтожающей критики женских качеств москалек автор дает обобщенный портрет украинки:

*Має дівка чорні брови,
Цицьки, майже як в корови.
Чоловіче! Рук не хвате,
Якщо схочеш облапати!
Ти б на неї подивився,
То, напевно би, сказився.*

И так далее. Я бы прислал просто этот листок, но к этой поэме такие иллюстрации, что я его не то что посылать, но и дома держать не могу.

30 ноября 1990

Мой пост гл. редактора Праць ЛМТ (*Львівське Математичне Товариство*. – Прим. ред.) ничего, кроме волнений, мне не приносит. В составе редколлегии есть два-три человека, которые пользуются каждым поводом для политиканства. Большинство настроено умеренно-прагматически, но оно молчит. Не молчу лишь я. Когда был поставлен вопрос о том, что на обложке журнала должен быть портрет С.Бандеры, я сказал, что выхожу из редколлегии.

5 декабря 1990

Так как Вам показался несерьезным спор о портрете С.Бандеры на математическом сборнике, должен сказать, что здесь создан настоящий культ Бандеры. В “Читанці” для 1-го класса ученики читают текст “Дитинство С.Бандери”. А взрослые читают тексты вроде того, который я посылаю. Ну прямо “Детские и школьные годы Ильича”! Предполагается переименовать ул. Мира (там, где Политехнический институт) в улицу Бандеры.

10 декабря 1990

На всякий случай пишу адрес по-украински и Вас прошу о том же. Дело в том, что 30 октября 1990 года горсовет принял постановление “О состоянии выполнения Закона УССР “О языках в Украинской ССР”. Среди саботажников на втором месте (после ректора института физкультуры) названы руководители Главпочтамта и городского производственно-технического узла связи. Им предложено принять меры для того, чтобы все адреса писались по-украински. Обстановка настолько иррациональная, что я не исключаю следования совету А.А.Кондратюка: “Что сделает французская почта, если кто-то из Алжира пришлет письмо с адресом на арабском языке? Бросит его в мусорную корзину. А мы терпим, что не только из Москвы, но и из Киева приходят письма с адресом “Львов”, а не “Львів”. Во всяком случае, после принятия постановления дней 10 молодежь ходила и срывала, замазывала, отрывала номера телефонов в объявлениях типа “Продается детская коляска” на русском языке.

Впрочем, я с радостью отмечаю проблески здравого смысла. Наши студенты-журналисты всегда шли в рядах голодающих, митингующих и т.д. Но когда в нашем университете курсы русской литературы начали читать на украинском языке, именно они запротестовали. Впрочем, результат таков, что лекций по этим курсам вообще нет, а вопрос решится на экзамене: будут ли слушать преподаватели ответы по русской литературе на русском языке?

4 января 1991

Я в долгу – должен объяснить, как Витя оказался в Цюрихе. Еврейская община Цюриха шефствует над такой же во Львове. В частности, за ее счет содержится приехавший из Израиля раввин, который организовал “пятничную школу” для детей. Там они вкушают не только премудрости Торы, но и то пол-ананаса, то заграничную жевательную резинку, то еще что-нибудь. Все это раздает раввин. При нем все время крутится один львовский еврей, который служит ему переводчиком. Витя тоже посещает эту школу, рассказывая мне о вкусовых свойствах ананасов и пытаясь сбить с атеистических

позиций. Ходят в эту школу примерно 50 детей. Внезапно пришло приглашение из Цюриха. Они предлагали повезти за их счет 5 лучших учеников в Цюрих во время зимних каникул. Отбор проводился не по знаниям (они все ни черта не знают), а на чисто расистской основе. Кто это придумал, раввин или львовский профессиональный еврей, не знаю, но думаю, что последний. Требовалась максимальная подтвержденная чистота еврейской крови. Те, у кого кто-то из родственников нееврей, были отсеяны сразу. Затем взялись за бабушек и дедушек. В моем свидетельстве о рождении, выданном в интернационалистском 1930 году, вообще национальность родителей не значилась. Моя мама Слободянская вызвала у жюри большие подозрения из-за фамилии и очень двусмысленного имени и отчества. Но, по-видимому, у других детей дело обстояло еще хуже, так как Витя оказался 4-м в списке. В конечном итоге поехало 7 детей и еврей-профессионал.

16 января 1991

“Украинизация” у нас принимает иногда удивительные формы. Вот в каком виде продаются теперь “сладкие плитки”. Обертка, отпечатанная давно по-русски, клеится теперь так, что все надписи попадают внутрь. В октябре 1992 года во Львове будет праздничный фестиваль, поскольку

14.10.1942 – Повстання Української Повстанської Армії (УПА),

26.10.1612 – Запорожці з поляками здобули Москву.

(Привожу официальную формулировку).

12 февраля 1991

Во Львове идет массовая агитационная кампания против Союзного договора. Все партии и организации призывают сказать “нет”. В частности, председатель еврейского об-ва им. Шолом-Алейхема А.М.Лизен на страницах “Молодої Галичини” призвал евреев Львова на референдуме сказать “нет”. КПУ печатает свои заявления только в парторганах. Плакатов “за” я не видел. Плакатами “нет” увешан весь город. Типичный плакат висит у нас на факультете. Сначала таблица, показывающая место Украины в ряду крупнейших европейских держав. Почти по всем показателям (они взяты из официальных статистических сборников) Украина занимает второе место в Европе, редко третье, а по добыче железной руды – первое. Почему же так плохо живем? Все грабит Москва. Если Украина выйдет из СССР, то уже через 5 лет средний заработок будет 25000-30000 рублей в год (в ценах 1985 года), а каждая семья будет иметь 2-3 автомобиля. Последнее набрано самым крупным шрифтом и отпечатано красной краской.

Ходят слухи, что будет провозглашена Галицкая Автономная республика, которая лишь номинально будет зависеть от Киева.

17 февраля 1991

Во Львове вчера было создано Галицкое правительство под скромным названием Координационный комитет. На референдуме в Галиции будет свой вопрос (помимо московского и киевского). Но и на своей территории они не могут проявить власть как следует. Во Львовской области есть Злочевский район – единственный, где у власти коммунисты. Что делает Злочевский райисполком? Закрывает по экологическим причинам водовод во Львов. Во Львове всегда с водой было плохо, а сейчас после закрытия этого водовода положение просто катастрофическое. В этом вопросе злочевские руховцы заодно с коммунистами, и именно их хлопці, вооруженные палками (пока!), прогнали милицию, которая хотела обеспечить открытие водовода. Далее, в Злочевском районе сохранилось московское время.

6 июня 1991

Надо сказать, что в рядах Руха заметен поворот к трезвости взглядов и стремление отмежеваться от фашистского крыла, представленного О.Витовичем, С.Хмарой и пр. Председатель облсовета осудил открытие 26 мая в Ясенове памятника воинам украинской дивизии СС “Галичина” и предложил считать, что это памятник всем жертвам второй мировой войны. Посылаю вырезку из старой газеты, оказавшейся под рукой. Там уже можно проследить эти тенденции. В идеологическом смысле различия между умеренными и крайними очень невелики. Все считают, что украинцы – прародители всех арийских народов, что они создали шумерскую культуру, что украинский язык существовал уже 5000 лет назад и т.п. Но Витович, например, проповедует, что такие умные были только галичане, а надднепрянская Украина была ими колонизирована и тамошние украинцы расово нечистые. То, что французы произошли от галичан, видно из их старого названия “галл”, а Галлия – это та же Галиция и т.п.

12 августа 1991

Теперь об одной львовской курьезной новости.

Дней 10 назад львовское радио разнесло такую весть. Один колхозник (называлась фамилия) в Перемышлянском районе увидел НЛЮ, из которого вылез голый синий гуманоид. Подумаешь! Теперь, наверное, каждый день где-то кто-то видит НЛЮ. Но дело в том, что гуманоид говорил с колхозником по-украински. Научный комментарий был такой. По данным какой-то ассоциации, до сих пор гуманоиды разговаривали с людьми на 6 языках. Украинский язык стал седьмым. Это вызывает и радость, и горечь. С одной стороны, это несомненная заслуга Руха и всего национального возрождения.

С другой стороны, если бы не московская империя, то, конечно, украинский язык был бы первым или вторым в этом списке. А так до чего дошло! В этом году один НЛО приземлялся в Полтавской области. Так там гуманоид разговаривал по-русски. Это ж надо!

Я было подумал, что это какая-то юмористическая передача, но вслед за этим диктор заговорил о сдаче хлеба.

Через 15 минут стоял я в очереди за пельменями. Стала в очередь и какая-то женщина интеллигентного вида и тут же очень взволнованно стала рассказывать об украиноязычном гуманоиде. Но очередь больше волновала проблема: хватит ли пельменей? И лишь один мужчина сказал: “Я ж то кажу (до сих пор он молчал): закусувати треба”.

Я примерно полмесяца назад послал М.Л.Содину вырезку из статьи газеты “За вільну Україну”, в которой доказывалось: 1) украинцы изобрели первыми колесо; 2) украинцами были некоторые египетские фараоны (пару тысячелетий до н.э.); 3) украинцы изобрели иудаизм, христианство, буддизм и еще много чего. Я просил М.Л. популяризировать эту статью во ФТИНТе как рекорд глупости. До этого я считал таким рекордом одну статью 1948 года в разгар борьбы с низкопоклонством о великом русском ученом И.Канте, который жил и творил в старинном русском городе Калининграде.

Сенсационное сообщение о гуманоиде (его еще раз повторили вечером) заставило меня сомневаться, есть ли у глупости максимум.

23 ноября 1991

Цитирую письмо А.Э.: “Я не могу смириться с перспективой остаться здесь (в США. – *Прим. ред.*) навсегда. Но возвращаться уже некуда. Друзья разъехались. Союза нет. ФТИНТа наверняка тоже скоро не будет”.

Я ему высказал мнение, что ФТИНТ сохранится, возможно, под другим названием типа “Національна академія українських температур імені кардинала Любачивського”, с директором – багаторічним політв’язнем, который ни во что вмешиваться не будет, а будет при всяком случае упоминать, що москалі всі і високі температури тягли до центру, а українцям залишали лише низькі температури и т.д.

15 декабря 1991

В Восточной Украине были массовые случаи фальсификации бюллетеней (выдавали бюллетени, где была вычеркнута фамилия Черновила). На Львовщине Черновил собрал 75% голосов, а Кравчук 11%, что правоверные львовяне восприняли как оскорбление. Я не знаю, является ли это нарушением буквы избирательного закона, но не считаю, что Черновил провел свою

избирательную кампанию совсем чисто. Различные группы поддержки обещали продать пиво тем, кто будет голосовать за Черновила (пиво во Львове – страшный дефицит, наверное, в Харькове тоже). Меня, наивного, очень интересовало, как будут оставлять без пива голосовавших против Черновила; как с тайной выборов. На моем избирательном участке (на других – не знаю) этот вопрос решался просто. На прилавке лежала Библия. Кто хотел пива, клал на нее руку (ничего говорить не требовалось). Я терпеть не могу пива, но в порядке эксперимента положил руку на Библию. Хотя я голосовал за Гриневу, рука моя не отсохла (Вам трудно в это поверить, но этой же правой рукой я пишу это письмо), а Мишка выпил пиво и сказал, что югославское значительно лучше.

Теперь, как это выглядит *снизу*. Расскажу один лишь эпизод. 4 декабря я пошел в мастерскую зашить ботинки. Почему-то во Львове все другие операции делаются так: сдаешь обувь, получаешь квитанцию, через несколько дней забираешь отремонтированную обувь. Но все, что требует зашивки на машине, мастер делает в присутствии заказчика и сам получает деньги. В большинстве мастерских машин нет, и очередь к машине всегда страшная. Я занял ее в 11.30, к перерыву 14.00-15.00 я был уже вторым. Помещение крохотное, в нем сидит за барьером мастер, а по другую сторону барьера стоят человек 20. Во время перерыва кто-то ушел, кто-то неправильно назвал крайнего, словом, возник скандал по вечному философскому вопросу, кто за кем стоял, а кто вообще не стоял. Шум-гам. Вдруг один мужчина говорит: “Та тихше ви! Дайте послухати виступ першого Президента нашої вільної незалежної України”. Как раз по радио передавали выступление Кравчука после присяги. Все оторопели и на 15 секунд затихли. Потом все разом заорали. “Та він за того комуняку Кравчука!”, “Годі, наслухалися комуністичної брехні”, “Кравчук все едно продасть Україну москалям!”, “По його очах видно, що він голосував за Кравчука!” Густой низкий бас: “Чого ви дивитесь? Висмикніть йому ноги з ж...!” Сразу же нашлись активисты, взяли беднягу за шиворот и стали его выталкивать. К ясному указанию, что делать, они не прислушались, то ли были самостийниками “с гуманным лицом”, то ли было слишком тесно для такой операции. А тот нахал ухватился за косяк двери и не выходит, брыкается. Тогда мастер вынул папиросу изо рта и говорит убедительно: “Пане! Виходьте спокійно. Я все едно у комуністичного холуя чоботи зашивати не буду”. И сразу воцарилось общее согласие, какая-то умиротворенность, моментально все разобрались в своей очереди, лишь одна женщина пожалела коммунистического холуя, который был в очереди четвертым.

В обзоре областной печати львовское радио сообщило, что газета “Post-Поступ” (есть такая во Львове) напечатала русско-украинский словарь мата.

Диктор сказал, что это очень ценная инициатива, так как не к лицу в независимом государстве пользоваться иностранным матом. Я эту газету никогда не читал, просто часто вижу в киосках. Но этот номер купить не удалось. А номер за 9 ноября 1991 года львовской газеты “За вільну Україну” я прочитал с большим интересом. Думаю, что хоть в какой-то библиотеке Харькова эта газета есть. Поверьте, Вы не будете жалеть о затраченном времени. Я не могу Вам ее подарить, так как послал этот номер в Израиль. Там на целую газетную страницу простирается статья доктора Святослава Шумского – сокращенный текст статьи, опубликованной еще в 1984 году в какой-то эмигрантской газете в США. Там что ни слово, то перл. В частности, автор доказывает, что Иерусалим и Киото (в Японии) основали украинцы. Иерусалим сначала назывался Рус-Лель (мать руссов), а Киото – искаженное “дочь Киева”. Меня восхитило доказательство того, что японцы происходят от украинцев (их генотип замутили китайцы и монголы): и японцы, и украинцы любят цветущую вишню.

27 января 1992

Я понял из Вашего письма, что у Вас нет марок. Во Львове они тоже дефицитны, так как многие люди вкладывали в них свои обесцененные рубли и купали марки на сотни рублей многими листами, а работники почты – на тысячи рублей. На почтамте стояли колоссальные очереди, становиться в которые было бы безумием. Но я случайно купил без очереди 100 штук 45-копеечных марок, которые львовяне не хотели (или боялись) брать из-за изображенного на них Кремля.

10 февраля 1992

Во Львове 2 февраля Социалистическая партия Украины (кажется, она официально зарегистрирована) пыталась провести митинг, на что получила разрешение от горисполкома. Митинг был разогнан руховцами. Об этом было сообщение в московской “Правде” и в местной прессе. Я там не был, но, судя по прессе и разговорам в очередях, особо жестокого избиения не было. Валили мордой в снег и запихивали снег за шиворот. Слухи о том, что было групповое изнасилование одной, которую затащили в Стрыйский парк, газета “Молода Галичина” назвала смехотворными, поскольку мнимой жертве (нахалка подала заявление в прокуратуру) 48 лет. Победившие руховцы на том месте (у монумента Славы) провели свой митинг. На этом митинге выступил, в частности, не известный мне Павел Чабан, который (цитирую по газете “Высокий Замок”) “зачитал большой перечень фамилий ученых Львовского университета имени И.Франко, которые, по его данным, активно противо-

действовали утверждению независимости Украинского государства, а сегодня продолжают оставаться на ответственных научных должностях”. В списке больше 30 фамилий, в том числе моя.

25 апреля 1992

У нас во Львове начался новый этап переименования улиц. Сейчас разъяснено, что так называемая Отечественная война была схваткой двух оккупационных армий за право оккупировать Украину, а украинцы, служившие в Красной Армии, – квислинговцы и предатели. Если раньше снимали названия с русскими фамилиями (Ватутина, Космодемьянской и др.), то теперь дошла очередь и до украинцев. Улица маршала Рыбалко стала улицей Петлюры, Черняховского – Андрея Мельника и т.д. Улица Сталинградской битвы – Антоновича, и даже улица Мира стала улицей Бандеры. Беда в том, что число переименованных улиц катастрофически сокращается, как нефтяные запасы в Тюмени. А как будем дальше жить? Ведь переименования – это единственная отрасль, в которой наблюдается рост (наряду с преступностью).

Помните, я Вам посылал вырезку со статьей д-ра Святополка Шумского, в которой, в частности, он доказывал, что японцы – потомки украинцев. В киевской еврейской газете “Хадашот”, № 2, 1992 напечатан отрывок из книги иерусалимского профессора Шиллари, посвященный доказательству того, что японцы – потомки евреев. Доказательства не менее убедительные, чем у Шумского. И японские рисовые пирожные мате напоминают еврейскую мацу, и многое другое. Если у лейтенанта Шмидта было слишком много потомков, то у японцев многовато предков. К чести “Хадашот”, газета снабдила отрывок ироничным комментарием (пересказываю по памяти): “Наконец все ясно! Японское экономическое чудо – это же еврейские головы сотворили. А подлые претензии японцев на русские острова – да ведь это происки сионистов!”

26 мая 1992

Мне кажется, что у украинских националистов никогда не было достаточно разумных вождей. То, что они всегда жались к немцам, это можно понять. От ближайших соседей со всех сторон добра они не ждали (совершенно справедливо). То, что ориентация на немцев продолжалась и в 30-е годы, тоже можно понять. ОУН и фашисты были очень идеологически близки (хотя польские фашисты – народове демократы и их военные организации “Вольносьць и неподлеглосць”, “Народове силы збройне” и др. с немецкими фашистами все же не сотрудничали). Но в 20-е и 30-е годы понятие “фашизм” не было таким одиозным. Не говоря о тех странах, где фашисты были у власти, во всех европейских странах за немногими исключениями (Англия,

Швеция и др.) фашистские и полуфашистские партии были достаточно влиятельными и массовыми. Но в 1943 году (в конце) сформировать дивизию СС “Галичина” под командованием вермахта – это мне непонятно. Уже вышла из войны Италия. Уже венгры и финны начали закулисные переговоры с Москвой о сепаратном мире. Никто из серьезных политиков не сомневался, чьей будет победа. А в это время руководители ОУН и митрополит Шептицкий, которого сейчас во Львове изображают святым, – организовала набор в эту дивизию. {Объективная история ОУН и УПА появится нескоро. Н.Покровский писал (цитирую по памяти): “В классовом обществе история не может быть чем-либо иным, как политикой, повернутой в прошлое”. В 30-е годы его за эти слова сурово осуждали, но мне кажется, что в них – сермяжная правда.

27 июля 1992

Посылаю очередные вырезки. К заметке о пикетировании небольшой комментарий. П.Чимерис постоянно публиковал статьи о праве Украины на Иерусалим и о том, что москали заграбастали у потомков украинцев – японцев – Курильские острова. То, что какая-то дама получила по морде, – это типично. Не бывает мероприятия, в котором принимала бы участие Украинская консервативная республиканская партия (партия С.Хмары) или братство УПА, чтобы кому-нибудь не врезали по носу, не вывихнули какую-нибудь конечность и т.п.

Должен сказать, что в 1946 году во Львове мат практически не употреблялся, а на селе вообще таких слов не знали. Самые мощные ругательства были “холера” и “курва”. В смысле мата галичане оказались способными учениками, а на трибуны митингов и на транспаранты пикетов его принесли Хмара, Витович, Яворский и т.п. Передавая их выступления, телевидение выбрасывает такие места, поэтому речь кажется косноязычной, а движения судорожными, как в кинохронике начала века.

23 августа 1992

Сейчас воровство и взяточничество приобрели неслыханный масштаб. В один прекрасный день погасло электричество во всем доме. Оказалось, воры вывинтили все пробки. Крадут мраморные плиты. Полностью “раздели” два фонтана (один перед парком культуры, другой – в Стрыйском парке). Если Вы помните, в моем доме вход и лестница до второго этажа были облицованы мрамором. Уже сняли две плиты. Говорят, что это связано с бурным строительством дач в последние пару лет. Одно время на киосках появились объявления: “Панове злодії, вибачте, але на ніч товар з кіоску забирається”.

В одной газете на целую страницу была дискуссия о том, правильно ли били Б.Вовка, спустив ему штаны. Высшими авторитетами выступали ветераны-бандеровцы. Я узнал, что в УПА 1) три удара палкой было минимальным наказанием; 2) максимальным было 50; 3) штаны спускали только селянам, не сдавшим “контингент” (натуральные поставки в УПА); 4) “воякам УПА” штаны не спускали, так как нельзя унижать борцов за Украину, общий вывод дискуссии: с Б.Вовком поступили гуманно, но, сняв с него штаны, превысили полномочия, так как Вовк тоже борец за Украину.

В короткий период, когда гл. редактором “За вільну Україну” был Чиме-рис, газета опубликовала яро антисемитскую статью “Хто стоїть за кулісами?”, совершенно в духе “Памяти”. Даже рухопослушное общество им. Шолом-Алейхема опубликовало протест. Раньше подобных статей во львовской прессе не было. Львовское телевидение пока черновильцы держат прочно в своих руках.

11 мая 1993

Со мной вечно происходят какие-то непонятные вещи. Сегодня получил на университетский адрес приглашение на международную конференцию “Культура как система духовного производства” в С.-Петербурге 29-30 мая. В приглашении такие слова: “Ваша публичная позиция позволяет думать, что Вы не только исповедуете высокие идеалы человеческой гармонии, но можете отстаивать их”. Упоминание о публичной позиции вызывает у меня неприятное предчувствие грядущего битья. У меня есть знакомая В.К., бывшая соседка по балкону. Я ее знаю с 16 лет, она старше меня на 3 года. Сейчас она во львовских масштабах видный деятель Социалистической партии Украины. Во львовских условиях ее публичная позиция (выступления на митингах и пр.) приводит к тому, что ее минимум дважды в год жестоко избивают, после одного избияния она месяц лежала в больнице. Перечень учредителей конференции я сначала воспринял как розыгрыш, но там подписи, круглые печати и т.п. Вам, возможно, будет любопытно познакомиться с этим списком:

- 1) Гуманистическая партия;
- 2) С.-Петербургский мужской клуб;
- 3) Добровольное общество “Оазис”;
- 4) Духовно-политический союз “Россы”;
- 5) Партия Русской Государственности.

Указаны телефоны и факс. Кто на меня донес? Если станет известно о моих каких-то контактах с партией Русской Государственности, бить будут не кулаками, а чем-нибудь металлическим и тяжелым.

14 июля 1993

Сегодня получил Ваше письмо с перепиской с Кусисом. Все эти материалы произвели на меня огромное впечатление. Должен ли я рассматривать это как частную переписку или могу распространять среди математической общественности? По-моему, эту переписку стоило бы опубликовать, но читатель может смотреть на это как на повесть в письмах, а если смотреть на нее как на вымысел, то она потеряет 90% своего очарования. Интересно, что ответили Кусису. Львовские motherfuckers знали бы, что ответить. Ну, хотя бы, что они не хотят разговаривать с человеком, который не стесняется писать, что И.Е. Репин – most well known Russian painter. Каждому понятно, что Репин – украинец, а тем, кому непонятно, разъяснил академик Голубец. Во-первых, Репин родился на Украине (в Чугуеве), во-вторых, украинская тематика занимает в его творчестве центральное место – “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”, “Вечорниці” и др., причем все они написаны в мажорном тоне. А там, где москаль, тон минорный, колорит бледный, пафос разоблачительный (“Бурлаки на Волге”, “Иван Грозный убивает своего сына”, “Крестный ход” и др.) Главный довод: Репин – хороший человек, а москаль таковым быть не может. Акад. Голубец доказал также, что П.И.Чайковский и А.П.Чехов – украинцы. Например, А.П. писал издателю одной киевской газеты, мол, я охотно помещу свой рассказ в Вашей газете, ведь в моих жилах течет и малороссийская кровь. Целый институт народоведения работает под руководством Голубца в этом направлении.

Посылаю некоторые вырезки. К интервью Н.Горыня хочу сделать такое примечание. Он явно лукавит, когда говорит, что для галичан фашисты (немцы) и коммунисты (русские) равны. На самом деле симметрии нет: все симпатии отданы немцам. Черняховский, Тимошенко, Рыбалко, Лелюшенко – коллаборационисты и предатели. А руководители дивизии СС “Галичина” – национальные герои. Самый светлый период в истории Львова – годы гитлеровской оккупации. В университете прошел тематический вечер “Літературно-мистецьке життя у м. Львові в роки війни 1941-1944 років”. Газета “Высокий Замок” (самая умеренная среди львовских газет) пишет: “У Львові 1941-44 років вирувало літературно-мистецьке життя: видавалися газети, твори поетів і письменників, працювали театри, вар’єте...”

24 июня 1996

Теперь несколько штрихов к положению во Львовском университете и шире. С конца апреля развернулась борьба за выплату зарплаты. Нам не платили зарплату, а студентам стипендию уже два месяца. Отдельные факультеты (например, химики) бастовали уже в апреле. 13 мая была одноднев-

ная забастовка в университете. Власти боятся, когда студенты выходят на улицы, а забастовка “на рабочих местах” никого не беспокоит. Наконец на 28 мая была назначена всеукраинская забастовка (бессрочная). Тогда 23.05 выдали зарплаты и стипендии за март и апрель. За май и июнь не платят до сих пор.

Ответственные лица выдвигают различные проекты. Например, задолженность положить на сберкнижки и запретить снимать до особого распоряжения. Или расплатиться красивыми бумажками почти неопикуемой красоты (называются сертификатами), которые можно обменять на бумажки совершенно неопикуемой красоты (называются акциями), на которые выплачиваются дивиденды. Я уже проделал этот путь с “майновим сертификатом” и получил первые дивиденды в размере полдоллара в месяц. Другие сотрудники кафедры, услыхав про такое, облизываются против часовой стрелки, так как они получили раз в 5 меньше или совсем никаких дивидендов не получили.

Я, однако, всех призываю радоваться, так как теперь мы все же выдерживаем два месяца без зарплаты, а два года назад я лично и трехдневной задержки зарплаты не выдержал бы.

Если же посмотреть со стороны, то на кафедре идет сплошной пир. В любое время суток можно выпить и закусить. Один из факторов (не главный, но важный) – переход на сессионную систему специализированного ученого совета. Дело в том, что в наш совет входят люди из Черновцов, Тернополя, Ровно и Луцка. Так как им командировки и пр. не оплачивают, то они перестали приезжать, и систематически не было кворума. Тогда М.Н.Шеремета решил все защиты за семестр сосредоточить на одной неделе, а оплату возложить на диссертантов. В результате идет сплошной банкет. Львовяне хоть работают первую половину дня, а приезжие с предыдущего банкета тянут сумки с бутылками и приходят за пару часов до защиты, с трудом сохраняя равновесие и пугая первокурсниц. Апогей был 19.04. После Б.В.Винницкого защищала кандидатскую Сусь. Вдруг во время выступления оппонента В.К.Маслюченко из Черновиц своим мощным голосом завел песню: “Ой, як москалі нашу Січ руйнували...” Правда, его тут же вывели из зала. За день до этого один из оппонентов прореагировал на выступление В.Я.Скоробогатько громкими словами: “Это всё херня”. М.Н.Шеремета сделал ему замечание, что как оппонент он не имеет права принимать участие в дискуссии. Тот повторил слова Галилея: “Подчиняюсь, но все же это всё херня”.

Ну, теперь мне, пожалуй осталось просветить Вас относительно Чупрынки. В 1940 году немцы на территории Польши сформировали из украинских националистов два батальона – “Нахтигаль” и “Ролланд”. “Нахтигальем” стал командовать свежий выпускник школы абвера Роман Шухевич. В июне 1941

года “Нахтигаль” вместе с немцами вошел во Львов и для затравки расстрелял 28 польских профессоров и убил 5000 евреев. 30 июня 1941 года Я.Стецько сформировал во Львове украинское правительство и провозгласил независимость Украины. “Нахтигаль” присягнул этому правительству. Но уже в июле 1941 года немцы разогнали правительство Я.Стецько, а “Нахтигаль” перевели в Белоруссию в качестве карательной части. Есть версия, что Хатынь – дело рук “Нахтигалья”, но эту честь оспаривает “Ролланд”.

30 апреля 1997

В журнале “Українська культура” № 1 за 1997 год появилась статья какого-то кандидата исторических наук, в которой доказывается, что Христофор Колумб был украинцем. Доказательство: “Колумб” португальцы произносят как “Колом”. Ясно, что это Коломыя. Открывателя Америки зовут Христофор Коломыец. Колумбию следует переименовать в Коломыйщину. а Колумбийский округ в Коломыйский. Самое главное, все страны Северной и Южной Америки должны отдать Украине 130 тонн золота. На всех вместе это немного. Помощника Колумба звали Хуан де Коса. Каждому ясно, что это Иван Козак. Должен сказать, что в журнале “Українська культура” вообще нет страничек юмора.

* * *

22 сентября 1997

Как видите, пишу Вам из Израиля. О том, как проходило путешествие, я написал по свежим следам, а затем сиял ксерокопию.

У меня до сих пор было два дела. Первое – это ходить по разным канцеляриям и конторам. С советскими и украинскими бюрократами мы сталкивались всю жизнь и вроде бы закалены. Но они грудные младенцы по сравнению с израильскими. Во Львове, к примеру, требовалась справка о том, что квартира не подключена к сигнализации, а если подключена, то нет задолженности. Бодрым шагом идешь в милицию в указанный кабинет, там записывают все данные и говорят: “Приходите завтра после обеда”. Приходишь, а тебя ждет справочка с печатями и подписями. Всего-то и делов!

Здесь же действуют по принципу: “Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что”. Типичная фраза: “Попробуйте обратиться туда-то”. У меня были особые трудности, так как Марик недееспособен, а тетя полуслепая. Одна она идти никуда не может, а подписывается с большим трудом с посторонней помощью. Марика одного оставить нельзя. Картина такая: мы идем втроем, Марика я удерживаю с трудом, так как он рвется вперед, а тетя сильно отстает, так как не видит и ощупывает ногой осторожно дорогу. Вот требуется открыть

счет на Марика в банке (наличными никаких пособий не дают, лишь переводят на счет). Ни в одном банке открывать счет не хотят. Они бы с удовольствием, если бы подписывался я по доверенности Мирика. Так доверенность не заверяют. Где я только не был! Потратил на адвокатов 490 шекелей (около 160 долларов), придумывали разные хитроумные ходы и т.д. Эффект нулевой. Но вот в одной канцелярии одна добрая душа посоветовала обратиться в один захолустный банк, где без всяких бумаг с красивыми израильскими печатями и даже без львовской справки о том, что я опекун Марика, открыли счет с подписью самого Марика, то есть я водил его рукой и начертил “Го”.

Вторая проблема – язык. Я занимаюсь в среднем 4 часа ежедневно, а мой учитель Витя говорит, что если не удвоить эту норму, то толку не будет. Иврит – язык как язык, но письменность ужасная. Сначала надо знать слово, а потом угадать, что это именно оно написано. Так что, читая вывески, пополнить свой запас слов невозможно. Гласные пропускаются. Вероятно, это происки вредителей и врагов.

Правдивое описание походов А.А.Гольдберга на трассе Львов – Нетания, сопровождаемое глубокими размышлениями и поучительными рассуждениями, написанное таковым собственноручно в твердой памяти и не вполне здравом рассудке

Я не имею возможности написать письмо каждому, кому я обещал это сделать, отдельно. Поэтому я надеюсь, что каждый адресат выберет из этого длинного “Описания” те фрагменты, которые его интересуют, с облегчением опуская остальной текст.

Выехали мы из Львова 19.08 и поездом поехали в Одессу. Собирались мы во все ускорявшемся темпе последние три часа, лихорадочно раздавая разные вещи и продукты знакомым. На вокзал выехали на четырех легковых машинах с семьей сопровождающими. До позднего вечера вспоминали, что мы забыли или не успели раздать, и с особой признательностью думали о тех, кто помог нам избавиться от разнообразных вещей. В Одессе нас на вокзале встретили 1) доцент ХГУ В.Г.Таирова, которая специально для этого приехала из Харькова, 2) три волонтера из “Эвен-Эзера”, которые на микроавтобусе повезли нас на базу в профилактории завода “Стальканат”. Теперь надо объяснить, что такое “Эвен-Эзер”. Лучшее всего я просто приведу цитаты из рекламной листовки: “Эвен-Эзер” – Фонд Экстренной помощи – международная христианская организация, которая помогает еврейскому народу возвращаться домой из республик бывшего Советского Союза”.

Мы встретились на теплоходе с основателем и руководителем этого фонда, швейцарским немцем Густавом и его женой Эльзой (к своему стыду, я

забыл фамилию благодетеля). По его словам, до 1982 года он успешно занимался бизнесом и был счастлив в семейной жизни. Но потом решил, что надо позаботиться о духовности, если употребить термин, модный сейчас в СНГ. Он поступил в библейскую школу США и все время думал, как бы ему половчее исполнить волю божью. Два места из Библии открыли ему глаза:

“Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я возвращу из плена народ Мой, Израйля и Иуду, говорит Господь; и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею” (Иеремия, 30:3).

“И взял Самуил один камень и поставил между Масифою и между Стеном, и назвал его Эвен-Эзер (Камень Помощи), сказав: до этого места помог нам Господь” (1 Царств, 7:12).

Он подробно рассказал, как организовал выезд евреев, какие препятствия ему чинили в СССР и в Украине, пока он не достиг взаимопонимания с новым руководством Черноморского пароходства. Наш рейс был 58-й.

Из рекламы:

“Любящие еврейский народ волонтеры (добровольцы) из разных стран мира специально оставили свои семьи, работу, любимые занятия и приехали, чтобы оказать вам практическую помощь.

Уют и теплая дружеская атмосфера на теплоходе оставят у вас незабываемые впечатления.

Все приготовлено специально для вас, чтобы это путешествие запомнилось вам навсегда. Совершая свою алию на теплоходе, вы не имеете никакого долга ни в какой стране, это подарок вам от христиан всего мира”.

То, что написано выше, – сушая правда, хотя упоминание о еврейском народе несколько преувеличенное. В списках выезжающих на ПМЖ моя фамилия выглядела довольно экзотично. Преобладали Антоненки, Романчуки, Костенки, Алейниковы, Глушаковы и т.д. Была даже семья из шести Притул.

Управляли нами волонтеры “Эвен-Эзера” с начальницей по имени Ширли из Южной Африки, которая сносно говорила по-русски. Еще один негр прекрасно говорил по-русски и служил переводчиком для товарищей, которые знали только английский. Например, Джон из США по-русски говорил только “Приветик!” всем людям и во всех ситуациях. Были также добровольцы с Украины, но немного. Зато они несли главную идеологическую нагрузку, читая почти все проповеди. Явка на проповеди была добровольной, но объявлялось очередное собрание, пришедшие слушали проповедь и часто маленький концерт, после этого минут 10 была полезная информация, связанная с выездом. На меня большое впечатление произвело выступление религиозной бригады из Херсона, которая инсценировала исход евреев из Египта. Моисей был одет как дед Мороз, только усы, бороду и край шубы выкрасили

в черный цвет. Фараон носил головной убор, не знаю, как он называется, исполняющий роль короны. В остальном он был одет по-современному и сидел на троне в джинсах. Моисей бессовестно забывал текст, а фараон подсказывал ему, с каким вопросом он должен был к нему обратиться.

По законам жанра я должен был бы описать те чувства, которые переполняли меня, когда я смотрел на удаляющийся украинский берег. Но я обязался быть абсолютно правдивым. Отплытия я не видел, так как 1) было уже совсем темно; 2) мы в этот момент сидели в корабельном ресторане, поскольку не хотели пропустить ужин. Точно так же мы пропустили момент, когда на горизонте показался Израиль и корабль вошел в Хайфский порт. Мы в это время складывали вещи в каюте и сдавали белье. Зато Стамбул видели во всей красе, так как по Босфору плыли целый день. В основном Стамбул застроен веселенькими домами с черепичной красной крышей, но довольно однообразно.

В ресторане с нами за одним столиком сидел четвертым киевлянин – профессиональный паломник с хорошим чувством юмора. Например, он рассказывал, как в прошлом году совершил паломничество на гору Афон в Греции. Подъем настолько крут, что автомобили не могут взобраться, и паломникам предоставляют ослов и вооружают заостренной палкой на случай, если ослы заупрямятся. Но таких случаев не бывало: “Годують їх добре, на десерт дають динь (дынь) досхочу (сколько хочешь). Сам бачив. Де ж вони ще знайдуть таку роботу?”

В Хайфу теплоход пришел с 4-часовым опозданием. Меня должен был встречать Миша, он приехал туда в 7 часов утра, ждал-ждал и уехал, так как в 2 часа дня должен был быть на работе. Так что нас никто не встретил. Тоже были трудности, тем более что я не знал адреса квартиры, которую для меня сняли. Но добрались.

Теперь израильские впечатления. Очень беглые, так как я в стране всего четыре дня, хотя уже проехал на автобусе сотни километров. Большинство городов, которые я видел (Тель-Авив в том числе) никакой архитектуры не имеют, ни хорошей, ни плохой. Просто кубики, раскрашенные в разные цвета, а в этих кубиках – очень хорошие квартиры. Мы от своей квартиры в восторге. Правда, нам говорят, что мы за нее не сможем расплатиться (платим хозяину 540 долларов ежемесячно + плата за газ, телефон и т.д.), даже если я найду работу. Посмотрим. В смысле архитектуры Нетания, где мы будем жить, так же как Герцлия, составляет приятное исключение. Очень красивые города. Во Львове я не мог нормально спать, так как должен был запастись водой, которая появлялась только ночью в разное время. Здесь вода (горячая и холодная) в любое время, но очень противная: сильный запах

хлорки. Так что сначала я не понимал, как можно есть из посуды, помытой такой водой, не то что пить ее. Но скоро привык.

Если сравнивать украинские цены с израильскими посредством перевода в доллары, то тут продукты дороже львовских раза в 3, а молочные раз в 5. Но если сравнивать с зарплатой, то здесь все, кроме кока-колы, минеральной воды и т.п. существенно дешевле. Оказалось, что я переношу жару легче, чем Витя, который в Израиле уже 6 лет. Конечно, не ношу носков и майки (тут никто их не носит) и хожу в шортах, как большинство здешних мужчин (сроду их не носил!). Опять-таки я не пробовал долго быть на улице, так как хожу по делам, а во всех магазинах, конторах, автобусах работают кондиционеры. Окна не застеклены, жалюзи всегда открыты и по квартире гуляют сквозняки, очень приятные. Есть еще застекленные рамы, которые передвигаются по горизонтالي на колесиках. Щели такие, что зимой должно быть холодно. Когда мне раньше писали об этом, я не понимал, почему. На этом кончаю.

9 ноября 1997

Пишу это письмо на обороте двух ксерокопий не потому, что в Израиле бумажный кризис. В различных юбилейных адресах и юбилейных статьях, посвященных моей особе, всегда присутствует фраза о том, что я – хороший рассказчик. Я это понимаю как вежливую форму фразы: “Заливает и любит заливать”. Поэтому я не могу пропустить возможность документально подтвердить мою безупречную правдивость. Итак, пересылают мне из Львова письмо из государства Того в Западной Африке (ксерокопия конверта на обороте). В нем письмо из Нигерии (на обороте стр. 2) Простой подсчет показывает, что мне ни за что ни про что предлагают 4500000 американских долларов. Примерно 6 часов мы строили планы, как распорядиться этими миллионами долларов. Особенно изобретателен был Витя. Вот некоторые из его проектов. 1. Построить два дома в разных концах Нетании и соединить их подземным скоростным трамваем. 2. Купить участок земли возле Нетании и засадить его ежевикой. Я разрешил Асе Борисовне позвонить в Нигерию, но не давать информацию, которую мой друг Хамид просит. Она звонила дважды, но в Лагосе никто не брал трубку. М.Л. рассказал мне, что читал о каких-то жуликах в Нигерии в ивритских газетах, но механизм этого жульничества мне понятно не объяснил.

Вы спрашиваете, сколько раз меня “обхамили чиновники в Израиле”. Я могу ответить только на более узкий вопрос: “Сколько раз обхамили на русском языке”. Ни разу. Один раз крупно обхамил семейный врач, но вроде бы врачи к чиновникам не относятся. Дважды мне читали нравоучения, но я не

думаю, что это относится к хамству. Поскольку Вы изучаете этот вопрос, я перечислю эти случаи.

а) В полиции мне выдавали паспорт. Там есть отдельный сектор, где умеют говорить по-русски. Шел я туда в третий раз (2 раза мне говорили, что не хватает каких-то справок). Сидела пожилая польская еврейка, которая жила во Львове до 1938 года. Она мне выдала паспорт (вернее, заполнила все бумаги, а паспорт присылают по почте). Я осмелел и сказал, что у меня с Мариком проблемы. Она сказала: “Приводите его. У меня все подписываются”. Я помчался домой, привел Марика, и тут, конечно, обнаружилось, что он и ручки в руках держать не умеет. Я его рукой вывел “ГО”, и это сошло как подпись. Вдруг она мне говорит: “Вы – плохой отец. Вы – никудышный отец. Я сейчас занята, а то бы я пошла к начальнику и наше управление возбудило бы в суде дело о лишении Вас отцовства. Как так за 38 лет вы не научили сына подписываться? Один год учили бы писать черточку, второй год – “Г” и т.д. Через 10 лет он бы подписывался, потом научился бы читать, стал бы читать газеты, интересоваться политикой. Это был бы совсем другой человек”. Я не стал с ней спорить. Уверен, что если бы не она, то Марик получил бы паспорт не раньше чем через год.

б) Второй случай. Пытался я записаться к “социальному работнику” Змире Тауб. Она принимает 2 раза в неделю, на прием надо записаться примерно за 2 месяца. Я стал искать, где записаться. Со мной был Витя, так что языковых трудностей не было. Мы ходили от стола к столу, и всюду надо было объяснять, зачем нам нужна Змира Тауб. К слову, я до сих пор на очередь не записался (запись тоже в определенные часы и дни). Но во время нашего похода одна из женщин (№ 1) указала на другую женщину (№ 2). Я спросил Витю: “Надо идти к 1-ой женщине в оранжевой кофте?” Вдруг женщина № 1 сказала на плохом русском: “Вы все из России дикие люди. Вас не воспитывали. Культурный человек скажет “дама в оранжевой кофте”. Но я не в обиде, так как дама нам посоветовала идти в банк “Адоар” (почтовый), у которого малая клиентура, и действительно, там нам открыли счет на Марика. А уважаемые банки отказывались.

Об очередях в Израиле. В медицинском мире это правило. Тете 23.11 будут делать операцию (снимать катаракту). Она стала на очередь 28.10. Где-то в середине сентября я записал Марика на прием к психиатру на 12.11. Очереди здесь бывают многочасовые, но очень цивилизованные. Имеется барабан с бумажной лентой. Ты отрываешь номерок. На табло светится номер очереди, которая идет. Если пропустишь свою очередь, начинай сначала. Когда я в первый раз пришел в полицию, мой номер был, скажем, 700, а на табло светилось 500. Я подумал: 200 человек они за час не пропустят. Можно час

смело заниматься другими делами”. Когда я пришел через час, светилось 705. Конечно, меня не пустили. Теперь я, рассчитывая время, знаю, что около трети не приходят. Далее, в очереди здесь не стоят, а сидят. Я не встречал ситуации, чтобы негде было сесть.

А вот настоящее издевательство над людьми я увидел в израильском консульстве в Киеве, где я в страшной тесноте провел на ногах с 8.00 до 17.00. У меня от этого консульства остались незабываемые впечатления, так что я, если пожелаете, могу описать подробно и через 10 лет, если буду жив.

1 мая 1998

Завтра будет 8 месяцев, как мы живем в Израиле. С погодой нам везло: зима не такая холодная, как обычно, осень не такая жаркая и т.д. Но в апреле было 10 дней хамсина (ветер из Аравии), которые я запомню. Это не первый хамсин за наше пребывание здесь, но такой жары, как в этом году, согласно газетам не было 35 лет. В Нетании в тени было 42С, на солнце 70С. Я развешивал белье после стирки, когда кончил, сразу стал снимать: повешенное сначала уже высохло. Благо все эти 10 дней пришлось на еврейскую Пасху и во всех учебных заведениях, в том числе и в ульпане, были каникулы. Я спал и дремал не менее 15 часов в сутки. “Слеза из глаз у самого, жара с ума сводила”, как точно описал В.Маяковский.

Между прочим, Вы спрашивали насчет хамства в Израиле. На иврите “хам” – это “жара”, а “хамло” – “ему жарко”.

“Я ЖИЛ В ЭПОХУ ЛОШАДЕЙ...”

Марк Богославский

* * *

Я жил в эпоху лошадей.
Я помню эру паровозов,
Державный шаг больших идей
По камню звонких площадей
И – героические слезы!

История тяжелым шагом,
Солдатским ровным шагом шла
По улицам и по оврагам
Сквозь наши души и тела.

Глухими зимними ночами
Смерть нас не видела в упор.
Мои природные начала
Вели со мной упрямый спор.

И сердце еле слышно билось
И вдруг пускалось в дикий пляс.
Я минус умножал на минус
И получал желанный плюс!

У исторических задач
Головоломная природа:
Эпохе надобен палач,
Кнутом терзающий свободу!

Эпоха на меня давила
И загоняла в угол – но
Не погребла меня лавина,
И не легла душа на дно.

И жернова ума мололи
Обид упрямое зерно,
И стали все обиды-боли
Мукою мудрости давно.

Ах, мудрость! Ты не без изъяна.
Ты хуже тупости и лжи.
В незаживающую рану
Всадила ржавые ножи.

СВЯТАЯ БЛУДНИЦА

Эта женщина с кошачьими жестами,
С шеей гусыни и рыбьей улыбкой,
Случалось, ступала величаво-торжественно, –
И тогда ее личико
Становилось иконописным ликом.

Хотя мужиков у нее бывало навалом,
Но каждое воскресенье
Она посещала церковь.
Поэтому улица ее именovala
Святой стервой.

Молясь, она поднимала очи горе,
И щеки ее покрывались ангельским румянцем.
И она казалась
Притчей о наивном добре,
Приглашенном тварным злом
На бесовские танцы.

Мужики,
Те просто сходили с ума,

Когда, истово помолившись перед соитием,
Тело свое предлагала им она
Как некое космическое событие.

Она не с телесностью вашей общалась —
С небесным светом и тайною тайн!
Оттого и даровали вам небесное счастье
Ее неземные уста.

Боже мой, как прекрасны
Эти точеного мрамора плечи!
Неужели Господь сотворил их во имя оргазма,
Который святой молитвой просвечен?

Купчишки, ремесленники и дворянчики
Не ведали, что творится с их телесностью,
Когда она, молодая, сильная, горячая,
Вела их вверх — по любовной лестнице.

И вдруг, в глубокий обморок впадши, —
Как будто с тайной небытия лукавая, —
Срывалась вниз,
Через лестничные площадки и марши
Возлюбленного за собой увлекая.

Она ему выдавала
Не ласки заученно дешевые,
Не актерские судороги продажного тела:
Единственного возлюбленного
Материнским шепотом
Она утешала
И жалела, жалела.

Она его знакомила
Со сладчайшей смертью,
Ссорила с ней и опять мирила.
И смеялся от счастья космический ветер:
Мария!
Мария!
Ма-а-ри-и-и-я!

Марк Вейцман

* * *

Рыженький мальчик, краснеющий
от мимолетного взгляда,
папа, в неверьи коснеющий,
чтоб не отбиться от стада,

мама с романом Ажаева
в меланхолической позе,
запах трески пережаренной,
купленной в долг на Привозе...

К склону холма поселение
лепится круглой кипюю,
с детства его население
ладит с природой скупюю.

В скалах, ветрами израненных,
маков кровавые сгустки –
место, где с Б-гом Израиля
стыдно общаться по-русски.

Что же в домишке, приближенном
к звёздам, на облачном кряже
бывшему мальчику рыжему
снятся одесские пляжи?

УЛИЦА СОКОЛОВ

На улице Соколов – не Соколов! –
который был Нахум – отнюдь не Наум! –
пора б от галутных избавиться слов,
которые нагло приходят на ум.

Я жил на Шевченко, я жил на Франко,
с Болваном Хмельницким мирился легко,

когда он, играя своей булавой,
Москву подбивал на контакт половой.

Нет, Соколов Нахум ему не чета,
мелодию жизни играл он с листа,
маскиль, публицист, сионист, полиглот,
он многое видел и знал наперед.

На улицу эту гляжу из окна,
она грязновата и слишком шумна,
но, к счастью, ее пересечь не дано
проспекту Петлюры, бульвару Махно...

* * *

Вы пишете все больше о погоде,
грибов и ягод сборе на природе,
заботах о кормильце-огороде,
впитавшихся вам с детства в кровь и плоть.
А здесь труды подобные не в моде,
сограждане резвятся на свободе,
к овощеводству тяги нет в народе,
не надобно ни сеять, ни полоть.

Какие суховеи да бореи!
Здесь акции в чести да лотереи,
тем более что ломаются прилавки
от овощей и фруктов круглый год.
Испания и Мальта где-то рядом,
и все, что нужно, вам доставят на дом,
а ваше дело лишь башкой иль задом
добыть поболе шекелей и льгот.

Какой же смысл, скажите, ради Б-га,
припоминать в предчувствии итога,
как в тропку вырождается дорога
меж ягодных полянок и грибных?
Под зыбкой сенью финиковой пальмы
реалии сии неактуальны,
нелепы, разрушительны, печальны,
но – что они без нас, а мы без них?

ОН

*“И многие из них преткнутся и упадут,
И разобьются, и запутаются в сети,
и будут уловлены...”*

Книга пророка Исаяи

Он прятался в келье. В глубоком лесу
Его запеленговали.
Взревели моторы в десятом часу,
С небес вертолеты пали.

Приказ был короток: взять живым.
Деликатнейшая из операций.
Над вечерним кордоном лесным
Слышно дыхание раций.

Келья слабо освещена.
Дверь широко открыта.
Некто молится у окна
С истовостью неопита.

Ждали конца молитвы, сняв
Голубые свои береты.
Вглядывались в лицо, уняв
Дрожь, сопоставляя приметы.

Он? Да-да, конечно, он!..
Посланники разных конфессий
Опускаются на колени, как в сон,
Сыновья агрессий...

Он кончил молиться и вышел в лесной
Вечер: – Чего вы хотите, дети?..
И закричали наперебой
Камуфляжники эти:

– Ты наш! – кричал один из них.
– Нет, наш! – кричал другой.
– Как бы не так! – кричал третий.
Четвертый притих,
Но калился вольтовой дугой.

Мессия молчал, опустив глаза,
Что-то перебирая в уме.
В бороду зримо скатилась слеза,
И он растворился во тьме...

ПЕСЕНКА ЗА БУГРОМ

Рыбаки на Средиземном берегу,
Их катушки, их ловушки не в дугу.
Обозвали коммунистом
Рыбку бедную одну,
Что колюча и костиста –
Ей поставили в вину.

“А моя вина
Поднялась со дна,
И болит и колет,
Солью сердце солит...”

Эту песенку рыбак
Потихоньку свищет,
То ли этак, то ли так
Смерть свою отыщет.
То ли с ним умрет вина,
То ли вдруг простится,
То ль – не дай-те Бог – она
Внукам отомстится...

Коммунистом обозвали
Ту рыбешку под балду,
Изловили, обваляли,
Шварк в сковороду!..

СОВЕРШЕНСТВО

Стань, слово, деревом,
стань камнем на дороге,
чтоб, выбравшись из хрупкого яйца,
живой мураш
смотрел бы не на ноги,
а мне в глаза – на уровне лица.

Чтоб он ко мне
пробрался из корней
По стеблю слов,
искрящихся, как ртуть...
Я помогу,
я встану на колени,
чтобы в упор
в глаза его взглянуть.

ОДИНОЧЕСТВО

Я один здесь
стою во весь рост.
Слышу ветра свистящего
шелк.
Я один,
и ни Солнца,
ни звезд.
Прикоснулся к себе –
не нашел...

* * *

На тундру пал покой,
зажглись огни сиянья.
Таинственно свечение в ночи.
И на глазах

рождаются сказания,
Все просто,
словно хлеб пекут в печи.

Над чумом сон плывет
дымком от печки,
Оленьи перепутались рога...
А мы,
глупцы,
здесь просто человечки,
Которых тундра
балует
слегка.

Александр Селицкий

* * *

На кабаке написано “кабак”,
и это удивительно приятно,
поскольку мне давно осточертело
кабак звать рестораном, шлюху – дамой,
базар – парламентом. Ура! И так,
на кабаке написано – кабак!
Написано. Да только на картине,
висящей в мертвой тишине музея,
написано сто лет тому назад...

* * *

Спит собака. Даже с храпом.
Морда спрятана за шкапом.
Рыжий хвост торчит, однако,
вместо знака: тут собака.
Пес щенком прижился в доме.
Хвост крючком и нос в соломе,
и на целый Ханаан
он – единственный Степан.

Монахи швыряют монеты,
Господь рассыпает таланты.
Не жди справедливости. В этом
нет правых и нет виноватых:
достанутся деньги подонку,
достанется гений холопу,
песок и пустыня – потоку,
а город и люди – потопу,
и мир не качнется. Не рухнет.
Все так и не будет иначе
на этой бушующей кухне
удачи, удачи, удачи...

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Петр Кременчугский

“КАКАЯ ВСТРЕЧА!”, ИЛИ БЕНЯ БРУК

Теплоход стоял на рейде в Хайфском морском порту. Пассажирам пояснили, что швартовка непосредственно к пассажирскому причалу произойдет не ранее, чем через два часа, и потому все занимались своими делами: кто читал, кто отдыхал в шезлонгах, а кто просто беседовал. Довольно большая группа пассажиров внимательно слушала человека лет семидесяти. Седовласый, коренастый, крепкого сложения человек сидел в плетеном кресле, положив одну ногу на тросточку и увлеченно о чем-то рассказывал:

– Да, так вот я говорю, что на все воля Божья, хотя я и атеист. Вот этот человек, вот этот “лангер локш”, так он мне говорит, или вернее, спрашивает – почему я не поехал в Германию, а поехал в Израиль. Между прочим, этот “лангер локш” – мой сосед, он тоже жил на Петра Великого, и мы его там тоже так называли. И знаете почему? Его фамилия Лангер. Миля Лангер, вы понимаете? Вы же видите, что он в самом деле длинный. К тому же еще и “миля”. А морская миля – это почти два километра. Но он не только длинный сам – у него еще и язык ужасно длинный. То он меня достает с этой Германией, то он, встретив меня на Новом рынке, кричит на весь базар: “Какая встреча! Какая встреча! Кого я вижу? Сам Беня Брук идет!” Хотя он прекрасно знает, что моя фамилия Залкинд, именно Зал-кинд, Беня Залкинд, а не Беня Брук. Вообще-то это история старая.

Слушайте – я демобилизовался из армии и имел десять классов, перебитую немцами ногу и специальность портного, которую я получил в наследство от моего папы, то есть моего дедушки. И все они, а потом и я, жили на одном и том же месте, в доме номер девять по улице Петра Великого, в самом красивом городе нашей страны, а может быть, даже и мира. Как в каком городе? Вы еще спрашиваете, в каком городе? Вы не знаете, какой город был самый красивый в нашей стране, а может быть, и во всем мире? Мне вас жалко...

Какой Харьков? Какой Киев? Какая Винница? Слушайте, может быть, вы еще сравните Жмеринку с Парижем только потому, что и там, и там есть буква “ж”? Нет, это полный абсурд! Да, да, да! Дамочка в беретке, вы совершенно правы! Я, конечно же, жил в Одессе! Да, идем дальше. Вот тут, с Милькой Лангером мы жили, а прямо напротив находился цирк. А если влево и прямо, через сто метров – тот самый Новый рынок, на котором “лангер локш”, то есть, простите, Милька Лангер орал, как потерпевший: “Какая встреча! Сам Бенья Брук идет!” Причем кричал он не только на базаре: где бы он меня ни встретил, везде кричал то же самое. Главное заключалось в том, что он называл меня “Бенья Брук”. А почему так, а не иначе? На это были причины. Так вы ж дайте мне договорить... Да, так вот, я демобилизовался, походил по институтам, и не успел принять какого-нибудь решения, как мне подвернулась вот эта красавица Лизанька. Где ты? А, вон она сидит... Ну, отдыхай, отдыхай, сейчас закончу и займусь тобой! Да, так о чем я? Ага, пошли дальше. Да, не успели мы с Лизанькой пять раз поцеловаться, как она выдала мне Аллу. Да, первая наша дочка была Аллочка, пусть она будет нам здорова вместе с детьми и своим мужем “лангер локшем”, извините, Милькой Лангером. Что? Я вам не сказал, что Лангер – мой зять? Извините, извините, потому-то я его и терплю вместе с его шуточками. Да, так вот: родилась Аллочка, и расходы увеличились.

Я, конечно же, перестал думать про институт, а стал думать про заработки. Еще до рождения ребенка я начал шить. О! Чего я только не шил! Но в основном я занимался бруками. Почему? Смотрите, сначала была мода одна – я снизу расширял; потом стала мода другая – я стал снизу заужать. Один хотел убрать манжеты, другой хотел приделать манжеты. Один хотел широкий пояс, чуть ли не до груди, другой хотел, чтоб пояс еле сидел на его тощих бедрах. Что? Н-е-е, я много не брал. Десять-пятнадцать рублей, в зависимости от внешнего вида и предполагаемого заработка клиента. Между прочим, Милька тоже пришел переделывать бруки. Длинный, тощий, худой и голодный. Пришел как электрик, а остался как зять. Но не в этом суть. Суть в том, что меня в принципе никто не трогал и никто не обижал. Ни там, милиция, ни там, санэпидстанция, ни пожарная команда. А в финотделе мне, как инвалиду, дали маленький налог – и все. Однажды я решил: такой знаменитый бручник, как я, должен иметь вывеску. Маленькую, скромную, но вывеску. И сколько я ни просил Аллочку и Мильку – им все было некогда. Тогда я взял картонку от обувной коробки и черными чернилами стал выводить надпись. Каллиграфия у меня всегда была та еще. В первой строчке крупными буквами я написал “ПОРТНОЙ”, а во второй строчке, более мелкими, написал “Бенья Брук”. То есть на полное слово “БРУКИ” – меня не хватило. Вернее, не хватило

места для буквы “И”. Кроме того, и мой папа, и я всегда говорили “бруки”, а не как-нибудь иначе. Я думаю, что это понятно? Так, идем дальше. Я хотел, чтобы было понятно, что портной Беня шьет бруки, а получилось, что - портной Беня Брук. Переделывать вывеску я не стал: кому надо, тот и так поймет. А вот “лангер локш” везде и всюду стал кричать, мол, Беня Брук. Мало этого, так приходит однажды молодая фининспекторша, новенькая и говорит мне, мол, гражданин Брук, надо пойти в финотдел, заполнить декларацию и так далее... Я ей сую под нос свои бумаги, а она мне, мол, здесь же, мол, Беня Залкинд, а вы Беня Брук... В общем, пока утряслось, так они у меня пять кило крови выпили. Я в это время должен был сильно много другой жидкости выпить, чтобы компенсировать потерю крови. Короче говоря, в общем и в целом, мне хватало и на семью, и на компенсацию. И чем больше старалась моя Лизанька, пусть она будет жива и здорова! – тем больше я работал. В каком смысле старалась? Как, вы еще не поняли? Сразу же после Аллы через год появилась Мэлла. Ровно через год к нам пришла Стэлла. А уже в самом конце, правда, тоже через год, мы получили Нэллу. Что получилось, вы спрашиваете? Хорошо получилось, говорю я: Алла, Мэлла, Стэлла и Нэлла. Четыре дочери, четыре матери, четыре красивые, полные, розовощекие и черноволосые девочки, у которых, у каждой, по две таких же красивых девочки. А? Здорово? А я что говорю?

Так что, я должен был все это богатство везти в Германию? “Лангер локш” говорит, что я мог там шить свои бруки. А я ему говорю, что они убили дедушку Лейб-Сруля, с одной стороны, да еще и бабушку Лею-Рухл. Они убили дедушку Лавье-Шмуля и бабушку Любу-Фридл, с другой стороны. На фронте погиб Лизанькин папа Наум, а мой папа Меир умер от ран...

Так вот, я им не бруки, а тахрихим могу шить. Короче говоря, у каждого Абрама своя программа, как говорят в народе. Мы свою программу выполнили на все сто процентов... Как это странные имена? Нормальные и, я бы даже сказал, красивые имена: во всех именах есть какие-нибудь буквы от бабушек, дедушек, пап и мам наших. Кроме того, это же звучит – Алла, Мэлла, Стэлла и Нэлла!

Увлеченные рассказом, люди даже не почувствовали, как теплоход мягко ткнулся о пассажирский причал, как подали трап и *олим хадашим* гудящей разноязыкой и разношерстной толпой кинулись на берег, возбужденные, ошарашенные и пораженные услышанным и увиденным. Вместе со всеми, всей своей большой семьей, спустился на берег и Беня Залкинд...

Закончив все формальности, Залкинды пошли на выход из здания морского вокзала. Его седая, кучерявая голова и пиджак с орденами и медалями

были видны издалека. И вдруг, расталкивая людей, навстречу Бене кинулся какой-то человек и громоподобным басом заорал на всю площадь:

– Боже мой! Кого я вижу?! Или я в Одессе, или Одесса переехала в Хайфу?! Какая встреча! Это же Бенья Брук, чтоб я так жил!..

МНЕ НУЖНА СТРИЖКА...

В прихожей раздалась пронзительная трель звонка, и хозяйка, мывшая полы, со шваброй в руках, открыла входную дверь. На пороге стояла женщина средней полноты, среднего роста и среднего возраста.

– Чем я могу помочь? – спросила хозяйка.

– Мне нужна стрижка, но только за семь шекелей.

Хозяйка внимательно осмотрела гостью, как говорится, с головы до ног, задержав свой взгляд несколько дольше на обуви, и ответила:

– Вам нужна стрижка. Ну, это мне понятно. Но почему именно за семь шекелей?

– Потому, что я твердо знаю олимовские цены. Такая стрижка стоит именно семь шекелей.

– Я вижу, у вас сбитые каблучки на туфлях, так давайте я вам лучше подобью каблучки, то есть поставлю набоечки и всего за десять шекелей...

– Женщина! При чем здесь каблучки и набоечки? Я вам русским языком говорю, что мне нужна стрижка, причем не абы какая, а за семь шекелей: так берут почти все.

– Я не знаю, что там берут все. Я могу постричь собачку, но только за тридцать шекелей, меньше не возьму, потому что местные берут пятьдесят. А уж за семь шекелей – я и разговаривать не стану.

– Но я же вам не собачка, чтобы стричь меня за тридцать шекелей...

– А я что – сказала вам, что вы собачка? Я только сказала, что стригу собачек за тридцать шекелей...

– Но у меня нет никакой собачки, и мне никого стричь не надо. Мне надо постричься самой, но за семь шекелей... Что тут такого непонятного?

– А непонятно то, для чего вы ко мне пришли: у меня второй муж был хороший сапожник, и когда он от меня ушел, оставил полный набор инструмента (тоже сволочь хорошая – не один литр крови у меня выпил!). Так вот: я могу ремонтировать обувь... Причем лю-бу-ю. И я всю жизнь держала собачек – ма-а-леньких, хоро-о-шеньких, типа пудель или болонка. Так где бы я набралась денег их стричь? И я научилась стричь своих собачек сама. Да и чужих тоже. Все же какой-никакой, а заработок.

– Мадам, что вы мне голову морочите?! Зачем мне ваши *майсы* про собачек, сапожников и вашего мужа? Мне не нужно ничего подбивать, мне не нужно стричь собачек – мне нужно постричься самой. Причем за...

– Поняла! Поняла! Чего вы вообще ко мне привязались? Я что, вас сюда приглашала? Вам нужно постричься самой? Идите домой и стригитесь сами. И, между прочим, за бесплатно. Что я умею – то умею. А женщин стричь – я не умею, тем более за семь шекелей...

Хозяйка чуть не вытолкала гостью, хлопнула дверью и продолжила мыть полы. А обескураженная гостья, сойдя с крыльца, остановилась в задумчивости и вдруг вслух сказала:

– Странно! А кто же это дал мне ее адрес?..

Яков Сусленский

ИЗ МОЕЙ ГЕНЕАЛОГИИ

Автор этого маленького отрывка из большой книги жизни – правозащитник, узник совести, осужденный за антисоветскую пропаганду и агитацию, был в свое время из мордовских лагерей переведен во Владимирскую тюрьму за бунт среди заключенных.

...Я дотошно копаюсь в своей родословной, чтобы генетически проследить и обосновать бунтарский дух в моей собственной крови.

Мой прадед – отец маминой мамы Израиль Малкис, купец первой гильдии, жил в местечке Дубоссары, что на Днестре. У него и прабабушки Молки были четыре дочери. Одна из этих дочерей была моя бабушка Голда, у которой с Дувид-Янкелем Сусленским родилось семеро детей. Другие дочери Израиля Малкиса – Хона Фельдман, Буня Левинзон и Фрима Рубинштейн – породили целую плеяду бунтовщиков, среди которых наибольшей известностью пользовался Фися Левинзон – герой гражданской войны, нарком обороны МАССР после Григория Котовского, командарм 2-го ранга, репрессированный в 1937 году по обвинению в троцкизме.

Мой дедушка Дувид-Янкель Сусленский передал в генах своему потомству недовольство не старой, а уже новой властью, советской. Это отнюдь не означает, что старую или промежуточную он ценил больше. Когда денкинский офицер, остановившийся при отступлении в доме дедушки, точил саблю, приговаривая при этом: “Люблю, когда течет жидовская кровь!” – то нити любви, связывавшие дедушку с промежуточной властью, мгновенно обрывались.

Когда в Дубоссарах установилась власть красных, дедушку арестовали за контрреволюционную агитацию против советской власти (аналогичное обвинение предъявили мне спустя полвека) и водворили в старый полуразрушенный сарай под охраной местного активиста. Энергичная и боевая бабушка Голда пошла его вызволять. Заприметив ее, охранник хотел быстро улизнуть. Да не тут-то было! Бабушка преградила ему путь и властно остановила.

– Срулик, а ну давай ключ от сарая! – сурово потребовала она. – Ты думаешь, если пистоль на шею повесил, так большим *пурицем* стал и я не смогу надавать тебе тумачков, как тогда, когда ты у нас курей воровал?

Срулик покорно дал себя обыскать. Что было, то было, и никуда от этого не денешься. За краденых кур он был в вечном долгу перед бабушкой, и теперь ему пришлось расплачиваться освобождением арестанта, иными словами – изменой революции. Добыв у него из кармана ключ, бабушка отперла замок, вошла в сарай и набросилась на мужа:

– А ты чего здесь расселся? Марш домой! И перестань болтать лишнее. Слава Богу, у тебя еще не все зубы повыпадали, могут еще попридержаться язык, – полуворча-полубраня выговаривала она деду дорогой.

Общались они на идише со всей сочностью “нравоучительных” местечковых выражений, которыми изобильно насыщен этот язык.

Да, счастливое было время, когда советская власть еще пребывала в младенческом возрасте и делала первые “робкие” шаги на попрание насилия, особенно в маленьких местечках с их патриархальным укладом жизни, где каждый о каждом знал всю подноготную...

Фаина Дибнер

СОЛЕННЫЙ САХАР

– Кому?..

Кому из вас отдать почерневший кусочек сахара, чудом найденный в вещмешке?

Война. Эвакуация. Казахстан. Сорок четвертый год.

Крошечная комната. Рваный свет коптилки. Девочка и мальчик – лохматые кудри, вздутые животы... Блестящие глазищи, голодные носы...

Мама – в болтающейся телогрейке. Ее кожа прозрачна до голубизны вен... Под синими глазами – черные круги... Отец – уже без руки, уже седой... Кашляет в платок, закрывается от детей... На платке – алое пятно...

Угол комнаты. На железной кровати, в черном вдовьем покрывале до бровей кутается бабушка. Ее глаза слепы.

На столе – черные хлебные квадратики. Всем поровну. В кружках – кипяток, над кружками – пар...

Мальчик нашел сахар. Пыльный сладкий кусок. Кому отдать?

...Бабушка... Когда-то ты была красивой! Богатой... И – гордой! Ты была купцом второй гильдии когда-то... Торговала лесом... Имела от царя грамоты и серебряный кинжал. Переписывалась с немецкими купцами. Светлейшая голова! Ты скопила целое состояние – мешок серебряных денег... И в твою светлую голову пришла светлая мысль: обменять все серебро на бумажные деньги.

Обменяла... Мешок денег получился – огромный! А через неделю – революция. Мешок бумаги был по-прежнему огромен... Это был первый удар.

Следующим ударом стада свадьба дочери с парнем из “простой семьи”.

– *Капцунэм*, ремесленники! Чтобы мой род породнился с вашим? Да никогда!

Породнились. Тайно. Без твоего благословения... Дочь лишилась наследства – обещанного ей дома... Дом в войну сгорел. Удар следовал за ударом!

И тебе – гордой купчихе – пришлось нагнуть голову и пойти жить в семью дочери. И до конца своих дней принимать еду из рук нежеланного зятя.

Ты не могла это видеть! И – ослепла...

Эвакуироваться ты отказалась: “Как! Бросить все? Немцы – культурный народ!..”

Конечно же, тебя не оставили! Увезли на единственной кровати.

...Ты сердилась на внучку – та слишком громко смеялась и мешала тебе спать! Внучка смеяться – перестала...

А внук случайно разбил сахарницу богемского хрусталя – единственную вещь, оставшуюся у тебя “с тех времен”... Ты ударила его по лицу изо всех сил! Он отлетел к стене и долго не мог подняться...

И вот теперь – эта жизнь и эта комната... Рванный свет коптилки... Пыльный кусок сахара на голом столе...

Дети сглатывают слюну... Сахар! Довоенный сладкий вкус. Девочка отворачивается...

– Так кому? – тихо спрашивает мальчик.

И бледные руки протягиваются к тебе одновременно: “Ей!..”

КОНЕЦ ЗЛОДЕЯ

Театральный рассказ

Они сидели по обе стороны древнего стола, неведомо как оказавшегося в здании ультрасовременного клуба. Профиль шуплого директора был, казалось, вырезан из гофрированной жести, грузного художественного руководителя – высечен из ноздреватого гранита..

Эти серьезные люди возглавляли художественную самодеятельность богачейшего комбината, который без труда содержал коллектив театра, кстати, не имевшего в своем составе ни одного самодеятельщика. Театр выезжал на гастроли, давал платные спектакли и время от времени пополнялся за счет актерской “биржи”.

Затянувшееся молчание нарушил директор.

– Откровенно говоря, Алексей Алексаныч, радужных надежд на это не возлагаю! – резком фальцетом произнес он, ткнув большим пальцем в сторону развешенных по стенам эскизов нового спектакля. – “Царевна Несмеяна”, адресованная нашему зрителю, – чистейшее донкихотство. Поверьте моему опыту! И, если хотите, интуиции.

– Интуиция – не кассовый сбор, – недовольно пробасил худрук.

– Вот именно! Кассового сбора как раз и не будет, – взвился директор.

Художественный руководитель, по горькому опыту знавший, что спорить с директором, закусившим удила, немислимо, погрузился в глубокое раздумье, в результате которого лицо его оживилось.

– Отменять спектакль безусловно поздно. Но сделать его волнительней время есть! – воспрянув, заявил он.

– Это каким же образом? – насторожился директор.

– Весьма просто. Предлагаю ввести злодея.

– Какие функции будет выполнять этот злодей? – приятно удивленный взлетом худрукской фантазии, осведомился директор.

– Обычные. Злодейские... Ага! Скажем, когда юноша наконец-то рассмешил царевну и свадьба на мази, негодяй преподносит ему сплетню... или что-то в этом роде.

– Прекрасно! – с энтузиазмом вскричал директор.

На гранитном лице художественного руководителя появилась довольная улыбка:

– При возникшем варианте и Левинский будет занят. Из ведущих только он оставался вне спектакля.

– Дался вам этот Левинский!

– Он талантлив, Борис Владимирович! – с чувством произнес художественный руководитель. – Актер от рождения. С искрой Божьей!

– Только без дифирамбов! – осадил его директор. – Не пугайте меня гениальностью человека, оставившего две семьи... Притом алкоголик. И тоже, по-моему, от рождения. Признаюсь, одно упоминание об этом типе превращает меня в антисемита!

– Это вы уж чересчур... Все равно Левинского заменить нечем, – на этот раз решительно воспротивился художественный руководитель.

– А мое мнение таково: многолетнее пребывание Левинского в ролях злодеев, мерзавцев и подлецов – не случайно. Возможно, данному субъекту не требуется перевоплощаться и вживаться? Поскольку он играет сам себя?

Худрук в растерянности даже приоткрыл рот. А директор добавил:

– Подождите – вы еще поразитесь моей интуиции! Ваш гений со временем обязательно проявится... во всей красе.

* * *

В том году на маленький остров, брошенный между Тихим океаном и Охотским морем, лето пришло до застенчивости бесшумно. Неприметно стаял почти полутораметровый пласт снега, обнажив темно-зеленые поляны кедрача-стланца, зимой придавленного отглаженными свирепым ветром сугробами. Прогревшаяся почва выстрелила тоненькими стрелами черемши, видом напоминающей лук, вкусом – чеснок. С каждым днем на фоне плюшевого мха все больше высыпало фиолетовых ягод. То была шикша – единственный фрукт, произрастающий в этом суровом крае...

Большое одноэтажное селение выгнулось подковой. С одной стороны оно ограничивалось крутой сопкой, а с другой – пирсами и искусственной бухтой, которую образовали бетонированные клещи волнореза. В разговоре бухту именовали “ковшом”. В часы грохочущих штормов она укрывала рыболовные сейнера и вспомогательные суденышки.

Поселок курился сиреневыми дымками, в ковше, перестукиваясь бортами, покачивались надежно зачаленные сейнеры и кунгасы, а на рейде вторые сутки маячило судно, которое разгружали в открытом море. Оно и доставило на далекий остров коллектив комбинатовского театра.

Человек стоял на пирсе. Он был мал ростом и узкоплеч, с морщинистым лицом, торчащими из-под серого мохнатого кепи ушами и маленькими добрыми глазками – ну, натуральные росные васильки! Было в нем то неулови-

мое, по чему безошибочно узнаешь актера – именно того служителя Мельпомены, который с начала и навсегда спаял свою жизнь с театром.

Он неотрывно смотрел на бескрайнюю свинцовость моря, дыбившегося тяжелыми валами, отороченными густыми кружевами пены. А внизу, под ногами, белогривые чудища с грохотом бились в пирс – и железобетон испуганно вздрагивал от их ударов.

Сумасшедшим писком кричали чайки, плотный ветер ложился на грудь и лицо, и не было сил оторвать взгляд от неизмеримой мощи стихии, от бескрайней вечности мощно раскачивающейся воды, поражающей душу... В широко раскрытых глазах человека было нечто, схожее с удивленным выражением ребенка, только-только начинающего постигать мир.

Потом он бродил по поселку и оказался у неприметного здания, вывеска на котором гласила: кафе “Сюрприз”. Он вошел в полупустое помещение и сел за один из столиков, хотя сразу же делать этого не следовало, потому что, как выяснилось, кафе работало на принципе самообслуживания. Поняв это, он уплатил в кассу за полборща и порцию “узбекского плова”, который решил попробовать хотя бы ради экзотичности наименования, – на самом же деле плов оказался плохой рисовой кашей, поверх которой нелюбезная рыжая тетка в сомнительно-белом халате бросила пару кусочков мяса и несколько ломтиков отварной моркови...

Он размещал обед на столике, когда к соседнему приблизился похожий на крутой валун человек о дедморозовской белой бородой, в шапке из нерпичьей шкурки, – старик нес на огромных ладонях первое и второе. Почувствовав к нему расположение с первого взгляда, как бывало не раз, он сказал:

– Простите, уважаемый... Перед обедом хотелось бы выпить. Граммов сто. Кажется, вы здешний? Не подскажите, как это можно сделать? Оказывается, в кафе спиртное не продают.

Могучий старик медленно воззрился на него.

– Выпивкою интересуешься? Сейчас насчет этого тижало, потому што – путина. Стало быть, магазинщикам на продажу запрет

Пару раз с аппетитом хлебнув борща, без интереса спросил:

– Ты с каких краев?

– Актер. Вместе с театром приехал. На гастроли.

– Вона што, – на сей раз старик внимательней посмотрел на собеседника неуловимого цвета глазами, утаившимися под густым ворсом бровей. – На “Ингуле”, стал быть, прибыли?

– Совершенно верно.

– Знаем его. От АКО ходит.

– Не понял...

– Чего не понял? Акционерского камчатского общества значит.

– Ясно, – сказал актер и взял ложку.

Снова посмаковав борща, старик напомнил:

– Однако ежели выпить охота, можно сообразить. В курибанке продают.

– Где? – опять не догадался актер.

– Магазин такой. Не для всех, а курибанов, стало быть.

– Извините... это кто?

– Люди – кто еще? Обнаковенно, грузчики. Ежели волна не позволяет зачалить посудину, то по воде ее разгружают. Или ж обратно... Труд, конечно, тижолый. Хошь ты в стеганой куфайке и штанах таковских, да и в резину засунут по самы уши, охотская водичка – не парное молочко. На плечах груз волочишь, а тебя волна окатыват... Потому, стал быть, дозволяют им употреблять градусы, для сохранения здоровья... дак што? Выпьешь али расхотелось?

– Конечно, конечно! – торопливо подтвердил актер. – Как туда пройти?

– Тебе не дадут. Сказал ведь – только для курибанов... Сам схожу. Меня знают.

Старик поднялся, утерев рот ладонью, выжидательно застыл у стола. Получив у актера пятидесятирублевую купюру, молча удалился. Вернулся он скоро. Поставив на стол бутылку с прозрачною жидкостью, пояснил:

– Спирт. Другого там не имеется. Употребляешь его?.. Сдачу прими.

Вручив оставшееся, старик вместе со своими тарелками переместился за столик актера. Задумавшись, полез под суконное полупальто.

– Покеда путина не закроется, мы сухие, – сказал он, протягивая актеру мятую десятирублевку. – Сейчас мне старуха на пропитание выделяет...

Актер молча отстранил его руку, однако старик так же безмолвно, но непреклонно сунул купюру ему в карман.

– Угощения не требуется, – с достоинством пояснил он. – Мы с тобой люди незнаемые, в кумовьях не состоим... Сколь заплатил, на столь и выпью...

Они опрокинули по полстакана жгучего напитка. Актер – разведенного водой, которую по знаку старика в огромной кружке принесла кучерявая косолапая девица. Старик – натурального, запитого парой добрых глотков из той же кружки. После чего оба принялись за еду.

...Спирт, остро пройдя посередине груди, ласковым взрывом ударил в голову.

– Волшебные у вас места! – положив ложку, воскликнул актер. – Трудно найти подходящее определение... Я бы сказал – торжественные. Аж душа замирает!

– Места ничего, – согласился старик. – Жить можно.

– Да, не устаешь поражаться тому, как изумительно и мудро устроен мир, - продолжал актер. – Я немало поездил, многое пришлось повидать, а потому...

– Сколь годов тебе? – обсасывая косточку, поинтересовался старик.

– Ровно шестьдесят. Месяц назад исполнилось... Увы, старость. Никуда не денешься!

– А мне семьдесят четыре стукнет, – с удовлетворением сообщил валуно-подобный дед. – Уже и внуки выправились... Сколь внуков-то у тебя?

Вместо ответа актер разлил по стаканам. Старик свой отодвинул.

– Боле не буду.

– Сделайте одолжение! – попросил актер. – Сегодня первый спектакль. Премьера, как у нас говорят...

Он взглянул на часы. Времени до начала оставалось вполне достаточно.

– Правда, спектакль ерундовый, но... все равно спектакль! Давайте выпьем за то, чтобы он понравился. Если хотите – и за мой успех.

Старик помедлил.

– Ежели так... Ладно.

После второго полстакана актер явно охмелел.

– Вы спросили насчет внуков? – медленно выговорил он. – Их у меня нет. Так же как жены и детей...

Он видел сидящего перед ним глыбистого человека, который казался су-ровым и чистым наряду с морем, равномерно громыхающим невдалеке, круто выгнувшейся сопкой, всей здешней первозданной природой. Он передохнул, потому что с таким человеком следовало быть предельно искренним.

– Я был очень молод, когда встретился с первой женой. Она считала меня в будущем знаменитостью. Моя творческая судьба ее не интересовала, нет! Добиться известности в ее понимании означало приобретение всех материальных благ...

– Чего? – не сообразил дед.

– Ну... больших денег. Года шли, а их не было. Тогда она бросила меня – как неудачника. Вторая жена была диаметрально противоположна ей. Но....

Актер чуть помедлил.

– Я заболел легкими. В то время это считалось почти неизлечимым. Болел долго. Боясь за нее и сына, ушел сам...

– А сын-то чего? – равнодушно осведомился старик.

– Утонул в Днепре. Он жил в Киеве – с матерью и отчимом.

Актер дернул галстук, освобождая воротник рубашки.

– Как я любил этого мальчика! Он был самым родным существом на земле! Такой мечтательный и добрый...

Старик намекаяще посмотрел на бутылку.

– Выпейте, – заметив его взгляд и сразу отвернувшись, предложил актер.
– Мне больше нельзя.

– Тебе хватит, – согласился дед.

Допив оставшееся, и он заметно опьянел.

– Как прозывают-то тебя, гражданин хороший? – вежливо осведомился старик.

– Левинский, – думая о своем, ответил актер. – Отец был великий артист Натан Левинский. Это звучало! Я – Клод Левинский. В детстве родители звали меня Клодик... Смешно!

– А я Ушаков. Прокопий Иванович.

– Очень приятно. Польщен... Ваша профессия? – вяло осведомился актер.

– Икрянщики мы. Икорку красную, стал быть кетовую, уважаешь? Это и есть наше дело.

– Где же учат столь редкой профессии?

Актер сам почувствовал нелепость своего вопроса, заданного просто из вежливости.

– Конечно, институтов для этого не имеется. А учимся очень просто: я – от отца, тот – у деда сноровку перенимал. Получается, што работа от одного к другому переходит... Сейчас в старших состою я. А подручники – младший брат, два сына, сноха да внуков трое. Семейно управляемся. Да и прочие икрянщики семьями гомузятся, потому – у каждой свой секрет. Соображаешь?... Станков али машин не применяем, ни к чему они. Все зависит от понимания – когда, скажем, икорку пошебуршить, тузлучком пропитать, в какой момент чем попользовать... Разговорился я. Лишку, стал быть, принял. Язви ее!

– Любимый труд – это чудесно! – будто думая вслух, произнес актер. – Без него жить невысмыслимо... Впрочем, я – законченный неудачник. Единственный, кто сейчас мне дорог, – это зритель. Но он меня или презирает, или ненавидит. Потому что я – злодей.

– То-ись... как это? – кажется, впервые за весь разговор искренне заинтересовался дед.

– Такое у меня амплуа. Словом, актерская судьба... А любят героев – сильных, смелых, благородных. И добрых... Подумайте: какая нелепость – по сути быть неплохим человеком и вызывать всеобщее омерзение!

Старик поднялся.

– Благодарствуйте за компанию, – солидно вымолвил он. – Авось еще свидимся.

– Всего доброго, всего доброго! – преувеличенно крепко пожимая его каменную ладонь, попрощался актер. – Приходите сегодня в Дом культуры...

Глянув на левое запястье, уточнил:

– К семи часам. Посмотрите наш спектакль.

На приiske, куда целевым назначением прибыл комбинатовский театр, подходящего помещения для него не оказалось. Здесь острыми перстами вонзились в небо около десятка вышек, насулипились друг на друга контора и столовая, белели в зеленых островках кедрача несколько общежитий да гараж.

Уж очень далеко отстоял этот прииск от основной массы потенциальных зрителей, которые проживали в районном центре! Исходя из насущных интересов, директор сам, не доверяя администратору, договорился с местным начальством и получил разрешение занять под гастроли районный Дом культуры – длинное здание, видом напоминающее казарму.

На острове и фильмы-то смотрели чуть не с годовым опозданием. Потому, а еще и по той причине, что путина только начинала разворачиваться и народ был относительно свободен, рыбаков, просоленных людей с кунгасов, сейнеров и катеров, рабочих рыбзавода, искателей и прочей публики возле Дома культуры собралось множество...

Левинский появился за полчаса перед началом спектакля.

– Вы неисправимы, Клод Натанович? – приглушая возмущенный бас, ибо почти сразу за неожиданно шикарным занавесом нетерпеливо бурлила публика, встретил его худрук. – Исчезнуть на весь день? И... конечно, того?

Указательным пальцем и мизинцем художественный руководитель изобразил символическую стопку.

– Так точно. Но мой выход во втором действии, а я уже здесь, полный творческого дерзания... Что еще? Ах, да: помню об ответственности перед зрителем и собственным коллективом.

– Острие на здоровье, дело ваше, – миролюбиво сказал отходчивый художественный руководитель. – Однако, желая вам добра, считаю необходимым предупредить: директор очень недоволен вами. Так что учтите.

– Учу, – пообещал Левинский и ушел гримироваться.

Действие на сцене развивалось. Истосковавшая по зрелищу публика громко высказывала прогнозы и предположения. Очень понравилась царевна Несмеяна, делавшая ротиком и глазками весьма милые гримаски, которые веселили народ. А состязание претендентов на то, чтобы ее рассмешить, было воспринято как своего рода спортивное соревнование и нашло в зале своих болельщиков...

Появление коварного Намнедама сначала не вызвало особой реакции. Но когда, оклеветав героя, негодяй вместо него предложил в мужа Несмеяне

своего племянника-охламона, зрители гневно зашумели. Этот вроде бы невзрачный злодей постепенно вырастал до угрожающих размеров. Слов у него было немного, но столь бесшумны и угрожающи движения, так жутко звучала каждая реплика, что скоро Намнедам заслонил всех! Люди из зала в основном следили за ним, ненавидя и даже опасаясь этого человека...

...Вот негодяй преподносит Несмеяне ленту из косы ее приближенной, якобы найденную у любимого царевной Иванушки. Народ не выдержал:

- Брешет, гад!
- По шее стерву!
- Такие жизнь и портют!
- А Иван чего смотрит?!
- Очную ставку делай!
- Смотри, девка, не прошибись! Головой думай!
- Гони горыныча!
- Несмеян-н-на! Он темноту наво-о-одит!

Равнодушных не было. Сияющий худрук подумал: какой же я молодец, что придумал насчет злодея... А Левинский, черт, просто великолепен!

Перед последним актом публика застыла в тревожном ожидании. Начался он с того, что стражники царя-отца арестовывают оклеветанного Иванушку. Геройский характер и стремление авторов спектакля потрафить вкусам зрителя не позволили ему сдаться без боя. Разразилась в деталях отрепетированная потасовка. Зал шумел, всеми доступными средствами поддерживая несправедливо пострадавшего. Но силы на сцене были неравны. Несколько царских холоуев, одолев Иванушку, начали его вязать...

Тут-то отвратительный злодей внезапно выскочил на сцену. Он отшвырнул одного стражника, который от неожиданности упал, выхватил веревку из рук другого, обнял оторопевшего Иванушку и ликующим голосом обратился к ошалело обмершему залу:

– Вперед, друзья! Не бойтесь зла и козней! Прекрасна жизнь во имя благородства!.. А Несмеяна в радости и счастья с Иваном верным пусть всегда живут!

Актеры на сцене оцепенели. Зато опомнившиеся зрители вразной заорали возбужденно и радостно:

- Это он притворялся!
- Молодчик, братан! Долбани еще одного! Пошибче!
- Бр-ра-ава!
- Беги, Иван! Рви когти, пока эти балдеют!
- Порядок! Наша берет!

– Ур~ра! Ур-р-ра!

Занавес начал аварийно закрываться. И тут снова прогудел растроганный бас валунообразного старика:

– Спасибо, Клотик! Золотой ты человек!

Левинский пробирался среди декораций, на ходу отклеивая бутафорскую бороду.

– Что вы наделали?! – хватая его за рукав, простонал бледный до голубизны художественный руководитель. – Погубили спектакль... И себя!

Непреклонный и безмолвный Левинский хотел пройти мимо, но путь ему преградил директор.

– Негодяй! – с ненавистью выдохнул он. – Допился?! Вон из театра!

– Я никогда не был трезв так, как сейчас! – задохнувшись, ответил Левинский. – Уйдите с дороги, вы...

Он удалялся, провожаемый доносившимся из зала восторженным, несмолкающим гулом: люди никак не могли успокоиться, восхищенные героем, который покорила их души...

“В СЕБЯ ЗАГЛЯНЕМ...”

Нехама Озеровская

* * *

В себя заглянем, как на дно колодца.
Но зыбкой тенью мы себе видны.
И эхо на преграду не наткнется,
Не отзовется нам из глубины.
И, с фонарем над пропастью качаясь,
Мы дна в себе не разглядим никак,
По нервам, как по вервиям, спускаясь
В себя все глубже –
И еще на шаг.

Как в нашем “Я” расплывчато-лилово
Начала и концы переплелись!
Себя продолжим мы еще на слово
И на поступок, и еще на мысль.

* * *

Нам этот мир в аренду только дан,
И, под углом к земле себя качая,
Шагами крутим свой меридиан,
Его на время в плоскость превращая.
Придем мы в точку, с коей начат круг,
Когда прямая ломано прогнется,
И параллельность наших тонких рук
В последнем жесте вдруг пересечется

Недвижный мир в недвижимом теле, глухой, как сонная сова...
И шум, и краски поредели, и запечатаны слова.

И свет бледнеющей заплатой латает серой тьмы края...
Как посторонний согладатай, стою над шумом бытия.

И, как размытые овалы, лишь тени мыслей ни о чем
Стекают медленно и вяло в почти засохший водоем.

И блеклым сумеркам сознания нет силы веки приподнять.
Лишь слышно времени журчанье, и остается только ждать...

Ниэль

ПЕСНОПЕНИЕ

Пряный запах индийской свечи,
на губах – привкус вяза иврита.
Удостоилась нынче вкусить
сладость букв иц его алфавита.

Песнопенье стекает как мед,
увлекает накатом прибоя.
Все очистит, и все оживет,
все вокруг воссияет с тобою.

Льются капли медлительных нот –
звуки голоса всей глубиной
сердце трогают теплой волной,
повторяя: Святое, Святое...

Полнозвучия песни твоей
прямо с ангельских крыльев стекают.
Габриэль, Уриэль, Рафаэль –
а над ними – Шхина золотая.

ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА В ДОЖДЬ

Мой Боже, любовью Твоей сохрани
всех тех, кто сегодня в дороге,
на мокром шоссе ездовых осени
заботой хранящей ладони.

Слепых от тумана, в слезах от дождя,
нахохленных в дреме на ощупь,
пока наш автобус, о жуть дребезжа,
небесная мойка полощет.

Затопленных дворников бег по стеклу –
как мать хлопотливой рукою
студеной водой, разбудив поутру,
лицо непоседы умоет.

Бок о бок зеленые склоны бегут,
и метров в десятке, не дале,
дождю подставляют деревья вокруг
набухшие почки миндаля.

И можно стекло надышать изнутри,
оттаять озябшие ноги
и мокрую даль беззащитной страны
озвучить молитвой дороги.

ИЕРУСАЛИМ. ОБРЫВОК ДИАЛОГА

До свиданья, мой израненный,
до свидания, живой.
Вечером в тревоге каменной
возвращусь к тебе домой.

В желтизне луча закатного,
дух на взлете затаив,
буду издали высматривать:
что с тобою?..
Как там – жив?..

Михаил Замский

* * *

Природа, только ты еще жива.
Ты, как всегда, прекрасна и спокойна.
Все наши споры, наши войны
не стоят перышка из твоего крыла.

* * *

Мы живем в стакане, как жуки –
наш стакан перевернут,
но другого совсем не дано:
только падать и вновь
по отвесным стеклянным стенам
лезть наверх,
где нас ждет только дно.

* * *

Все как обычно. Машины. Огни.
Вечер. Израиль. Годами накатано.
Что же там дальше? Что впереди?
Что еще временем не распечатано?

Все бегут и бегут эти дни,
растворяясь, уходят в туман.
Что останется? Грустный мотив
чьих-то слов, чьих-то лиц, чьих-то стран?

Дора Яблонская

КАПЕЛЬКА СЧАСТЬЯ

Покатаю капельку вина,
Прежде чем допить до дна,

На кончике языка
Станет сладкое кислей,
Розовое – белей
В предвестии глотка.
Подержу слезинку на весу,
И сбежит по колесу
Обомлевшей щеки.
Станет мокрое солоней,
Радужное – больней,
Счастью вопреки.

* * *

На левую руку, привыкшую брать,
Нужна узда.
На правую руку, бегущую дать,
Нужна нужда.

* * *

Время тыкало
Своим тиканьем.
Стрелками вязало
По рукам и ногам.
Я поплыл по течению
И выбрался из плена.

Людмила Лунина

* * *

Да пребудет со мною любовь
в этом мире, слепом и холодном,
где отчаянье, словно болото,
надо мною смыкается вновь.

Да святится имя твое
в этом мире, цветном и беспечном,

где ничто не живет бесконечно,
только мы, мой любимый, вдвоем.

Я уверую наверняка
в небеса, в предназначенность, в чудо,
если рядом ты будешь, покуда
на твоих засыпаю руках.

* * *

Праздник в актовом зале природы.
Бормотанье свирели и сердца.
Завершение крестьянского года –
это осени дивное скерцо.

Пахнут снегом туманные кисти
винограда последнего сбора.
Полыхают и светятся листья:
сколько радости вкусу и взору!

Сад застыл, изумлен изобильем.
На ветвях – золотые сосуды.
Плещут времени темные крылья
в ожиданье конца и остуды.

Это осень – намек и догадка.
Это осень – распад и величье.
Сладко спится, и дышится сладко,
и душа говорлива по-птичьи.

Я в молитве просила бы Бога,
что сулит все исполнить, что просим:
у него б попросила немного:
– Дай мне, Господи, светлую осень.

Юрий Пологонкин

ТЕНИ ЭМИГРАЦИИ

Путевые заметки

1. Немецкое пиво охлаждает пыл

Приезжая в Германию, я обычно останавливаюсь у своего старого друга – большого любителя пива. Обнявшись и спросив “Как дела?”, мы отправляемся в небольшой старинный ресторанчик на берегу Рейна и начинаем бесконечный спор о том, кто правильнее поступил – он, обосновавшись в Кельне, или я, поселившись на Земле Обетованной. Беседы эти порой переходят на повышенные тона и только чудесное пиво марки “Кёльнш” охлаждает наш пыл.

Несмотря на то, что “истина рождается в споре”, нам ее обнаружить так и не удалось. У германских иммигрантов свои беды, у израильских репатриантов – свои. И никакие весы не смогут определить, чья доля тяжелее. Что же касается радостей, то здесь проще. Они по-прежнему поддаются пересчету. С них бы и следовало начать этот рассказ. Но где вы видели, чтобы жизнь в эмиграции начиналась с радости? Всюду – и в Израиле, и в Германии, и в Америке, и в Канаде – счастье надо выстрадать.

Моего приятеля, избравшего местом жительства Кельн, сначала с семьей из пяти человек поселили в спортзале, разделенном на двадцать четыре закутка. Вместо стен – полотнища ткани. Вместо привычных кроватей – двухэтажные казарменные нары. Вместо нормальной жизни – ужасы коммунального быта. И так продолжалось несколько месяцев. Когда нервная система стала давать сбои, перевели в общежитие улучшенного типа, тоже впятером в одну комнату, но там уже были капитальные стены и скандалы соседей доносились не столь явственно. За будущее благоденствие моему приятелю пришлось отдать год жизни.

Сейчас он живет в районе, который называется Хорвайлер. Построен этот жилой массив по американскому градостроительному проекту. Когда-то ав-

томобильный магнат Форд решил расселить своих рабочих в компактных городках со всеми удобствами. Немцы заимствовали модель, и теперь в пятнадцати минутах езды от центра Кельна вырос современный район с двадцатизэтажными домами, с громадным торговым центром, вмещающим более сотни магазинов, со спортивным комплексом. Со всех сторон Хорвайлер окружают прекрасные парки, поля, фруктовые сады, озера, где плавают утки и белые лебеди.

Однако вскоре пришлось удивляться не респектабельности района, а тому, что небоскребы Хорвайлера заселены в основном эмигрантами: турками, черными африканцами, казахстанскими немцами, югославами, российскими евреями. Впрочем, позднее оказалось, что это не совсем так. Просто разноликие и разноязыкие эмигранты более заметны на пешеходных участках района.

Семья моего приятеля, состоящая из пяти человек, получила четырехкомнатные апартаменты в одной из высоток. Буквально через несколько месяцев его старшей дочери исполнилось девятнадцать лет, и ей предоставили отдельное жилье в этом же доме – чудную полутораконатную квартиру. Квартирный вопрос, который не смогли разрешить в Советском Союзе, который никак не поддается окончательному разрешению в Израиле, там уже практически не существует. Всем пожилым людям, будь то пара пенсионеров или одинокий человек, после обязательных мытарств предоставляется хорошая квартира.

Различные социальные пособия соразмерны с нашими. В некоторых случаях израильские выплаты даже побольше. Однако общее материальное положение “русских” в Германии все-таки выше. Это связано с тем, что цены на продукты питания, на промышленные товары гораздо умереннее. Больше денег остается для туризма, культурного досуга, меньше забот о “черном дне”.

Когда же заходит речь о гражданских правах, мой приятель заметно снижает свой пафос. О гражданских правах ему говорить не очень хочется, ибо они там далеко не в полном объеме. Почти все “русские” пока не являются гражданами Германии. Их основным документом по-прежнему остается российский паспорт, в котором на одной из страничек стоит штамп с разрешением на жительство. Они до сих пор – граждане России, получившие от правительства Германии разрешение на проживание. А это значит, что нет у них даже элементарного избирательного права. Казалось бы, эка важность! Но вследствие этого они не могут ничего требовать от своих избранных в парламенте и в других представительных органах. Мы тоже от своих депутатов немного добиваемся, но это не потому, что нет у нас прав, а из-за нашей

социальной пассивности. Мы – полноправные граждане Израиля, а они живут в Германии на положении бедных родственников – вот вам еда, вот вам крыша над головой, живите и не высовывайтесь.

Но, как известно, ни хлебом единым жив человек. Кроме пищи из духовки нужна и духовная пища. А ее-то как раз очень мало. В огромном Кельне до последнего времени не было ни одной библиотеки с русскими книгами. Мое же утверждение, что я, живя в Нацрат-Илите – маленьком городке с пятидесяти тысячным населением, записан в три библиотеки, вызвало удивление. Мой приятель просто посчитал, что я преувеличиваю. Однако никакого преувеличения нет. Я пользуюсь библиотекой главного городского клуба – матнаса “Беркович”, где сегодня тысячи русских книг, библиотекой района Ар-Йона, библиотекой клуба пенсионеров “Ле-маан ха-кашиш”. Должен заметить, что я постоянно беру там не просто “что-нибудь почитать”, но и книги, необходимые мне для подготовки к лекциям о театре, кино, литературе.

Ну, а утверждение, что в Нацрат-Илите два русских театра, было встречено моим собеседником как явный перебор. А между тем и это – сущая правда. Есть у нас театр “Галилея”, завоевавший любовь и юных зрителей, и взрослых. Один из спектаклей этого коллектива прошлым летом был отмечен на международном фестивале в Витебске. Есть театр “Элит”, чьи постановки вызывают несомненный интерес и жаркие споры критиков. Есть у нас шесть клубов пенсионеров, есть землячества. И, наконец, главный мой козырь – литературный альманах. выпускаемый в формате старых добрых “толстых” российских журналов, повергает моего друга в замешательство. Он уже готов возразить, но я достаю из кейса очередной номер журнала, где, кстати, опубликована моя повесть, и дарю ему на долгую память. На лице приятеля вся гамма переживаемых чувств. Он профессиональный журналист, литератор, живя в Москве, был членом Союза писателей, сегодня вынужден писать “в стол”. Деньги на издание региональных литературных альманахов на русском языке никто в Германии пока не дает.

Однако победой в споре я наслаждаюсь не долго. Отпив пива и закулив сигарету, приятель, хитро улыбаясь, спрашивает: “Скажи, старик, не врут ли газеты, утверждая, что тысячи пожилых репатриантов до сих пор живут в Израиле на съемных квартирах и вряд ли станут обладателями своего собственного угла?” И мне ничего не остается, как признать этот печальный факт. И мы продолжаем спорить, хотя точно знаем, что истину не отыщем, ибо и квартира без духовного наполнения – плохо, а духовная жизнь без своего жилья и того хуже.

Чтобы разрядить обстановку, мой собеседник неожиданно спрашивает:

– А в Израиле пиво есть?

– Конечно, есть,

– А какое пиво предпочитают евреи – светлое или темное?

Я не знаю, что ответить, но, посмотрев на фужер с янтарным “Кёльншем”, говорю: “светлое” и случайно избегаю новой вспышки спора. Оказывается, приятель признает только светлое пиво. Вообще все жители Кельна принципиально не пьют темное. А все жители соседнего большого города Дюссельдорфа – наоборот. И только из-за этого они на протяжении нескольких веков недолюбливают друг друга. Хорошо хоть в этом выборе мы оказались с моим приятелем по одну сторону баррикады.

2. Валютные операции

Из Германии мы отправлялись в Ниццу – международный курорт, расположенный на юге Франции на знаменитом Лазурном Берегу. Ехать предстояло через германские земли, через Швейцарию, Италию, Австрию, Францию. И потому сначала надо было заняться валютными операциями – обменять американские доллары на немецкие марки, швейцарские франки, итальянские лиры, австрийские шиллинги и французские франки... Процедура не очень приятная. Требовалось держать в уме одновременно несколько валютных курсов. Причем самая незначительная ошибка могла подорвать наш крохотный бюджет и вместо “покорения Европы” завести в тупик.

В прошлом году, например, в Амстердаме наш гид, показав главные достопримечательности этого славного города, вдруг заявил: “Вы увидели многое, и все-таки, если вы уедете отсюда, не попробовав знаменитую голландскую селедку – мачё, считайте, что вы не были в Амстердаме”. Допустить этого мы не могли, хотя и предвидели некоторые трудности. У нас не было гульденов. Решили рассчитаться американскими долларами.

Хозяин небольшого рестораника, услышав слово “мачё”, улыбнулся нам, как старым добрым знакомым, и тут же принес тарелки с голландским деликатесом. Мачё – это маленькая рыбка, не имеющая ничего общего с нормальной селедкой. И тем не менее особый способ приготовления поставил ее в один ряд со всем тем, что составляет гордость Амстердама. Перед тем, как надкусить мачё, я, во избежание международного скандала, предупредил хозяина, что у нас нет гульденов и мы хотим оплатить счет долларами. Тут же исчезла улыбка, и владелец ресторана, всего лишь минуту назад излучавший радушие, буквально выхватил у нас тарелки с мачё и унес их в свои закрома. Столь резкую реакцию вызвали не американские доллары, их все голландцы любят не менее родных гульденов, а предстоящие неудобства. Получив с нас десять долларов, хозяин ресторана должен был бы обойти

несколько меняльных контор, чтобы отыскать самый приемлемый курс, потом уплатить коммерческий сбор и в итоге заимел бы не прибыль, а лишние хлопоты.

Урок пошел нам на пользу, и мы, будучи в Кельне, отправились в банк. Несмотря на хваленую немецкую организованность, две кассы из четырех не работали. Я начал ворчать, и каждый, кто понимал мое русское ворчание, меня успокаивал: “В будущем году все трудности с обменом денег исчезнут. Двенадцать стран из европейского содружества переходят на единую валюту – евро”. Тут же в банке я впервые увидел образцы новых денег.

Дизайн евро соответствует семи эпохам европейской культуры – классической, римской, готической, Ренессанса, барокко и рококо, эпохам стекла и металла. Вместо портретов видных общественных деятелей на каждой купюре присутствуют три обязательных элемента – европейские мосты, европейские арки и окна, что подчеркивает дух открытости и кооперации в Европе. Банкноты выпускаются семи типов – номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Если вам кто-нибудь попробует вручить купюру в триста евро, знайте – это подделка.

Кстати, фальшивомонетчики уже приступили к делу. Поэтому в европейских банках настоятельно рекомендуют ощупывать каждую ассигнацию. Они сделаны из хлопковой бумаги и имеют особую поверхность. Слишком гладкие не берите. Может так случиться, что не все будет гладко с их сбытом.

Первыми обладателями новой валюты стали грабители. В то самое время, когда мы обменивали в Кельне доллары, в германском городе Гисене несколько гангстеров напали на грузовик, перевозивший валюту, и утащили более миллиона евро и еще триста тысяч немецких марок в придачу. А буквально через несколько дней вооруженная банда напала на почту в южной Италии и тоже унесла несколько миллионов новеньких евро. Поймать преступников не удалось. Вот так делают миллионы, не дожидаясь, пока валюта войдет в обращение. Однако пора в путь.

3. “Ошибаются все, даже Бог”

Ехали мы в прекрасном автобусе фирмы “Мерседес”. Не машина, а чудо технического прогресса! Кресла в нем не просто откидываются до полулежащего положения, но и отодвигаются в сторону. Попался не очень приятный сосед, толкающий тебя то локтем, то бедром, – нажал рычажок и отъехал от него. Не далеко, но настолько, чтобы ощущалась граница. Были в том автобусе и кондиционер, и индивидуальное освещение, и даже туалет. Правда, пользоваться им разрешалось только в самом крайнем случае. Наш гид, весьма

остроумный человек, так и сказал: “Надо, господа, терпеть, и лишь, когда терпение иссякнет...” Вот мы и высчитывали время наступления критического момента. А ехать семнадцать часов! Сначала миновали южную часть Германии, где-то в районе Базеля пересекли швейцарскую границу, потом поехали по Италии и, наконец, по Французской Ривьере. Несмотря на сверхудобные кресла, ночью, пока пересекали Германию, было тяжело. И ноги затекали, и спина ныла... Зато рано утром, когда с первыми лучами солнца въехали в Швейцарию, все неудобства тотчас позабылись. С одной стороны открылся вид на горные вершины, покрытые белым снегом, с другой – на озера необыкновенного бирюзового цвета.

Когда-то замечательный писатель Исаак Бабель, расстрелянный в годы сталинских репрессий, в рассказе “Как это делалось в Одессе” нарисовал такую сценку: известный налетчик Бенья Крик с прискорбием говорит пожилой женщине, у которой по ошибке убили сына: “Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы. Ошибаются все, даже Бог”.

Я смотрел из окна автобуса на первоклассные озера, на горные вершины и тоже никак не мог понять, почему Создатель, имея явное расположение к нашим праотцам Аврааму, Исааку, Иакову, не посоветовал им, не задерживаясь в знойной Палестине, идти на другой берег моря, тем более что перед ними расступались любые воды. В те далекие времена можно было хорошо устроиться и на месте южной Франции, и на месте южной Италии, и в этой самой Швейцарии. Ошибаются все, даже сам Господь Бог! Если бы не эта роковая ошибка, жили бы мы сейчас в чудных швейцарских домиках с красными черепичными крышами, с ярко-зелеными газонами и кустами ароматных роз и до сих пор не знали бы, что означает слово – “интифада”.

Сначала, после того как въехали в Швейцарию, в автобусе слышался восторженный говор, а когда ехали вдоль игрушечных вилл, стало совсем тихо. Видимо, каждый был занят выбором домика для себя и своих близких. И я тоже сидел у окна автобуса и выбирал: “Вот этот, нет вон тот, он поближе к берегу озера и есть удобная маленькая пристань...” Впрочем, это вид из окна автобуса. И у швейцарцев бывают горести. Отнюдь не всегда окружающая природа может залечить все душевные раны. И вообще все мы по-разному воспринимаем красоту. Например, великий писатель Николай Васильевич Гоголь, восторженно воспевавший Днепр: “Чуден Днепр при тихой погоде...”, приехал в Швейцарию и вскоре написал своей матушке, что устал от красоты. “Виды, виды, виды...” Соскучился, мол, по простой деревенской избе.

Зато другой великий русский писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, живя в швейцарском городке Интерлакен, писал так: “Эти тающие при лунном свете очертания горных вершин с бегущими мимо них облаками, эти звуки музыки, разносимые странствующими музыкантами по отелям, – все это нежило, сладко волновало и покоряло. И я, как в полусне, бродил под орешниками, предаваясь пестрым мечтам и не думая об отъезде”. Лично мне ближе восприятие Салтыкова-Щедрина. Однако оставим на некоторое время сказочную Швейцарию и, подчинясь скорости автобуса – сто километров в час, переместимся сначала на Средиземноморское побережье Италии, а затем на Французскую Ривьеру и, наконец, после семнадцатичасового рейса остановимся в Ницце.

4. И все-таки она есть

Когда-то Владимир Владимирович Маяковский в поэме “Облако в штанах” громогласно заявил: “Не верю, что есть цветочная Ницца”. И я, как верный поклонник поэта, тоже перестал верить в эту сладкую утопию. Впрочем, Владимир Владимирович знал, что Ницца есть, он вроде бы даже бывал там, но, возведя этот цветочный городок в символ одряхлевшего капитализма, отрицал его существование. И я тоже догадывался, что Ницца есть, однако повторял: “Не верю...”, ибо понимал, что к моей советской реальности этот средиземноморский курорт никакого отношения не имеет.

И все-таки она есть! И в сентябре прошлого года я ступил на асфальт знаменитой Английской набережной. Правда, насладиться сознанием, что мечта сбылась, не удалось, ибо все мои попутчики – весь автобус – подхватили свои чемоданы на колесиках и покатались к вестибюлю отеля “Массне”, где для нас были зарезервированы места. Вообще жизнь в курортном городе очень часто начинается не с восторженных возгласов: “Как красиво!”, а с довольно-таки прозаичного размещения в “нумерах”. Ну и пока администрация отеля готовится к раздаче ключей, я расскажу о людях, с которыми приехал. Были среди них американцы, канадцы, немцы, русские, австралийцы, израильтяне. И тем не менее одно обстоятельство связывало их воедино: почти все они были евреями. Более того, почти все в недалеком прошлом жили в Гомеле, Пинске, Киеве, Москве или Петербурге.

Как мы оказались вместе? Сначала приехали из своих стран в Германию, в город Кельн. Там в туристической фирме “Инзель” приобрели путевки на поездку в Ниццу. Это не дешевле, чем ехать прямо в Ниццу своим ходом, но гораздо удобнее. Меньше забот. “Инзель” взял обязательство предоставить комфортабельный автобус, доставить нас из Кельна в Ниццу, зарезервиро-

вать номера в гостинице, приставить к нам квалифицированного русскоязычного гида. Вообще-то поездка не считалась экскурсионной, называлась она “Отдых в Ницце”, но в свободное от отдыха время можно было съездить и на экскурсию. Можно было и не ездить. Полная свобода и полная независимость от группы.

Как потом выяснилось, “стаж иностранца” у каждого из нас составлял восемь-десять лет. Не столь уж длительное время, однако и оно успело очень сильно изменить нашу внешность, поведение, отношение к окружающему нас новому миру. Особо выделялись американцы. Их было человек десять. Почти все бывшие одесситы. Выходцы то ли с Молдаванки, то ли с Пересыпи. Объяснялись они лишь на английском: “О’кей!”, “Вери велл!” А одна шустрая толстая тетка, пытаясь прорваться к стойке администратора, то и дело произносила: “Ай’м сорри!”, что в переводе на иврит означает: “Слиха”. Один немец по фамилии Рабинович сказал ей на хорошем английском, что нет, мол, смысла пробиваться к администратору, через несколько минут все получат ключи от номеров, но она ничего не поняла. Выяснилось, что, кроме восклицаний типа “О’кей!”, “Вери велл!” и “Сорри!”, она ничего выучить не успела. И ее земляки тоже. Но им очень хотелось выглядеть настоящими американцами.

Обращала на себя внимание группа новых русских, приехавших из Твери, бывшего Калинина. Они уже поездили по миру и потому старались поддерживать имидж бывалых путешественников. Правда, из последующих разговоров я узнал, что во многих странах они побывали в качестве “челноков” и лишь теперь, накопив первоначальный капитал, получили возможность отдохнуть по-человечески.

Немцы особо не выпячивались. Их больше других волновал вопрос: “Есть ли в номерах холодильник?” Поездив по Европе – а живя в Германии, сделать это не сложно, – они уже давно убедились, что продукты всюду намного дороже, чем у них, и потому привезли с собой сыры, колбасы, сосиски. Сохранить в курортном климате все эти запасы без холодильника невозможно. Вот немцы и волновались.

Израиль представляли два человека – моя жена и я. Поэтому ничего смешного или плохого об израильянах сказать не могу. Вели себя достойно.

Наконец вышла миловидная француженка, видимо помощница хозяина отеля, и вручила нам ключи. А еще через несколько минут раздался радостный многоголосый возглас. Войдя в комнаты, мы обнаружили не только довольно-таки вместительные холодильники типа советского “Саратова”, но и настоящие кухни. В каждом номере отеля “Массне” в простенке между жилой комнатой и ванной была смонтирована миниатюрная кухонька – плита, мой-

ка, столик для разделки продуктов и два навесных шкафчика с набором тарелок, стаканов и даже кастрюлек. Такого сервиса я еще не видел. Обычно хозяева гостиниц даже электрические розетки ставят такой формы, чтобы нельзя было включить кипятильник, чтобы со всеми своими нуждами ты обращался в гостиничный буфет или ресторан. А тут!.. Заводи хозяйство и живи как дома.

Должен признаться, что и у нас с женой тоже “с собой было”. Зная, что в курортных городах цены столь же высоки, как и горы со снежными вершинами, мы в Кельне запаслись и сырами, и колбасами. Разложив все это в холодильнике, мы облегченно вздохнули, ибо необходимость съедать всю колбасу в один присест, чтобы она не испортилась, нас миновала. Теперь можно было наслаждаться красотами Ниццы.

Что же представляет собой Французская Ривьера, или Лазурный Берег? Вообразите такую картину: голубое небо, изящные очертания Приморских Альп, на склонах великолепные виллы, утопающие в зелени, а внизу море необыкновенного лазурного цвета – сине-голубовато-зеленого. Вплотную к роскошным пляжам примыкает широкая набережная, построенная почти двести лет назад англичанами и потому называемая Английской. На другой ее стороне – дворцы, сооруженные в едином классическом стиле. А с неба светит солнце, которое не ошпаривает тебя, не испепеляет, а ласкает и нежит. И всюду добродушные, улыбающиеся люди. Никто никого не взрывает, никто ни в кого не стреляет, все наслаждаются.

Естественно, такое райское место никогда не пустует. Едут люди со всего света, везут миллионы, везут небольшие трудовые сбережения и способствуют тому, чтобы Ницца становилась еще краше и наряднее. Русские дворяне начали туда ездить аж в восемнадцатом веке. А в начале девятнадцатого там поселилась часть царской семьи. Именно в Ницце умер в расцвете сил один из великих князей, и царская семья в его честь возвела великолепный храм, имеющий явное сходство с московским храмом Василия Блаженного. Так что и российские миллионы лежат в основании столицы Лазурного Берега.

Многие великие люди жили и отдыхали в Ницце. Это прославленные художники – Делакруа, Моне, Ренуар, Матисс, Пикассо, Леже, Тулуз-Лотрек, Дега, Шагал. Это писатели – Бальзак, Флобер, Мопассан, Мериме, Дюма, Монтень, Толстой, Герцен, Чехов, Бунин... Это и прославленные политики, полководцы, артисты. И сегодня по Английской набережной гуляют нобелевские лауреаты, голливудские звезды, российские олигархи, миллиардеры из Кувейта и Саудовской Аравии.

Жизнь в Ницце у большинства отдыхающих, несмотря на различие характеров и вкусов, течет по сходному распорядку – утром народ идет на пляж.

В обеденное время – на обед. Параллельно набережной тянется улица Массена, представляющая собой бесконечную цепь ресторанов. Ее называют пешеходной улицей, однако пешеходы вынуждены лавировать между столиками, заполняющими все пространство. Вечером – “променад” по набережной, тысячи людей движутся вдоль моря. Ну, а богатые постояльцы Лазурного Берега отправляются в многочисленные игорные дома – казино.

4. Месье, эйфо пантеон?

У нас с женой распорядок был немного иным. Долго сидеть на пляже не могли – здоровье не позволяло. Играть в казино не позволяло материальное положение. Поэтому, поплавав утром в лазурном море, мы отправлялись бродить по городу. На следующий же день после приезда решили побывать у могилы Александра Ивановича Герцена – автора знаменитой книги “Былое и думы”. Похоронен он почти в самом центре города, на высоком холме. Когда-то этот холм был окраиной Ниццы и там образовали кладбище. Город разросся, и холм оказался в центре. Подняться наверх можно на лифте и по лестнице. Лифт в тот день не работал, и мы совершили восхождение по лестнице. Должен заметить, что дело это не простое. Две молоденькие японочки преодолели лишь половину дистанции, сфотографировались на фоне открывшейся панорамы и отправились вниз. Мы же, жители горной израильской Галилеи, прошедшие суровую школу на ее серпантинах и лестницах, устремились вверх.

На вершине холма раскинулся огромный парк, но как пройти сквозь него к кладбищу – не ясно. А спросить некого. Лифт не работает, людей нет. Наконец нашли человека, сгребавшего желтые осенние листья. Но на каком языке обратиться? По-французски я знаю лишь “гарсон”, “пардон” и Наполеон. Однако делать нечего, надо объясняться. Знать бы хоть, как по-французски кладбище. И тут меня осенило, я вспомнил слово “пантеон”. Пан-те-он! Это место, где хоронят великих людей. Подойдя к французу, я выпалил: “Месье, эйфо пантеон?” Он внимательно вслушался в мои слова, но, видимо, ничего не понял. Наверное, его смутило слово “эйфо”, означающее “где”, но – на иврите. Тогда я стал повторять: пантеон, пан-те-он, пан-те-он. Француз вежливо улыбался, но не мог сообразить, чего я от него хочу. Он не знал и слова пантеон. И тут моя жена сказала: “Герцен”. “Херцен?” – повторил наш собеседник и еще приветливее заулыбался, всем своим видом показывая, что он понимает нас. Повторяя: “Херцен, Херцен”, он начертил нам на парковой дорожке путь к кладбищу.

Удивительный случай! Простой француз не знает слово “пантеон”, но знает имя русского революционера, писателя и философа позапрошлого века – Герцена.

По пути к могиле Герцена мы сначала попали на еврейское кладбище. В Ницце когда-то была большая еврейская община, обладавшая и авторитетом, и силой. Она-то и отвоевала столь прекрасное место для своих захоронений. Должен заметить, что оно не имеет ничего общего с кладбищами на Земле Обетованной. Никого аскетизма. Прекрасные памятники, роскошные склепы, настоящий мрамор – все выглядит торжественно и красиво. Пройдя к центру, мы обнаружили надгробия с такими датами захоронения: 1790, 1795, 1798... Двести с лишним лет! И никакого запустения, никаких следов вандализма. Лежать на таком кладбище, наверное, и есть вечное блаженство.

А за не очень высокой каменной стеной – христианское кладбище, где и похоронен Герцен. Найти его могилу нетрудно, у него самый большой участок, хотя земля там дороже золота. В центре ухоженного газона стоит отлитый во весь рост Александр Иванович.

Кто же он? В бывшем СССР было множество улиц Герцена, площадей, библиотек его имени. Однако о самом Герцене многие только и знали из школьной программы, что в молодости он и его друг Николай Огарев поклялись в Москве на Воробьевых горах вечно дружить и бороться за просвещенную Россию.

Александр Иванович был сыном очень богатого помещика. В своем автобиографическом романе “Былое и думы” он пишет, что жили они в Москве в Староконюшенном переулке в огромном мрачном доме. Воспользовавшись тем, что соседка графиня Растопчина продает усадьбу, отец расширил свои владения, купив ее дом с огромным садом в самом центре Москвы. А чтобы никто не мешал, купил и еще один соседний дом, в котором никто не жил, зато он отгораживал семейство Герценов от суетного мира. Ничто не мешало юному Герцену получить прекрасное образование. Но, поступив затем в Московский университет, он впал в вольнодумство, и в итоге был сослан царем в Вятку.

В советской энциклопедии Александра Ивановича Герцена называют философом, писателем, революционером... Однако вряд ли кому-нибудь придет в голову сравнивать его с такими философами, как Кант, Гегель или Шопенгауэр. Писатель! Но вряд ли его можно сравнивать с Толстым, Достоевским или Буниным. Революционер? Возможно. Однако здесь следует указать, что в ссылку по печально знаменитому владимирскому тракту, по которому, звеня кандалами, прошли многие безвестные революционеры, он ехал в собственной карете с камердинером. Но судьбе было угодно сделать из него героя и она настойчиво заботилась о его славе.

Говоря о заслугах Александра Ивановича перед историей, я не скрываю некоторой иронии. Кого он разбудил своим “Колоколом”, сегодня трудно по-

нять. И тем не менее отношусь к нему с большим уважением. В основном как к автору книги “Былое и думы” – блистательному образцу художественной публицистики. Именно он впервые рассказал об ужасающем положении еврейских детей, отданных в кантонисты.

Словом “кантонисты” в русском языке того времени называли солдатских детей, с раннего возраста приписанных к военному ведомству. У российских евреев оно имело еще и иной смысл. Еврейские общины вместо взрослых рекрутов отдавали на армейскую службу малолетних еврейских сирот. Поскольку еврейские дети часто отличаются хорошим музыкальным слухом, их, как правило, определяли в подразделения военных музыкантов. В армии ребятишек насильно крестили, давали новые имена, и от их еврейства, кроме внешности, ничего не оставалось.

Герцен описывает сцену, свидетелем которой он стал поздней осенью на каторжном тракте. Неожиданно на одном из перегонов он увидел солдатский строй, в котором вместо обычных мужчин стояли дети восьми, десяти, двенадцати лет. Шинели из толстого солдатского сукна со стоячими воротниками подпирали их маленькие головки. Темные круги под глазами, бледные дрожащие губы – все это говорило о том, что дети простужены и находятся в лихорадке.

– Куда вы их гоните? – спросил Герцен этапного офицера.

– Сначала был приказ гнать в Пермь, да вышла перемена, теперь гоним в Казань. Только половина не дойдет до назначения.

– Повальные болезни, что ли?

– Нет, не то чтоб повальные, а мрут, как мухи. Жиденок, знаете, этакий чахлый, тщедушный, не привык часов десять грязь месить да есть сухари... Опять – чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства; ну покашляет, покашляет – да и в Могилев (могилу). Одна треть уже осталась на дороге. Беда, да и только.

Герцен с ужасом смотрел на бледных, измученных еврейских детей, испуганно глядевших на грубых солдат, выравнивавших строй, и понимал, что эти несчастные ребятишки шли прямо в могилу.

За несомненный талант публициста, за обостренное чувство справедливости и за эту страшную правду мы поклонились Александру Ивановичу Герцену, стоя перед его памятником на кладбище в Ницце.

5. Устрицы с белым анжус

Однако оставим места скорби и возвратимся на улицы самого прославленного курорта мира. Во всяком случае, по количеству знаменитостей, жив-

ших и отдохавших там, Ницца безусловно занимает одно из первых мест. Не успели мы пройти два квартала по старому городу, как увидели на одном из домов мемориальную доску: “Здесь жил великий скрипач Никколо Паганини”. Прошли еще немного – и снова мемориальная надпись... А затем попали на площадь Кур Салейя, где размещается одна из главных достопримечательностей Ниццы – цветочный рынок. Рассказать обо всех цветах, выставленных там, или хотя бы их перечислить я не смогу, ибо потребуется несколько часов. Просто представьте себе огромную клумбу, из которой кое-где торчат головы торговцев, – это и есть цветочный рынок Ниццы.

Рядом – обычный продуктовый базар. Горы фруктов, горы овощей! Почти как у нас, и все же по-другому, у нас повеселее. Наши торговцы экспансивны, зазывая покупателя, они и кричат, и поют, создавая тем самым атмосферу восточного базара. И цены у нас пониже, зато там спокойнее, а товарный вид продуктов гораздо эффектнее. И никакой принудилочки. У нас, например, яйца продают лишь по тридцать штук. Чтобы купить пятнадцать, надо вступать в переговоры. Но зачем, например, пожилой супружеской паре сразу тридцать яиц? Через неделю они уже будут яйцами недельной свежести. А там – покупай хоть одно-единственное яичко, которое снесено сегодня утром. И вообще в нынешней Европе рынок существует для покупателя, и именно он – покупатель – диктует свои условия. У нас же в большинстве случаев условия диктует продавец. Ну да ладно.

Продуктовый рынок в Ницце работает до обеда. Примерно в час дня торговые ряды, навесы, киоски убираются, и площадь Кур Салейя без единой соринки передается в распоряжение кафе и ресторанов. Там, где полчаса назад торговали сырыми устрицами, омарами и мидиями, теперь выстраиваются столики с красивыми скатертями, и все морское изобилие подается в готовом виде. И тысячи отдыхающих заполняют площадь Кур Салейя. Должен вам сказать, что попробовать устрицы с анжу – белым вином надо обязательно. Это не только вкусно, но и увлекательно. Взяв у нас заказ, официант исчез, и вскоре поставил нам на стол пустое ведерко. Зачем оно, мы не знали. Однако, поглядев на соседние столики, быстро сообразили, что к чему. А уж когда принесли еще одно ведерко, доверху заполненное устрицами, все окончательно прояснилось: съешь маленькую улитку, а пустую раковину – в специальную емкость. Вот сидишь и перекладываешь из одного ведерка в другое. Главное при этом – получать удовольствие. Иначе все теряет смысл.

Пляжная полоса Лазурного Берега Франции протянулась на восемьдесят километров. На этом райском отрезке разместилось множество городов и городочков. В одном из них вроде бы купила себе огромное поместье семья Ельцина, неподалеку вроде бы и вилла Березовского. Однако самый известный город на Ривьере – это Канны, где проходят знаменитые кинофестивали.

И, конечно же, каждый турист, отдохнув несколько дней в Ницце, едет в Канны сфотографироваться на прославленной лестнице, по которой звезды кино поднимаются в фестивальный зал. И мы там сфотографировались и вместе со всеми сожалели, что в то время в Каннах не было никакого фестиваля и нам не удалось посмотреть на голливудских звезд. Однако, признаюсь, меня это не очень расстроило, главное разочарование ждало меня через два дня, когда мы отправились в город Грасс, поклониться местам, где жил и работал великий русский писатель Иван Алексеевич Бунин.

6. Трава забвения в Грассе

Приехали и не смогли найти не только его дом, но даже район, где тот дом стоял. Дорогу к Герцену нам указал простой дворник, а путь к местам Бунина никто не знал. Ни местные жители, ни экскурсоводы. Таковы причуды судьбы. К великому сожалению, Ивана Алексеевича Бунина плохо знают и в России. А между тем это величайший российский писатель. Почему же слава обходила его стороной даже во времена его высочайшего взлета?

У меня есть свой вариант ответа на этот вопрос. Иван Алексеевич родился 10 октября 1870 года. В том же году родился и Владимир Ильич Ленин. Вроде бы и не столь уж значительное совпадение, но именно оно сказалось на судьбе Бунина. В 1917 году, когда Бунин был уже достаточно популярен в литературных кругах России, стал академиком изящной словесности и до мировой писательской славы ему оставалось несколько шагов, Ленин “свершил” великую октябрьскую революцию, в результате чего многие прекрасные писатели, художники, артисты, отказавшиеся ее принять, оказались в эмиграции. Говорят, что переезд на новую квартиру равен пожару. Переезд же в другую страну, как мы знаем, равен двум пожарам. Вот в этих-то пожарах и затерялась слава Бунина. И все-таки справедливость восторжествовала. Причем все главные события произошли именно в Грассе.

Я стоял на главной улице этого городка, глядел на вершины Приморских Альп, на стройные кипарисы вдоль извилистой горной дороги, на лазурное море и удивлялся. Как можно было здесь, где буквально ничто – ни небо, ни море, ни зелень – не напоминает русскую природу, воссоздавать картины зимнего Петербурга, родных мест на Орловщине, запах антоновских яблок! Видимо, все, о чем рассказывал Бунин, постоянно жило в его душе, в его сознании, и само место, где протекал творческий процесс, не имело для него существенного значения. Здесь, в Грассе, Бунин написал свою знаменитую повесть “Жизнь Арсеньева”, цикл пронзительных рассказов о любви “Темные аллеи”, здесь к нему пришла мировая слава.

Это было в ноябре 1933 года. День выдался пасмурным, и работать не хотелось. Иван Алексеевич встал из-за письменного стола и решил пойти в синема – кинотеатр, который находился в центре Грасса, наверное, неподалеку от того места, где я просил прохожих указать дорогу к дому великого писателя. Шел фильм под названием “Бэби”. Единственное, что интересовало Ивана Алексеевича, так это то, что главную роль играла дочь писателя Александра Куприна – хорошенькая Киса Куприна. Во время сеанса подошел служитель кинотеатра с карманным фонариком и шепотом произнес: “Господин Бунин, вам срочное сообщение из Стокгольма”. Это была телеграмма о том, что Королевская Академия Швеции присудила Ивану Алексеевичу Бунину Нобелевскую премию. Он стал первым русским писателем, удостоенным этой самой престижной в мире награды. 10 декабря 2001 года исполнилось ровно сто лет со дня ее первого вручения, и поэтому я попытаюсь передать атмосферу, в которой избранные из самых избранных становятся нобелевскими лауреатами.

Когда Бунин поднялся на гору, к дому, где снимал комнаты, там уже толпились местные журналисты. Мальчик – разносчик телеграмм принес десятую поздравительную депешу. А в доме писателя не было ни копейки, чтобы дать на чай юному почтальону. Но огромное богатство было уже совсем рядом. Нобелевская премия – это не только мировое признание, но и большие деньги. В то время она составляла не менее половины миллиона долларов. Тихая жизнь в Грассе, на природе, отступила в тень. Начались дни торжеств.

Нобелевскую премию вручает король Швеции. И делает это он всегда в один и тот же день – десятого декабря в столице Швеции. А потому третьего декабря Иван Алексеевич Бунин отправился в Стокгольм. Прибыл туда, и сразу же возникла проблема. По существующему протоколу каждого лауреата на церемонии королю представляет посол той страны, где родился лауреат. А послом Советского Союза в Швеции тогда была Александра Михайловна Коллонтай – большевичка с дореволюционным стажем, ниспровергательница буржуазного уклада жизни и даже такого понятия, как семья. Бунин не признавал советскую власть и всех ее представителей и заявил журналистам, что не желает стоять на церемонии рядом с большевистским послом.

Наутро шведские газеты вышли с заголовками: “Певец любви не любит большевичек”, “Нобелевский лауреат не хочет стоять рядом с советским послом”. Разразился политический скандал, в результате которого Коллонтай демонстративно отказалась присутствовать на вручении премии. Однако шведам принципиальность Бунина понравилась, и они всюду встречали его как настоящего героя. В его честь давались торжественные обеды, вечера, проводились встречи с писателями, журналистами. Должен заметить, что со

времен поражения под Полтавой в Швеции всегда ощущалась прохлада по отношению к России. А тут вдруг русский писатель стал главным героем газетных репортажей, разговоров и слухов.

И вот наступил день триумфа. На торжестве надо быть во фраке. Женщины по протоколу обязаны явиться в вечерних платьях. Для придворных шведского королевства это не обременительно, для эмигрантов же – новая сложность. Однако все уладилось, и в назначенное время Иван Алексеевич был во фраке. Выглядел он прекрасно – благородная седина, ему в то время было шестьдесят три года, стройная худощавая фигура, манеры светского человека. Аристократизм потомственного дворянина наконец-то пригодился и внес необходимые штрихи к портрету. Сопровождавшие его женщины тоже привлекали внимание публики. Жена – Вера Николаевна Бунина сочетала в себе подлинную красоту и приветливость. Вторая дама – молодая писательница Галина Кузнецова. В течение нескольких лет она жила в доме Буниных и, как говорят, была любовницей Ивана Алексеевича, что не мешало ей дружить и с Верой Николаевной.

Раздобыл где-то фрак и согласившийся временно исполнять обязанности личного секретаря Бунина Андрей Седых. Он был достаточно известным журналистом – корреспондентом парижской русскоязычной газеты “Последние новости”. Часто выступал с очень острыми материалами. Однажды в редакцию пришел какой-то человек и сказал: “Я прочел статью Андрея Седых. Она мне очень понравилась. Чувствуется, что ее написал русский человек. Я хотел бы пожать ему руку”. Сотрудник редакции, к которому обратился пришелец, приоткрыл соседнюю дверь и крикнул: “Яков Моисеевич, к вам посетитель!” “Русский человек” Андрей Седых был Яковом Моисеевичем Цвибаком. Андрей Седых – это псевдоним.

За десять минут до начала церемонии, поднявшись по широкой парадной лестнице, свита Бунина вошла в зал. Всюду мужчины во фраках, при орден-нах, женщины в вечерних туалетах. Ровно в пять часов прозвучали фанфары, и церемониймейстер, ударив жезлом о пол, провозгласил: “Его величество король!” В зал вошел Густав Пятый, за ним – попарно – члены королевской семьи, двор, члены Шведской Академии. И снова зазвучали фанфары. Теперь они возвещали выход лауреатов.

Каждый из них должен был произнести речь. Обычно ограничивались словами благодарности за высокую честь, комплиментами в адрес короля. Выступление Бунина обрело особое звучание. Он заявил, что впервые Нобелевская премия вручается человеку без родины, писателю-изгнаннику. Это знак полной независимости Шведской Академии, символ уважения Швеции

к свободе. Бунин вышел за рамки протокола и ступил на политическую почву. Но публика отметила его речь громом аплодисментов.

Густав Пятый вручил Бунину золотую Нобелевскую медаль и красную сафьяновую папку. Потом начались общие поздравления, рукопожатия, и Иван Алексеевич, чтобы освободить руки, отдал сафьяновую папку Андрею Седых. А тот положил ее на стул и забыл о ней.

Когда церемония закончилась, нобелевский лауреат обратился к своему секретарю:

– Ну, а теперь, Яшенька, давайте рассмотрим чек!

– Какой чек? – удивился Седых.

– Тот самый, на котором сумма премии написана прописью, – с улыбкой заметил Бунин. – Он лежал в красной сафьяновой папке. Где она?

Стали искать папку. Нигде нет. Обошли весь зал. Нет. И лишь на сцене, возле крайней кулисы на задвинутом в угол стуле увидели красную папочку. Открыли и с трепетом взяли в руки заветный чек на огромную сумму.

7. Отлучение от российского читателя

Иван Алексеевич Бунин стал первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии. Лев Николаевич Толстой по каким-то причинам не захотел, чтобы его выдвигали, а вот Алексей Максимович Горький вроде был не против. Советский Союз в течение нескольких лет зондировал почву и, когда премию все-таки дали не основоположнику социалистического реализма, а эмигранту Бунину, разразился скандал. Советские газеты припомнили ему все: и оскорбление посла в Швеции Александры Коллонтай, и речь на церемонии, и иные высказывания в адрес большевиков. И с тех пор, а было это в 1933 году, лауреата Нобелевской премии, замечательного русского писателя Ивана Бунина в Союзе предали анафеме. Толстого в свое время “отлучила” русская православная церковь, Бунина – советская власть.

Целое поколение советских читателей вообще не знало писателя Бунина. Только в середине пятидесятых, после смерти Ивана Алексеевича, стали издавать отдельные книжечки. А потом наконец-то вышел пятитомник и публика обомлела: “Как же можно было скрывать от народа такого писателя!” Впрочем, точно так же от советского читателя его родная власть скрывала поэзию Есенина, Георгия Иванова, Ходасевича, Адамовича, прозу Замятина, Пильняка, Мережковского, Алданова. Уже только за одно это советская власть должна была уйти навсегда.

Итак, писатель, несколько дней назад не нашедший двух-трех монеток, чтобы дать почтальону на чай, стал настоящим богачом. И сразу же к нему стали

приходить десятки, сотни писем с просьбами оказать материальную помощь. Оказывается, есть множество людей, которые неустанно пытаются отщипнуть хоть капельку от чужого каравая. Бунин не жадничал и помогал многим. Даже тем, чьи письма нельзя было читать без смеха. Один матрос-пьяница сообщил писателю, что ему срочно нужны пятьдесят франков на выпивку. И добавил, что если Бунин пришлет ему эти деньги, то и на будущий год обязательно снова получит Нобелевскую премию. Здесь надо заметить, что Нобелевская премия в области литературы дается один раз в жизни. Но Ивану Алексеевичу идея очень понравилась, и он выслал матросу пятьдесят франков. Однако не всегда благотворительность сопровождалась улыбками.

Были и обиды. Например, когда Бунин перевел сто тысяч франков в фонд помощи литераторам. Распределением этих денег занимались выборные люди, кому-то они выделили больше, кому-то меньше, а виноватым в итоге оказался сам Бунин. Известная писательница-юмористка Надежда Александровна Тэффи пошутила тогда так: “Нам не хватает теперь еще одной эмигрантской организации – объединения людей, обиженных И.А. Буниным”. Однако деньги таяли так быстро, что проблема с пожертвованиями исчерпалась сама собой.

8. Лучшие бедность, чем неволя

Впрочем, можно было еще раз разбогатеть. После разгрома фашистской Германии часть русской эмиграции потеплела к Советскому Союзу, восторгаясь его великой победой. Изменилось отношение к эмигрантам и у советских властей. Видимо, то обстоятельство, что слава великих русских талантов – Шаляпина, Рахманинова, Бунина – не принадлежит России, не устраивало советское руководство. Еще в середине двадцатых уговорили вернуться знаменитого “советского графа” – Алексея Толстого. В 1937-м привезли на Родину Александра Ивановича Куприна, мечтавшего хотя бы умереть в России. Дым отечества не смог восстановить писательские силы. Александр Иванович еще немного пожил, но писателя Куприна не стало уже давно.

В конце сороковых годов к Бунину обратились с просьбой разрешить издание в СССР сборника его рассказов и повести “Жизнь Арсеньева”. Мало кто из писателей устоит перед возможностью открыть свои сочинения для многомиллионной читательской аудитории. Не устоял и Бунин. А через какое-то время его пригласили в советское консульство якобы для уточнения некоторых вопросов, связанных с изданием книги. Сразу после обсуждения сугубо литературных проблем Ивана Алексеевича провели в соседний зал, где был накрыт стол. Гостеприимный консул тут же предложил выпить за победу над фашистской Германией, затем за силу русского оружия и, конечно же, за силу

русского слова. Когда банкет приближался к завершению, консул сообщил Бунину, что если бы Иван Алексеевич возвратился на родину, его книги издавались бы миллионными тиражами, писательская слава прогремела бы на весь мир, а такое понятие, как материальная нужда, исчезло бы из его жизни навсегда. Несмотря на заманчивость предложения, Иван Алексеевич поблагодарил консула, но от возвращения в Россию отказался.

Последние годы жизни прошли в постоянных поисках денег. 8 ноября 1953 года Иван Алексеевич Бунин умер в своей небольшой парижской квартире. Похоронен он на кладбище Сент-Женевьев де Буа. Я был там и возложил цветы на его могилу.

9. “Эх, дубинушка, ухнем!”

И вновь вернемся на Лазурный берег. Путешествуя по нему, постоянно ощущаешь причастность к русской литературе, музыке, театру. Грасс – это Иван Бунин, Антибы – это великая русская балерина Матильда Кшесинская. Именно там она жила, вырвавшись из большевистской России. Ницца – это Герцен и еще десятки знаменитых российских имен.

Однажды на Английской набережной – центральной улице Ниццы – мы остановились у красивого здания, фасад которого пестрел яркими афишами. Нетрудно было догадаться, что мы подошли к театру. Я уже знал, что здесь в течение шести или семи сезонов пел великий русский певец Федор Иванович Шаляпин. Большая парадная дверь была приоткрыта, и мы вошли посмотреть хотя бы вестибюль. Тут же к нам подошел служитель, очень пожилой человек, и стал выпроваживать нас, говоря, что театр пока еще закрыт. Наша переводчица сказала ему, что мы иностранцы и хотим посмотреть лишь оформление главного вестибюля.

– Откуда они? – спросил старичок.

– Это русские израильтяне.

Служитель театра надолго задумался, однако кто такие “русские израильтяне”, так и не понял. Но в вестибюль все-таки впустил. Более того, зажег свет, осветив убранство зала и главную парадную лестницу. Подойдя к ней, я сказал по-русски, что вот по этим ступеням поднимался великий Шаляпин и что именно здесь восторженная публика бросала ему под ноги цветы. Старичок прислушался к моей речи и, уловив слово “Шаляпин”, закивал головой. На лице его появилась добрая улыбка, и он вдруг произнес: “Дубинушка!” Оказалось, что он работает в этом театре уже 66 лет, и пятнадцатилетним пареньком присутствовал на выступлении Шаляпина. Впечатление

было столь велико, что он на всю жизнь запомнил “Эй, дубинушка”, понимая это как проявление огромной русской силы.

Обычно Шаляпин на зарубежных сценах редко пел по-русски. Но иногда, по просьбе публики пел “Блоху” и, конечно же, “Дубинушку”. Здесь, в Ницце, на его концерты приезжало множество русских эмигрантов. И во втором отделении, как правило, из зала начинали раздаваться выкрики: “Дубинушку!” Федор Иванович, будучи не только замечательным певцом, но прекрасным артистом вообще, соглашался спеть эту песню не сразу, сначала “подогревал” зал и, лишь раззадорив публику, выходил на авансцену и затягивал:

*Много песен слышал я в родной стороне,
В них про радость и горе мне пели,
Но одна лишь из них в память врезалась мне –
Это песня рабочей артели...*

Федор Иванович взмахивал руками, и русская часть зала на удивление французам и “разным прочим шведам” подхватывала: “Эй, дубинушка, ух-нем!” На многих таких концертах присутствовал очень близкий друг Шаляпина Иван Бунин. Часто после выступления ехали в ресторан и по-русски “гуляли” до утра. Однажды, с трудом встав из-за стола, подошли к лифту и обнаружили, что он не работает.

– Придется пешком тащиться на свой пятый этаж, – разочарованно произнес Бунин.

– А вот этого мы не допустим! – воскликнул Шаляпин. – Негоже нобелевскому лауреату ходить пешком!

Федор Иванович схватил Бунина и, несмотря на его сопротивление, на руках вынес на пятый этаж. Тут же заказал еще вина и продолжил застолье. Ему нравилось показывать свою силу, русскую удадь, широту характера и здесь уж он не желал слушать никаких уговоров. Гулять так гулять!

И вот такого человека советская власть взялась перевоспитывать. Революция застала его в России, и он на первых порах даже сочувствовал большевикам. В 1918 году ему было присвоено почетное звание народного артиста республики. Однако очень скоро стало понятно, что вместо обещанной свободы в России установилась новая форма крепостничества. Как-то раз в Москве какой-то комиссар стал разяснять Шаляпину, что такое пролетарское искусство и какие оно ставит задачи перед каждым артистом. Федор Иванович сначала слушал молча, видимо, решив не связываться с комиссаром, но через несколько минут его терпение иссякло, и, поднявшись во весь свой рост, он загремел:

– Ты кого учишь, сукин сын! Я царя Бориса понимаю, а твоего пролетарского искусства понять не могу?! Вон отсюда, пока я тебя с лестницы не сбросил!

На первых порах ему такие выходки прощались, но вскоре тучи стали сгущаться. Многим истинным поклонникам Шаляпина было ясно, что обуздать великого артиста советская власть не сможет, следовательно, она должна будет его сломить и уничтожить. И они советовали Федору Ивановичу как можно скорее покинуть Россию. Пришлось Шаляпину идти на поклон к Дзержинскому и просить разрешения на выезд, убеждать, что его выступления за границей продемонстрируют всему миру, как развивается и крепнет советское искусство. И глава ЧК подписал разрешение на выезд Шаляпина за рубеж вместе с семьей. Не думаю, что Дзержинский был столь наивным человеком и не понимал, какой документ выдает прославленному артисту. Видимо, не захотел брать на душу еще один тяжкий грех.

Между тем, отправляясь в дальний путь, Федор Иванович вынужден был подписать кое-какие обязательства. Во-первых, все-таки обещал вернуться, во-вторых, выступать за рубежом в качестве советского артиста и, в-третьих, отчислять из всех своих гонораров определенный процент в казну советской республики. Но, как только пересек границу, постарался все эти обещания забыть. И вот года через два в его парижской квартире появился чиновник из советского полпредства. Осмотрел шикарное убранство шаляпинских апартаментов, постоял возле огромного кустодиевского портрета Шаляпина во весь рост в шубе нараспашку и напомнил Федору Ивановичу, что по соглашению с наркомпросом тот обязан выплатить обещанные деньги. Должок накопился порядочный. Домашние, зная крутой характер Федора Ивановича, затаили дыхание, боясь, что он вот-вот взорвется и спустит советского чиновника с лестницы. Сам же артист сидел и внимательно слушал, ничем не выдавая своего раздражения. Наконец поднялся и сказал: “Долги надо платить. Подождите одну минутку”, – и вышел в соседнюю комнату. Там отыскал в письменном столе старую чековую книжку Петербургского Международного Банка, которую хранил, как реликвию, ибо тот банк уже давно был национализирован большевиками, и выписал чек на несколько миллионов рублей. Возвратившись в гостиную, протянул чек чиновнику и сказал:

– Вот, можете получить в Петербургском банке.

После этого инцидента советская власть так разобиделась, что в срочном порядке издала указ о лишении Шаляпина почетного звания народного артиста республики. Узнав об этом, Федор Иванович побледнел и произнес:

– Они могут меня лишить титула, который сами придумали, но никто не может у меня отобрать другое, более важное звание – русский артист. Им я был и останусь навсегда.

Уже давно нет советской власти, а удивительный голос Шаляпина все еще звучит. И маленький старичок – служитель театра в Ницце, поняв из нашего разговора только одно слово “Шаляпин”, тут же с доброй улыбкой произнес: “Дубинушка”.

10. Рулетка в Монте-Карло

Перед отъездом из Ниццы мы побывали в Монте-Карло – городе самого знаменитого казино. В нем столько проиграно денег, столько оставлено состояний, в том числе и российских, что уклониться и не проиграть еще хотя бы капельку мы не могли. Тем более что жена взяла с собой в наше путешествие вечернее платье и возникла наконец-то возможность его надеть и выйти в свет.

Само здание казино – не только памятник разбитым надеждам, не только литературный памятник, но и архитектурный шедевр, охраняемый законом княжества Монако. А внутри – мрамор, позолота, фрески знаменитых мастеров и множество игровых столов, покрытых зеленым сукном, за которыми сидят и напряженно следят за бегом маленького шарика поклонники рулетки. Рассказывать о своем проигрыше я не буду. Сначала хотел, но, став в конце вечера свидетелем одной сцены, передумал. Помимо рулетки, в казино Монте-Карло – множество залов с игральными автоматами. Есть автоматы, куда бросают по одному франку, есть пятифранковые, десяти, а есть и тысяchefранковые. Тысяча франков – это примерно сто пятьдесят долларов или шестьсот с лишним шекелей. Так вот, возле такого автомата в нашем присутствии остановился мужчина лет сорока, в красивом дорогом костюме, с массивным перстнем на пальце и начал игру, то есть стал бросать в прорезь автомата жетоны по тысяче франков. Один, второй, третий, десятый, тридцатый и так далее. Табло автомата показывает: мимо, мимо, мимо. Игра идет довольно-таки быстро. На то, чтобы бросить жетон и убедиться, что не выиграл, а проиграл, уходит двадцать секунд, не более. А человек, о котором идет речь, бросает жетоны по тысяче франков и бросает. Проходит десять минут, пятнадцать, двадцать... Начинает собираться народ. Даже для казино в Монте-Карло – это событие, заслуживающее внимания. Примерно через полчаса, так ничего не выиграв, он наконец-то отошел от автомата и пошел к рулетке, чтобы заняться настоящим делом. Игра возле тысяchefранкового автомата, как я понял, была лишь разминкой. Сколько же он проиграл? Тысяча

франков за двадцать секунд, три тысячи в минуту, девяносто тысяч франков – за полчаса. Это примерно пятнадцать тысяч долларов! Пятнадцать тысяч долларов только на разминку! Поэтому не стану ставить себя в смешное положение и о своем проигрыше ничего не скажу.

11. Брудершафт по-швейцарски

После Французской Ривьеры мы отправились в Швейцарию. Как уже говорилось, это страна необыкновенной красоты – “первоклассные озера”, горный воздух и сплошные туристы. Остановились мы в городке Монтре на самом берегу Женевского озера. Когда-то в Монтре жил великий русский писатель Владимир Набоков, автор знаменитой “Лолиты”, прекрасных книг: “Защита Лужина”, “Дар”, “Приглашение на казнь” и многих других. Чтобы не связывать себя домашним хозяйством, он не стал покупать дом, а прожил, как настоящий эмигрант, семнадцать лет в гостинице, занимая прекрасные апартаменты. Набоков был богатым человеком. Теперь в вестибюле гостиницы, где он жил, установлен памятник из бронзы. Однако памятник ему поставили не благодарные читатели, а хозяева гостиницы, ибо с тех пор у них больше не было постояльца, который бы прожил в номерах “люкс” целых семнадцать лет.

Побывали мы в Берне, Люцерне, Женеве, Лозанне, в чудном городке Интерлакен и всюду видели одно и то же: красота, чистота, спокойствие. Удивительная страна. Она уже много лет ни с кем не воюет. Практически не имеет армии, однако прославилась именно своими воинами. В средние века все европейские монархи держали в своей гвардии швейцарских наемников – смелых и преданных воинов. Ну, а в наши дни Швейцария славится своим нейтралитетом, обилием банков, часов “Лонжин”, “Ролекс”, “Омега” и сыров.

Кстати, о сырах.

Чтобы понять и хотя бы чуть-чуть ощутить жизнь страны, надо, помимо всего прочего, еще и попробовать какое-нибудь блюдо из народной кухни. В Швейцарии главное национальное кушанье – фондю. Этим словом обозначается и посуда, в которой подается еда, и процесс ее приготовления, и само блюдо. Мы решили попробовать и однажды вечером, возвратившись с какой-то экскурсии, несмотря на усталость, отправились в соседний ресторан. Пришли, сели за столик и заказали фондю. Официанты почти всех стран понимают по-английски. Хоть немного, но понимают. Во всяком случае, мою просьбу: “Гив ми фондю” поняли. И вот на наш стол ставят красивую горелку с синим пламенем, потом приносят круглую жаровню, тоже очень изысканную, и вазу с ароматным хлебом. Заглянув в жаровню, я увидел там кипящую светлую массу. Оказалось, это сыр. Видя, что мы не знаем, как посту-

пить дальше, официантка – милая швейцарочка улыбнулась, отломала кусочек хлеба, проткнула его специальной тонкой длинной вилкой, и, подержав в кипящем сыре, положила на тарелку. Блюдо готово. Простенько, но вкусно. А с белым вином особенно. И увлекательно. Нанизываешь на вилку хлеб, опускаешь в жаровню... Все время при деле.

Коренные жители Швейцарии придают фондю еще некий философский смысл. Во-первых, оно способствует укреплению дружбы. Люди опускают хлеб в одну посудину, то есть едят из одной миски. После этого обычно переходят на “ты”. Это примерно то же, что и выпить на брудершафт. Во-вторых, фондю позволяет неторопливо поговорить. Пока нанизываешь хлеб, пока опускаешь его в сыр, может придти в голову какая-нибудь интересная мысль. Вообще, фондю – не просто еда, а совместное препровождение времени. Мне это очень понравилось, тем более что через какое-то время я отодвинул хлеб, сыр и стал пить вино. С каждым стаканом настроение становилось лучше, и вскоре в голову пришла-таки замечательная мысль – заказать еще одну бутылку вина.

12. “Аида” в Венской опере

В заключение хочется рассказать о поездке в Вену. Уверен, что читатели знают об этом чудном городе почти все – и то, что в нем жили Моцарт, Бетховен, Брамс, Шуберт, Гайдн и король вальса Штраус, и что венский оперный театр долгое время считался лучшим в Европе. Кстати, одесситы утверждают, что их театр точно такой, как в Вене. Однако жители Вены пока ничего об этом не знают, и никто нам не сказал: “Наш оперный театр точно такой, как в Одессе, один к одному”.

Театр в Вене прекрасен не только своим внешним видом, но и голосами. В тот день, когда мы приехали, рекламные тумбы пестрели афишами: “Опера Джузеппе Верди “Аида”. Участвуют звезды мировой оперной сцены”. Все билеты, конечно, уже были проданы. Да и стоили они в среднем сто долларов. Надежда побывать в театре была неосуществимой. И вдруг наш гид говорит нам, что попасть на спектакль можно. Перед началом спектакля в венской опере по давней традиции продают так называемые “стоячие” билеты на самый верхний ярус, на галерку. Стоимость таких билетов чисто символическая – всего тридцать шиллингов. Примерно десять шекелей. Но, чтобы купить эти билеты, надо прийти за два-три часа до начала спектакля и терпеливо ждать. Никакой гарантии, что билеты достанутся, никто, конечно, не дает. Будут – попадете в театр, не будут – пойдете домой, напрасно простояв три часа.

За два с половиной часа до начала спектакля мы были возле здания венской оперы. Отыскав нужный подъезд, вошли в просторное фойе, затем в коридор и ахнули – во всю его длину метров на двести стояли люди. В основном студенчество, но были и солидные граждане, нашего возраста. Оказывается, чтобы быть впереди этой очереди, надо было приходить не за два с половиной часа, а за четыре. В своей прошлой жизни мы много видели разных очередей. Эта была образцовая. Никто не толпился, не толкался, не шумел. Люди стояли, доброжелательно улыбаясь, и ждали своей удачи – возможности хоть стоя, хоть на галерке послушать “Аиду” в венском театре.

Примерно за полчаса до начала стали продавать входные билеты. И опять никакой толкучки, спокойно, тихо. И только купив билет и пройдя контроль, вверх по лестнице на галерку пришлось бежать бегом, едва поспевая за молодежью. Надо было занять удобные стоячие места. Галерка находится на уровне десятого-двенадцатого этажа. Я взлетел туда и даже не почувствовал усталости. Занял отличные места и, поскольку еще оставалось минут пятнадцать, решил выкурить сигарету. Курительная комната на первом этаже. Так вот, когда я поднимался обратно на галерку, отдыхал пять-шесть раз, не меньше, и сам себе не верил, что мог преодолеть такой подъем одним махом. Искусство способно победить даже подступающую старость.

Спектакль был необыкновенным. Великолепно звучал оркестр. В разные времена им управляли знаменитейшие дирижеры. Уже в наши дни – неподражаемый Герберт фон Караян. Заложенные традиции живы и сегодня. Исполнители главных партий – звезды первой величины. Чтобы избежать искусствоведческой лексики и сохранить стиль рассказа, скажу так: два часа простоял в очереди и думал: вот-вот упаду, потом три часа простоял на спектакле и не заметил, как пролетело время.

А через два дня мы были в Тель-Авиве и еще через три часа – в Нацрат Илите, в своей квартире. И должен вам признаться, что это тоже замечательно, не хуже, чем в трехзвездочных гостиницах Европы.

Сентябрь 2001 г. Германия (Кельн, Франкфурт-на-Майне, Майнц, Дюссельдорф) – Французская Ривьера (Ницца, Канны, Антибы...) – Монако (Монте-Карло) – Швейцария (Берн, Люцерн, Монтре, Лозанна, Женева, Интерлакен...) – Австрия (Зальцбург, Вена...) – Италия (Милан) – Израиль (Тель-Авив, Нацрат-Илит)

Михаил Лезинский

ПРОЩАЛЬНЫЕ ГУДКИ НА ГРАФСКОЙ ПРИСТАНИ

ОТ РЕДАКЦИИ:

Еще в 1996 году – это был год отъезда в Израиль – Михаила Лезинского за его литературные очерки, связанные с поэтами и прозаиками, ушедшими на врангелевских кораблях из Севастополя в Бизерту, наградили юбилейным знаком “Бизертский крест”.

Юбилейный знак “Бизертский крест” выпущен в связи с 75-летием окончания гражданской войны в Крыму и отходом Черноморского флота в изгнание, в канун 300-летия российского флота.

Одна из наиболее драматических страниц истории российского флота связана с тунисским портом Бизерта, где нашли прибежище 33 российских корабля. И именно в Бизерте российский императорский флот прекратил свое существование, спустив в 1924 году, казалось – навсегда, андреевский флаг.

Наградной знак “Бизертский крест” выпущен в 300 экземплярах и представляет собою аналог наградного знака “Бизертский крест”, учрежденного П.Н.Врангелем для награждения российских моряков, для кого порт Бизерта оказался не только прибежищем, но и символом судьбы России и Черноморского флота.

Современный “Бизертский крест” вручается гражданам России и других государств “за вклад в раскрытие белых страниц истории Российского флота и Отечества...”

Михаил Лезинский сообщает широкому читателю малоизвестные факты из жизни прекрасных поэтесс Лидии Девель-Алексеевой и Ирины Кнорринг; Гайто Газданова и Владимира Смоленского..

Михаил Лезинский вернул из небытия истинного автора слов известной песни “Раскинулось море широко” и открыл автора музыки к романсу “Утро туманное, утро седое...”, павшего при первой обороне Севастополя.

Один из лучших очерков Михаила Лезинского “Прощальные гудки над Графской пристанью” опубликован в “Крымском альбоме” (совместное издание “Феодосия-Москва”) с предисловиями академика Дмитрия Лихачева и поэта Бориса Чичибабина, а это говорит о многом.

Я люблю севастопольского поэта и прозаика Вячеслава Шерешева, скажу, когда долго не общаюсь с ним, но при коротких встречах он выводит меня из себя своей дотошностью, скрупулезностью, – это в наш-то быстро-текущий век! – выводит из себя теми самыми человеческими свойствами, от которых мы стараемся избавиться в быстроистекающей жизни.

Слава Шерешев, – по многолетнему знакомству мне разрешается его так называть! – войдет в поэтическую севастополиану стихотворением, которому журналист газеты “Слава Севастополя” Дмитрий Ткаченко, – да будет ему земля пухом! – приделал песенные крылья, и я – единственный случай в моей жизни! – был свидетелем тому, как Дмитрий Ткаченко, подыгрывая себе на балалайке, старался сочинить и запомнить рождающуюся мелодию, – нот он не знал, – а Слава Шерешев подыскивал нужные слова. И слова, и мелодия этой песни, – с нее начинаются многие документальные фильмы о Севастополе! – которую поют до сих пор! – у многих севастопольцев, и не только, на слуху:

*Севастопольские розы
Розы, пахнувшие морем, –
В них непролитые слезы,
В них войны минувшей горе...*

Песню эту не- только исполняли на официальных приемах, но и в севастопольских шалманах, и забегаловках, что говорит о ее популярности больше, чем официальное признание.

А сейчас, когда я сказал несколько добрых слов о члене Союза писателей, – на его билете все еще значится СССР! – Славе Шерешеву, перейду к собственной персоне. Много лет я занимаюсь “севастополианой”. То есть составляю “досье” на поэтов и прозаиков, в судьбе которых был Севастополь. И мне кажется, – какое идиотское самомнение! – что я знаю обо всех творческих личностях, кто хоть однажды побывал в нашем городе или писал о Севастополе, так что нового писателя, да еще знаменитого в “определенных кругах”, для пополнения этой “севастополианы” отыскать нелегко. А вот Слава Шерешев – вновь вернемся к нему! – развеял мои иллюзии на этот счет.

Однажды я посетил шерешевскую трехкомнатную берлогу. А “берлогой” я ее называю потому, что Слава, как медведь, проводит в ней дни и ночи. Но, в отличие от медведя, он и летом старается не высовывать носа. Славу редко можно увидеть в общественных местах, он кустарь-одиночка, книжный червь, поедающий печатную продукцию в огромном количестве, что мешает ему самому писать. Но, если применить спортивную терминологию, то его писательский рейтинг самый высокий. Только мы, рядом живущие, – сплошные гении! – понимаем это в последнюю очередь.

Так вот, этот “ведмедь” своим скрипучим, вечно недовольным голосом, продекламировал замечательные стихи, которые, могу поклясться, я слышал впервые:

*Все, во что мы верили, не верили,
Что любили, знали, берегли, –
Уплывает, словно на конвейере,
С кровью сердца и с лица земли,*

*Или это мы летим неистово,
Или это нас волна несет?
Так порою отплывают пристани,
А стоит идущий пароход.*

– Ничего не скажешь, стихи самой высокой пробы. Только почему ты мне их прочитал, Вячеслав Иванович?

Слава ухмыльнулся – ох уж эта мне улыбка всеядного книжного Мефистофеля! Да я не только этих стихов не знаю, но и множество других! Незнанием в наш просвещенный век трудно кого удивить!

– Не злись, это как раз по твоей части. Имею сильное подозрение: пристань в стихах не просто поэтический образ, а конкретная наша Графская.

– ? – немая сцена из гоголевского “Ревизора”.

– Не делай удивленные глаза – Графская! Стихи эти вышли из-под пера Лидии Алексеевой и в твоей “севастополиане” засверкают настоящим алмазом. Согласен?

– С алмазом – да! Но при чем тут старые калоши?

– При том! Алексеева – псевдоним, настоящая ее фамилия Девель. Говорит тебе что-нибудь эта фамилия?

И подлинная фамилия мне ничего не говорила. Если человек невежда, то это надолго. Почти навсегда. Слава пояснил:

– Лидия Девель до самого 1920 года жила в Севастополе, неподалеку от Графской пристани. Ее отец, француз, обрусевший француз, с генералом Врангелем был на “ты”. И должность при нем занимал не маленькую – полковник генерального штаба!.. В кровавом ноябре 1920 года полковник генерального штаба со своей семьей на дредноуте “Генерал Корнилов” – на нем находился барон Петр Николаевич Врангель и его свита – навсегда покинул Севастополь. А этот корабль, как тебе известно, отошел именно от Графской пристани. Понятно изъясняюсь?..

Да, это я знал. Знал и то, что, покидая “остров Крым”, врангелевцы увели с собой два линкора, два крейсера, 10 эсминцев, четыре подводные лодки, 12 тральщиков, 119 транспортов и вспомогательных судов... И с этими кораблями ушла не только Лидия Девель-Алексеева, но и Владимир Смоленский, Ирина Кнорринг, Александр Вертинский, Гайто Газданов...

Если Александр Вертинский после многочисленных гастролей по всему, как сегодня бы сказали, дальнему зарубежью, вернулся в Россию, то остальные – не все еще! – вернулись только своими книгами.

Из четверых, названных Шерешевым, двух я знал хорошо: Александра Вертинского – встречался с ним в жизни, и его неповторимый голос до сих пор звучит на долгоиграющих пластинках! – и был знаком с книгами Гайто Газданова. Мои друзья из Института марксизма-ленинизма тайком давали мне их читать.

Гайто Газданова – этого великого осетина – некоторые критики ставят выше В.Сирина, известного нам под именем Владимира Набокова. А сегодня книги Гайто Газданова, как и Владимира Набокова, появились на полках наших библиотек.

На минуту подумалось: как бы развился талант молодых поэтов и прозаиков, не уйди они в чуждальние края? Ответ, увы, один: были бы расстреляны, как и тысячи других, поверивших на слово революционному командованию, что ни один волос не упадет с головы оставшихся. Была, была в Севастополе своя Варфоломеевская ночь!

Стоит ли говорить, что после шерешевского сообщения я вплотную занялся судьбою поэтов и прозаиков, знаменитых в зарубежье и почти неизвестных нам.

Вначале – о Лидии Девель-Алексеевой.

Трудны оказались эмигрантские дороги севастопольской девчонки – было ей в ту тяжелую пору всего одиннадцать лет! Пишу “трудны” больше по привычке: как будто они были легкими у тех, кто остался! Но ее дороги были трудны в том смысле, что жить вдали от Родины всегда нелегко, хоть и была Родина не матерью, а злой мачехой...

Дредноут “Генерал Корнилов” отшвартовался в Константинополе, но его пребывание там было недолгим – не нужна была там “орава вооруженных беженцев из Совдепии”, да и разместить всех не было никакой возможности. “Генерал Корнилов” ушел в Бизерту, а Девели остались в Константинополе. Но не задержались они в этом шумном и, прямо скажем, негостеприимном городе, просто Константинополь стал первым городом в эмигрантской жизни полковника генерального штаба, – Девели перебираются в Белград.

В этом городе они прожили достаточно долго: Лидия успела вырасти, закончить русско-сербскую гимназию, филологический факультет Белградского университета, поработать преподавателем сербского языка и быть при этом участницей сразу нескольких литературных кружков – “Нового Арзамаса” и “Национального союза русской молодежи”...

В сорок четвертом году пути-дороги привели Лидию Девель в Австрию, и там ее интернировали, – долгих пять девушка скиталась по австрийским лагерям для перемещенных лиц, пока ей не разрешили выехать в страну разноязычных людей, в Америку. И Девель, взявшая к тому времени фамилию Алексеева, прибывает в Нью-Йорк, и прожила-проработала она в этом городе более двух десятков лет. До своей естественной смерти,

Умерла Лидия Алексеевна Девель – Лидия Алексеева – 27 октября 1989 года и похоронена на русском кладбище Новое Дивеево в окрестностях Нью-Йорка, – где только не обнаруживаются могилы севастопольцев!

Лидия Алексеева прожила долгую жизнь, – если восемьдесят лет считать долгими! – но первый свой сборник увидела напечатанным лишь в 1954 году, – это было “Лесное солнце”, изданное в Германии издательством “Посев”. Первый же сборник выдвинул Лидию Алексееву в число больших поэтов, и она стала известна в зарубежье. А последняя ее книга-итог “Стихи. Избранное” появились незадолго до смерти:

*Теперь могу уйти во тьму,
Не причиняя зла, –
Я всех пережила, кому
Я дорога была.
Кто взмолится: “Не умирай!”?
Кто запретит уйти?
Все тихо. В заповедный край
Открыты все пути.*

И еще одно из ее прощальных стихотворений невозможно читать равнодушно. И его нужно напечатать на этих страницах потому, что сами мы сегодня вряд ли отыщем сборник Лидии Алексеевой:

*Прощаясь мирно с радостью земной,
Я оставляю всю ее в наследство:
И солнцем позолоченное детство,
И молодость с лирической луной.
И зрелости свободной тишину,
И бледную прохладу увяданья,
И с тихой музой редкие свиданья –
Все в малой горсти бережно сомкну
И брошу в мир, как на последний суд,
В бутылке запечатанное слово –
И, может быть, у берега родного
Она пристанет, и ее найдут.*

Обогнула поэтическая бутылка шар земной и прибилась к родной Графской пристани. К той самой пристани, от которой одиннадцатилетнюю кроху на тревожном пароходе увезли в неведомое. И ждем не дождемся, когда доплывут до наших издательств ее поэтические и прозаические книги, изданные за рубежом на родном русском языке и не востребованные у нас...

А Ирочка Кнорринг была на несколько лет старше Лидии Девель, когда она, в том же расстрельном двадцатом, на корабле отчаливала от Графской пристани. Она бежала от смерти, она уже успела повидать, как гибнут ни в чем не повинные люди. И, живя в Париже, восемнадцатилетняя девушка напишет:

*Как он спокоен, говорит и шутит,
Бессмысленный убийца без вины,
Он, оглушенный грохотом орудий,
Случайное чудовище войны.
Как дерзок он, как рассуждает ловко,
Не знающий ни ласки, ни любви,
А ведь плеча касался ствол винтовки,
И руки перепачканы в крови.
О, этот смелый взгляд непониманья
И молодой, задорно-дерзкий смех!
Как будто убивать по приказанью
Не преступление, не позор, не грех!*

Как только рукопись стихов Ирины Кнорринг была тайно завезена в СССР, Анна Ахматова тут же, не боясь никого, написала: "По своему высокому качеству и мастерству, даже неожиданному в поэте, оторванном от стихии

языка, стихи Ирины Кнорринг заслуживают увидеть свет. Она находит слова, которым нельзя не верить. Ей душно на Западе. Для нее судьба поэта тесно связана с судьбой Родины, далекой и даже, может быть, не совсем понятной. Это простые, хорошие, честные стихи”.

Слово Анны Ахматовой во все времена многого стоило, и были предприняты попытки издать Ирину Кнорринг. Александр Твардовский попытался напечатать стихи в “Новом мире”, но бдительная цензура их не пропустила. Потерпел фиаско и один из составителей “Дня поэзии” Борис Слуцкий, когда попытался тиснуть пару стихов в эту всесоюзную поэтическую книгу. И здесь цензура доказала, что хлеб с маслом, который она ест, ею заработан честно.

Первая книжка Ирины в СССР, “Сочинения белоэмигрантки из Парижа”, была издана в Алма-Ате в 1967 году в издательстве “Жазушы”. Это была фантастически-дерзкая операция, и издание сборника могло стоить должности многим людям, и тем не менее казахский поэт, он же главный редактор издательства, Аманжол Шамкенов подписал сборник к изданию.

А напечататься на Родине – Казахстан тогда тоже был Родиной – для Ирины было пределом мечтаний.

*Я верю в Россию. Пройдут года,
Быть может, совсем немного
И я, озираясь, вернусь туда
Далекой ночной дорогой...*

И еще одно издание увидело свет в Казахстане, стихи “севастопольской девчонки” были напечатаны в типографии Института физики высоких энергий АН Республики Казахстан, и сборник Ирины Кнорринг под названием “После всего” доплыл до Графской пристани, и в поэтической “севастополиане” засверкало новое имя...

Становится известной судьба еще одного эмигранта – Владимира Алексеевича Смоленского, волею судьбы тоже осевшего в Париже. Девятнадцать лет было пареньку, когда он бросил прощальный взгляд на Графскую пристань, на севастопольские берега:

*Над Черным морем, над белым Крымом
Летала слава России дымом,
Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с Севера.
Убили друга со мною рядом,*

*И Ангел плакал над мертвым ангелом...
Мы уходили за море с Врангелем.*

Владимиру Смоленскому повезло больше, чем Лидии Девель-Алексеевой, больше, чем Ирине Кнорринг: его книги раньше появились на свет, и известен он стал уже первой своей книгой стихов “Закат”, которая вышла в 1931 году и сразу была замечена двумя “великими эмигрантами” – Иваном Буниным и Владимиром Ходасевичем, – а это были придирчивые критики, ревностно относившиеся к печатному слову.

Владимир Смоленский скончался в 1961 году, но его книги еще не появились на сева­сто­польском горизонте. И, в ожидании их, приведу еще одно стихотворение, чтобы мы знали, какого поэта нам еще предстоит открыть:

*Осталось немного – мириады в прозрачной пустыне,
Далекie звезды и несколько тоненьких книг,
Осталась мечта, что тоской называется ныне,
Остался до смерти короткий и призрачный миг.
Но все-таки что-то осталось от жизни безумной,
От дней и ночей, от бессонниц, от яви и снов,
Есть Бог надо мной, справедливый, печальный, разумный,
И Агнец заколот для трапезы блудных сынов.
Из нищей мансарды, из лютого холода ночи,
Из боли и холода, страха, позора и зла
Приду я на пир и увижу отцовские очи
И где-нибудь сяду у самого края стола...*

Рыдающая, озябшая под ветрами неласковой истории муза сопровождала поэтов всю жизнь, мечта о возвращении не покидала их до конца дней. И Лидия Алексеева, и Ирина Кнорринг, и Владимир Смоленский, и многие-многие другие возвратятся – не сегодня, так завтра! – своими книгами, но их нога больше не ступит на сева­сто­польскую землю.

И еще один поэт исчез – боюсь, что навсегда! – с нашего горизонта. В последний раз его – Николая Агнивцева – видели на громокипящей Графской пристани в кровавом двадцатом году. Худющий, как Кашей Бессмертный, с всклоченными, давно не мытыми волосищами, казалось, уже немного тронувшийся от всего увиденного, он потрясал посохом, двурогим посохом, напоминавшим российский герб. Очевидцы рассказывали: по посоху шли серебряные монограммы – подарки его друзей-поэтов и многочисленных по-

клонников и поклонниц его таланта. И выплакивал он, Николай Агнивцев, свои душераздирающие стихи о вздыбленной раскровавленной России:

*Церкви – на стойла, иконы – на щепки!
Пробил последний, двенадцатый час!
Святой Боже, Святой крепкий,
Святой Бессмертный, помилуй нас!..*

Но милости не ожидалось ни от кого – ни от красных, ни от белых. Кровью сочились буквы на полуоборванном плакате, донося до паникующих граждан призыв генерала-вешателя Якова Александровича Слащова-Крымского, отстраненного от дел за свои кровавые деяния самим Врангелем:

“Тыловая сволочь! Распаковывайте ваши чемоданы! На этот раз я опять отстоял для вас Перескоп!”

Ничего он не отстоял...

Больше всего “повезло” в эмигрантской литературе Гайто (Георгию Ивановичу) Газданову. Его романы “Вечер у Клэр”, “Призрак Александра Вольфа”, “Возвращение Будды”, “Пробуждение”, “Эвелина и ее друзья” и, как говорится, многие другие, уже нашли своего читателя в бывшем Союзе.

Гайто Газданову еще не было шестнадцати лет, когда он примкнул к белому движению и в 1919 году вступил в Добровольческую армию. Об этом он так написал в своей автобиографической повести: “Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято, и, если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию”.

Что возьмешь с романтического юноши, начавшего писать рассказы в восемь лет и хотевшего познать жизнь во всей ее полноте.

Военные дороги привели Гайто Газданова в Севастополь, откуда он, все в том же ноябре 1920 года, с врангелевскими солдатами покинул город. Но за те несколько месяцев, что он пробыл в морском городе, он успел полюбить его и оставил нам картину белогвардейского Севастополя, картину, написанную мастерской рукой зрелого писателя:

“Весной и летом тысяча девятьсот двадцатого года я скитался по Севастополю, заходя в кафе и театры и удивительные “восточные подвалы”, где кормили чебуреками и простоквашей, где смуглые армяне с олимпийским спокойствием взирали на пьяные слезы офицеров, поглощавших отчаянные алкогольные смеси и распевавших неверными голосами “Боже, царя храни”,

которое звучало одновременно неприлично и грустно, давно утеряло свое значение и глохло в восточном подвале, куда из петербургских казарм докатилось музыкальное величие прогоревшей империи... Вся грусть провинциальной России, вечная ее меланхолия наполняла Севастополь... И Черное море представлялось мне как громадный бассейн вавилонских рек, и глиняные горы Севастополя – как древняя стена плача. ..”

Действительно, Севастополь – огромная Стена Плача, последняя слеза замордованной России. И по сытым кабакам белогвардейского города рыдала музыка печального Арлекино – Александра Вертинского с его бесподобной картавостью:

*К мысу ль Радости,
К Скалам Печали ли,
К Островам ли сиреневых птиц,
Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц.*

*Мимо стеклышка иллюминатора,
Проплывут золотые сады,
Пальмы тропиков, солнце экватора,
Голубые полярные льды...*

*Все равно... где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц...*

В конце концов мы встретимся с печальным Арлекино: он вернулся на свою многострадальную Родину, а автор этих стихов Тэффи – Надежда Александровна Лохвицкая – русская писательница, известная нам как автор многих юмористических рассказов, фельетонов и стихов, так и не увидит больше Севастополя – последнего российского города, который был в ее судьбе, больше не увидит Графской пристани, и вернется она только своими книгами, а это не так уж мало!

Но вернемся вновь к Гайто Газданову. Есть у него биографический роман “Вечер у Клер”, и Севастополь в нем – главное действующее лицо. Живет и дышит на книжных страницах, как живое, кровотеплое существо;

“После Джанкоя и зимы в моей памяти возникает Севастополь, покрытый белой каменной пылью, неподвижной зеленью Приморского бульвара и ярким песком его аллей. Волны бьются о плиты пристаней и, отходя, обнажают зеленые камни, на которых растет мох и морская трава; на рейде стоят

бронсносы, и вечный пейзаж моря, мачт и белых чаек живет и шевелится, как везде, где было море, пристань и корабли и где возвышаются каменные линии домов, построенных на желтом песчаном пространстве, с которого схлынул океан. В Севастополе яснее, чем где то ни было, чувствовалось, что мы доживаем последние дни нашего пребывания в России...”

Стоны и плачи людей и чаек, выстрелы и проклятия оглашали Графскую пристань, когда последние пароходы врангелевцев и, по выражению Слащова-Крымского, “тыловой сволочи”, уходили далеко-далеко:

“Склянки звенели над морем, над волнами, залитыми нефтью; вода плескалась о пристань – и ночью севастопольский порт напоминал мне картины далеких японских гаваней... Под звон корабельного колокола мы ехали в Константинополь...”

Начались для Гайто Газданова годы странствий и поиски своего места в трудовой эмигрантской жизни: Турция, Болгария, Чехословакия, Франция. Смена стран и смена профессий. Но Гайто, где бы и кем бы ни работал, всегда оставался писателем, он не мог не стать им. Уже первые его рассказы, по его мысли, экспериментаторские и написанные для себя, а не для читателей, принесли ему успех, и он сразу становится известным.

Мечтал ли преуспевающий писатель Газданов о возвращении на Родину? Мечтал, да еще как! Ведь в России осталась его матушка Вера Николаевна Абациева, которую он любил до умопомрачения. Гайто был преданным сыном. И когда узнал, что мать больна и находится в тяжелом состоянии, тут же отправил Максиму Горькому письмо – было это 20 июня 1935 года:

“Сейчас я пишу это письмо с просьбой о содействии. Я хочу вернуться в СССР, и если бы Вы нашли возможность оказать мне в этом Вашу поддержку, я был бы Вам глубоко признателен.

Я уехал за границу шестнадцати лет, пробыв перед этим год солдатом белой армии, кончил гимназию в Болгарии, учился четыре года в Сорбонне и занимался литературой в свободное от профессиональной шоферской работы время.

В том случае, если бы Ваш ответ – если у Вас будет время и возможность ответить – оказался положительным, я бы тотчас обратился в консульство...”

Максим Горький ответил тотчас:

“Желанию Вашему возвратиться на родину – сочувствую и готов помочь Вам, чем могу. Человек Вы даровитый и здесь найдете работу по душе, а в этом скрыта радость жизни”.

Максим Горький не осуществил обещанного, ему помешали болезнь и смерть.

Умер Гайто Иванович Газданов 5 декабря 1971 года. Жаль, что перед смертью ему не удалось побывать в Севастополе...

Плещутся волны и бьются о дощатый причал Графской пристани, кружат над пирсом прапраправнуки и прапраправнучки тех чаек, что видели много крови у этого моря, у этих колоннад и портиков. Если б можно было понимать их kloкочущий гортанный язык, они бы о многом нам рассказали!.. Юркие катера снуют по бухте, перевозят тысячи людей, с одного берега на второй – на Северной стороне вырос еще один Севастополь...

Чайки помнят трагедию Севастополя, а помнят ли празднично разодетые люди, фланирующие у Графской пристани, кровавые дни ноября 1920 года, когда русские солдаты, русские офицеры, русская интеллигенция покидала негостеприимный Крым?!

Помнят! У памятника адмиралу Павлу Нахимову, что рядом с Графской пристанью, проходят митинги памяти “белых” и ”красных”, памяти тех, кто ушел вот с этого пирса, и памяти тех, кто остался на севастопольском берегу, памяти тех, кому была уготована нелегкая судьба на чужбине и на родине... И среди тысяч и тысяч наших соотечественников, до нас дошли имена, – слава Всевышнему и благодарение Богу! – Лидии Девель-Алексеевой, Ирины Кнорринг, Владимира Смоленского, Гайто Газданова... А сколько еще имен затеряно в мрачных лабиринтах истории, сколько еще имен тех, о которых мы не услышим никогда?!

Да будут прокляты во веки веков те, кто пытается поделить нас на белых и красных. Или выкрасить еще в какой-либо цвет!

Севастополь, июль 1995

Фредди Зорин

КОГДА СМЕХ – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

ОТ РЕДАКЦИИ:

Смех, согласно известному утверждению, – дело серьезное. И куда уж “серьезнее”, если: дело это подкрепляется семейными традициями. Хотите пример? Его вы найдете в новой книге поэта и радиожурналиста Фредди Зорина (Фредди Бен-Натана), которая готовится к печати. В отличие от трех предыдущих сборников, изданных им в Израиле, новый – юмористический, что, в общем-то, не удивительно, если знать: автор в прошлом – участник сборной команды КВН г. Баку и в ее составе завоевал в свое время звание чемпиона страны.

Эта грань творчества продолжает сверкать и после репатриации Ф.Зорина в Израиль. Юмористические произведения и, в частности, афоризмы его публикуются в периодике многих стран. Некоторые из них представлены в сборнике “Кругом одни евреи (+ 400 еврейских анекдотов)”, изданном в 2000 году в Израиле под редакцией Глории Раскиной. Звучат они по радио и на творческих вечерах, с которыми автор выступает в разных городах.

Отрывок из новой книги Ф.Зорина мы предлагаем вниманию наших читателей.

Родился я и вырос в стране, где, согласно известному утверждению, сын за отца не отвечал, но если было надо, то у него спрашивали и за дедушку.

“За дедушку” Шимона отвечу с большим удовольствием, ибо запомнил его, человека нелегкой судьбы, инвалида Первой мировой, не утратившим до своих последних дней чувства юмора, которое помогало скорее не жить, а выживать. Наполненные специфически еврейскими шутками его рассказы, если восстановить их все и в полном объеме, могли бы, наверное, составить содержание целой книжки. Вот лишь отдельные эпизоды, которые остались в памяти. Знал я, что дедушка был одним из шестнадцати детей в семье. Его отец Гирша не помнил всех сыновей и дочерей по именам, и когда надо было



Тепло дедовских рук не остыло до сих пор, и шутки его возвращаются ко мне из того времени, когда мне еще трудно было по достоинству оценивать их...

несколько точек, – и смысл написанного меняется...” Что же касается идишской речи, то она звучала в нашем доме, пока живы были дедушка и бабушка. На мамэ-лошн переходили они с русского в двух случаях: когда хотели скрыть суть обсуждаемого от остальных членов семьи, и если надвигались особо тревожные времена. И спасибо той стране хотя бы за то, что она, пусть даже подобным способом, не давала людям окончательно забыть свой родной язык. К слову, годы прожитые при коммунистическом режиме, дед мой своеобразно подытожил такой вот, скорее всего, и не им самим придуманной шуткой: в год сорокалетия образования СССР проводится все-союзная перепись населения. Заходят сотрудники статистического бюро с анкетой к некоему пенсионеру и начинают диалог:

– Вам сколько лет, дедушка?

– Тридцать два!

– А вы – шутник, хотя и старый, – вам, небось, семьдесят два, если не больше...

позвать их со двора к столу, он выходил на крыльцо и громко выкрикивал: “Эй, обедать!” И “птенцы” слетались. Впрочем, если бы прадед мой и держал постоянно все шестнадцать имен в уме, дела бы это, скорее всего, не изменило: подобные переклички требуют времени и терпения, но одного из двух, чаще всего, как раз и не хватает. От деда я впервые услышал короткую историю, которая потом не раз возвращалась ко мне, но уже без привязки к конкретным действующим лицам, то есть в качестве анекдота: когда Гирш однажды обратился к раввину с просьбой посодействовать ему в поисках работы, ибо на нем – жена и шестнадцать душ, мудрый ребе спросил: “А что ты ЕЩЕ умеешь делать?..”

...А дед Шимон выучился типографскому делу, стал мастером высокого класса. Печатал он и на идиш, знал и язык Торы. Сложность чтения огласованных ивритских текстов выражал следующим образом: “Сядет муха, оставит

– А вы, что ЭТИ сорок тоже считаете?...

..Родом из моего “детства” и афоризм, ставящий знак вопроса рядом с известным утверждением о том, что учиться никогда не поздно: если за фортепиано впервые садишься после пятидесяти, то играть будешь уже на том свете...

Скажу и “за отца” – Натана, чье имя, в дань светлой памяти, стало частью моего радиопсевдонима. Отцовскую юность опалила Великая Отечественная. Молодой лейтенант руководил армейской самодеятельностью. Вместе с фронтовыми друзьями-артистами выступал на передовой, исполняя сольно или в дуэте частушки собственного сочинения, которые били по врагу не хуже артиллерийских батарей. В послевоенное время папа стал известным журналистом, был удостоен звания заслуженного работника культуры и премии “Золотое перо”. На азербайджанском радио он редактировал, в частности, сатирический журнал “Пчела”, готовил юмористические программы, его рассказы на злободневные темы публиковались в знаменитом тогда “Крокодиле”.

Порою случается так, что профессиональные юмористы, при близком с ними знакомстве, оказываются людьми неразговорчивыми и вообще довольно скучными. Отец мой был не из их числа: любил слушать и рассказывать анекдоты, разыгрывать, и не только в первый день апреля, друзей и знакомых, сочинять в связи со знаменательными датами семейного календаря шуточные посвящения, которые принимались с благодарностью, без обид, хотя острил автор иногда, что называется, “на грани фола”. Вспоминается, к примеру, как к нему, ветерану, снискавшему уважение, посылали на собеседование вознамерившихся пополнить партийные списки. Один из них принес с собой заявление – о желании находиться в первых рядах строителей коммунизма. Папа, пребывавший в этот момент в веселом настроении, наклонился к посетителю и доверительно прошептал на ухо: “Понимаешь,



Отец (слева) во время выступления на передовой во фронтовой художественной самодеятельности.

первые ряды уже заняты, но есть двадцать восьмое место в сто пятьдесят седьмом ряду. Пойди и подумай, – может, устроит...” А другого “новобранца”, личные качества которого были ему известны, отец напутствовал словами: “Валяй! – Партия и не такие удары переносила...” Надо ли говорить, что во времена, которые гораздо позднее стали именовать “застойными”, шутить на подобные темы было, мягко говоря, рискованно...

...Остроумие его успели оценить и те, с кем отца свела судьба после репатриации в Израиль, и в первую очередь новые знакомые по клубу ветеранов в Ришон ле-Ционе. В последние свои дни, находясь в больнице с инфарктом, он, среди прочего, произнес: “Реаниматоры – это те, кто не дают человеку спокойно умереть”...

...Короче говоря, рос я в семье, где юмор ценили и обходиться без него, как без света, просто не могли. Семейные эти традиции стараюсь продолжать. Титул чемпиона всесоюзного Клуба Веселых и Находчивых, завоеванный некогда в составе бакинской сборной и нынешние, достаточно регулярные публикации в юмористических изданиях и рубриках, а также участие в вечерах смеха говорят о том, что в определенной степени это удалось. Правда, один из друзей нашего дома – драматический актер как-то заметил, что в моих глазах отражена вековая скорбь народа-скитальца. Но, выходит, одно другому не помеха. Тем более что в жизни мы так часто смеемся сквозь слезы...

Борис Рабкин

ТЕАТР

Труппе театра “Галилея”

1

Над сценой – аурой несыгранное действо.
Канат свисает сонной анакондой,
И двери ждут начального аккорда,
Чтоб распахнуться с низменным плебейством.
Нависла над альковым занавеска,
Скрывая до поры его секреты,
И стулья, в предвкушеньи пируэтов,
Пока что просто выглядят довеском.
И таз с водой играет пеной мыльной
Перед прикосновеньем женской ножки;
И крыш коньки видны через окошко,
И птиц на ветках сложенные крылья.
Вся сцена – как уставшая кокетка:
Она пуста в юпитерной подсветке.

2

Она пуста в юпитерной подсветке,
Но горделива скрытностью масона,
И нежится, как важная персона,
В лучах, играя брошенной “балеткой”.
В прищуре глаз следя, как осветитель
За пультом подправляет красок гамму:

То сине-красным разжигает драму,
Чтобы проникся равнодушный зритель;
То желтым освещает авансцену,
То зеленью спокойствие привносит,
То белым где-то добавляет проседь,
То “пушкою” высвечивает стены,
То смесью красок спектр наносит редкий
На заднике с рисованной беседкой.

3

На заднике с рисованной беседкой
Художник получил свое пространство.
Природное являя пуританство
И ощущая пьесу каждой клеткой,
Не опустился до мазни попсовой,
В реальном мире воссоздав картину,
Полутеней добавив паутину,
А в сущности своей возвысив слово.
Создав для антуража все предметы,
Удачно отражающие время,
А после разругавшись вдрызг со всеми –
Умчался он со скоростью кометы,
Оставив знатокам эпикурейства
Лишь тени будущего лицедейства.

4

Лишь тени будущего лицедейства –
Актеры без причесок и костюмов,
Без запаха изысканных парфюмов.
Но это беспокойное семейство
По мановенью жезла костюмера,
Царящего лишь ниткою с иголкой
В миру богемном среди кривотолков
И в хаосе бесчисленных примерок,
Вдруг в параллельном мире оживает,
В убранства облачившись, словно в кожу,
Где каждый только на себя похожий
И где живет, а вовсе не играет.

Пока ж висят костюмы на задворках,
Герои – там, в обшарпанных гримерках.

5

Герои – там, в обшарпанных гримерках,
Пред зеркалами протирают лица.
Кто мягко разминает поясницу,
Кто складочки ровняет на оборках,
Кто телефона кнопки нажимает,
Заранее свиданье назначая,
Кто, поглощая третью чашку чая,
Отрывки текста вскользь припоминает,
Кто, отрываясь в смехе безудержном,
Себя заводит перед мизансценой.
А в остальном – все чинно и степенно,
И каждый с каждым так предельно вежлив.
И до момента встречи с персонажем –
Кто курит, кто колдует с макияжем.

6

Кто курит, кто колдует с макияжем
Под острым взглядом бледного гримера,
Который приглашен был режиссером
Лишь потому, что он гример со стажем.
Герой-любовник в коридоре длинном
Отвешивает шуточки массовке,
Пока администратор из бытовки
Вытаскивает банку бриолина.
Но вот в гримерных гомон затихает,
Во всем сквозит предчувствие начала.
Гример, присев на табурет устало,
Аксессуары молча собирает.
И лоб от пота холоден и влажен.
А зритель в ожиданьи эпатажа.

7

А зритель в ожиданьи эпатажа.
Оставлены в фойе все пересуды,

Проблемы безработицы и ссуды,
Проценты от покупки и продажи.
Покоятся мобильники в барсетках –
Отключены хозяйскою рукою.
И дамы в состоянии покоя
Осматривают кольца на соседках,
Не забывая взглядом осторожным
Окинуть крой и ткани туалетов
И мужу прошептать: “Ты видишь это?
Кто хочет – для того достать не сложно.
Пусть даже привезти и из Нью-Йорка...”
И шелестит программками галерка.

8

И шелестит программками галерка.
Случайных лиц, пожалуй, здесь не встретить,
И обсуждению театральных сплетен
Сопутствует серьезная разборка.
Знаток здесь каждый, и нельзя без дрожи
Следить за их ораторским сражением.
Но все культурно, с должным уважением,
Не то, что там внизу, в холеных ложах,
Куда приходят с целью засветиться,
Напомнить о своем существовании,
Кивнуть вальяжно в самолюбование,
Дождаться темноты и раствориться.
Столичный критик, кажется, приехал –
И режиссер в предчувствии успеха.

9

И режиссер в предчувствии успеха
Уже довольно потирает руки.
Нет, не напрасны творческие муки
И трудность изживания огрехов;
Рутинная постановочная работа
И выбивание средств различных фондов,
Больничное заглатывание зондов
И язва, доводящая до рвоты.

Завистливость коллег, надевших маски,
Лишь заводила и раскрепощала,
Задав толчок актерскому началу,
Точней и тоньше оттеняя краски.
И режиссер, став узником процесса,
Как маятник, отшагивает пьесу.

10

Как маятник, отшагивает пьесу,
Хотя не помнит из нее ни слова.
А звукооператор с полшестого
Сидит под фонограмм орущим прессом.
Карандашом отмечены в блокноте
Метраж и время каждого фрагмента,
Записанного на магнитной ленте,
Поскольку с диском сложности в работе.
Вернее, денег на него не дали.
Магнитофон давно на ладан дышит:
Еще играет, но уже не пишет,
И хрип какой-то на втором канале,
И ожиданье всяческих эксцессов.
А дебютантка в состоянии стресса.

11

А дебютантка в состоянии стресса –
Вся ночь без сна, с текстовой под подушкой.
Под утро в голове лишь нескладушки
Из незнакомой совершенно пьесы.
А героиня в неглиже атласном
И в пеньюаре из прозрачной ткани,
Прикрыв глаза, на стареньком диване,
Все дремлет, отрешась от мыслей разных.
Она, забыв обиды и капризы
(Да мало ль их бывает у актеров),
Из-под ресниц следя за режиссером,
Прокручивает первую репризу.
И лишь циркач, всей труппе на потеху,
Неудержимо корчится от смеха.

12

Неудержимо корчится от смеха
Продюсер, подсчитав свои доходы.
Ведь, несмотря на скопище народа,
В активе мелочь – на такси уехать.
Расходы на рекламную раскрутку,
На транспорт, на банкет, на гонорары –
Никто не хочет вкалывать задаром.
Но вот пошли последние минутки
Перед началом. Свет тускнеет в зале,
И публика под кресел скрип смолкает.
На сцене тихо музыка играет:
Фагот под аккомпанемент рояля,
Чьи звуки обволакивают сферу.
Но занавеса поползла портьера.

13

Но занавеса поползла портьера,
Своим стриптизом обнажая страсти,
Где чье-то горе – это чье-то счастье.
От верности лишь шаг до адюльтера.
И крик души, перешагнувший рампу,
Рассыпавшийся зернышками боли,
Лелеется немислимой любовью.
И абажур, навешенный на лампу,
Не глушит свет – лишь углубляет тени,
И вызывает слезы состраданья.
И все сплелось: интриги и желанья,
Добро и зло, горенье и паденья.
Ведь сцена – это Вечная Гетера.
И – тишина. И – музыка. Премьера.

14

И – тишина. И – музыка. Премьера
Собою заполняет все пространство.
Палитра чувств: от липкого жеманства
До высоты Шекспира и Мольера.
Интрига пьесы движет всех к финалу,

То тут, то там слышны аплодисменты,
И нет, пожалуй, выше комплимента,
Чем теплота поверившего зала.
И в реплике последней застывают
Актеры, жизнь прожив, пусть и чужую.
Цветы и крики “Браво!”, поцелуи...
Хоть занавес тихонько закрывают,
Всегда есть продолжение лицедейству.
Над сценой – аурой несыгранное действо.

15

Над сценой – аурой несыгранное действо.
Она пуста в юпитерной подсветке.
На заднике с рисованной беседкой
Лишь тени будущего лицедейства.
Герои – там, в обшарпанных гримерках:
Кто курит, кто колдует с макияжем.
А зритель в ожидании эпатажа,
И шелестит программками галерка.
И режиссер в предчувствии успеха,
Как маятник, отшагивает пьесу.
А дебютантка в состоянии стресса
Неудержимо корчится от смеха.
Но занавеса поползла портьера.
И – тишина. И – музыка. Премьера.

Злата Зарецкая

МЕТАТЕАТР НАШЕГО ВРЕМЕНИ

*“Познание ночи” Г.Бабицкого по Н.В.Гоголю и Ф.Г.Лорке –
театр “Треугольник”;*

“Ифтах” З.Белевича по М.Азову – театр “Галилея”;

“Кабарет Левин” И.Гурьяна по Х.Левину – Камерный театр

Взрывы и лица новых ангелов: еще теплые, еще не привыкшие к боли, еще не прервавшие связь с жизнью, четыреста семьдесят... взглядов с начала интифады в нескончаемой газетной киноленте, открытой и для твоих глаз. Водоворот ненависти и боли, закрутивший всех нас так, что уже не разберешь, зависит ли что-нибудь от тебя и кто правит бурей... “Ночь покрыла Ерушалаим”, ночь, в которой нужно “провидеть свет” – понять день грядущий. И будет ли он вообще? И если да, то какой? И кто его видит и строит? И возможно ли каждому из нас принять участие? И в чем оно может выразиться? И может ли?

Три театра, три режиссера, три принципиально похожих и совершенно разных сценических текста по-разному отвечают на этот вопрос, создавая сверхсмысловой метатеатр нашего времени, в котором скрытое содержание становится главным сценическим событием, определяя каждую его деталь.

Геннадий Бабицкий - автор драматической пантомимы, последователь Марселя Марсо, объединил, казалось бы, несовместимые тексты – “Женитьбу” Гоголя и “Любовь Дона Перлимплина” Ф.Г.Лорки с одной целью – “создать ощущение стиля средиземноморской культуры”. Задача глобальная и почти выполненная. Для этого глубинный психологический жест, мастером которого он является уже давно, был впервые дополнен у него словом. И поскольку слова Гоголя и Лорки глубоки и многозначны, как и философская пластика Г.Бабицкого, в итоге получился “текст над текстом”. Экспериментальный

спектакль “Познание ночи” – попытка нестандартного изображения жизни современного человека. Особенно ярко (роскошь дизайна А.Хрушевой!) и точно это получилось в гоголевской части. Парадоксальное несоответствие людских намерений и воплощений было замечательно воссоздано актерски. Подколесин (А.Кашкер) и Агафья Тихоновна (М.Белкина) исповедовались перед публикой в своих сомнениях постаревшего жениха и засидевшейся невесты, как взрослые дети. Их занижение создавалось невидимым поначалу “службой сцены”, двигавшим палочками их ручек и ножек. Это производило неизгладимое впечатление комедии личности, сосредоточенной на своих внутренних страданиях. Сатирическая стихия заливала зал через артистические импровизации Г.Сандлера в фейерверке гиперболизированных несостоявшихся претендентов на руку и сердце Агафьи Тихоновны. Однако постановщику удалось нечто большее, чем комический гоголевский стандарт. Впервые на сцене он показал сквозь гоголевские смех и слезы – его мистическую веру: молчаливое присутствие таинственной сипы, подавляющей надежды, правящей душевными метаниями людей, как своими собственными послушными марионетками... И это было самым неожиданным и сильным в этом спектакле. А.Власова в черном мужском аристократическом обличье с белыми перчатками, цилиндром и темными очками, излучала сквозь свои расчетливые медленные пластические пассы – огромную всеподавляющую энергию. Ее мистический молчаливый таинственный Кукольник, казалось, правил балом не только на сцене. Введение Г.Бабицким в соответствии со стилем и убеждениями Н.Гоголя предполагаемого Режиссера человеческой драмы превратило лирическую комедию в глобальный метатекст – художественный отзвук современности. Он нарисовал ее как слепую ночь, в которой только еще “ножом” искусства можно вскрыть пугающую истинную тайну бытия – первопричину всего сущего. Синтез жанров (драмы, комедии, пантомимы, народного карнавала, кукольного зрелища) действительно привел постановщика к парадоксальному постмодернистскому стилю, где все перемешано, все возможно и, несмотря на это, все предопределено, – к аналогу средиземноморского мироощущения...

К сожалению, из-за технических неувязок второй акт (“Любовь Дона Перлиплина” по Ф.Г.Лорке), который должен был звучать на близкой израильскому уху испанской музыке фламенко и “живых” мелодиях ладино, не достиг высоты художественной гармонии – он был сделан как карнавал, и – без энергетического присутствия его Первоисточника, а это сразу превратило талантливую работу в безвыходную бессмысленную суету. Но уже по гоголевской половине спектакля были очевидны оригинальность и актуальность целого замысла.

Что есть человек, каково его предназначение и может ли он противостоять Высшей Силе, Б-гу, Его воле и заповедям – особенно в Израиле?

Диалог с правителем мироздания прочитывался и в трагедии З.Белевича “Ифтах” по пьесе М.Азова в театре “Галилея” из Нацрат-Илита. По количеству исполнителей на сцене (сорок, из них только семь – главных, остальные – пластический фон, гармонично сопровождавший действие, создавая атмосферу боя, девичьих игр, блуждания в горах и даже пространства дворца), по полифонии звучания и ансамблевого воплощения это тоже был “метатеатр”, однако иной, глобальный – сконцентрированный не на крошечных переживаниях замкнутых маленьких душ, но на трагедии народа и личности, принявшей на себя историческую миссию его спасения (хореограф М.Пиляк, композитор А.Портнов!). Сложный сценический текст З.Белевича был менее эстетичен, нежели у Г.Бабицкого (декоратор М.Славин замысел до логического конца не довел вообще! Спасли только костюмы И.Елизарьева...), однако более конструктивен и точен по синтезу жеста, музыки, вещи и единого актерского множества.

Пьеса М.Азова “Ифтах-однолюб”, посвященная подлинному герою библейских хроник (Книга Судей, 11-12) – незаконному сыну Гилада, изгнанному из отчего дома братьями и в лихую годину спасшему нацию от истребления, а потом убившему ради нее свою дочь, была задумана драматургом как размышление о человеческой слепоте, прозрении и опасности амбиций.

Однако спектакль, начавшись с исходной тезы, развернулся в итоге как страстный спор с Б-гом, спор, в котором человек раздавлен Его силой и намерений Его “не понял”. Режиссер выстроил действие как последовательное доказательство иллюзорности веры Ифтаха – той, по мнению З.Белевича, “псевдореальности”, которой жил судья Израиля и которая его уничтожила. Однако сценический результат оказался противоположным. Духовное присутствие высшей силы, ее участие в судьбе героев было очевидно именно в меру спора, мощного противостояния режиссера “религиозной” идее!.. Спектакль в целом наперекор создателю излучал духовную энергию как кристалл из иных, скрытых миров. Действие его на зрителей было подобно очищающему огню, выжигавшему сомнения, страхи, во имя уверенности в своем предназначении – сквозь любую боль и горе, слезы и ложь... Актуальность многослойного сценического текста бросалась в глаза, заполняя их не только потрясением от игры, но и от наших кровавых будничных ассоциаций. Это была настоящая еврейская трагедия, где противоречивая безвыходность обстоятельств и смерть героев, как и в классических образцах, утверждала их духовную правду, которая приходила как “легкое дыхание” после пережитых страданий. По хору тихих всхлипываний я поняла, что этот “катарсис” трагических переживаний на премьере театра “Галилея” испытывали в зале почти все.

Как удалось этого достичь его создателям?

Прежде всего – интерпретацией исторических фактов. Драматург и режиссер убрали из сюжета предательство эфраимлян, пришедших к Ифтаху уже после победы с претензиями, что “не позвал” и угрозами “сжечь его”. В пьесе победа дается судье Израиля именно за счет объединения народа – внезапной помощи эфраимлян после принесенной им клятвы Б-гу. Постановщики считают, что “Ифтах преувеличил свою роль, не он с малыми силами и Б-жьей помощью победил, но только союз нации перед лицом опасности...” Пытаясь быть в резонансе со временем, они забывают ближайшую историю хотя бы Шестидневной войны, когда с малыми силами израильтяне чудесным образом одолели врага. Прекрасная пища для размышления всем материалистам.

Главное, что стопроцентно удалось постановщикам, – это изображение истории с ложным обетом. “И дал Ифтах обет Господу: Если предашь Ты мне в руки аммонитян, то отдам я Тебе во всесожжение первое, что выйдет мне навстречу по возвращении моем”. Счастливый отец не предполагал, что это будет его собственная дочь. После победы он должен был пойти к пророкам (в его время это был Пинхас бен Элизер) и попросить снять с него обет, связанный с человеческим жертвоприношением, категорически запрещенным в иудаизме. “И настроили они жертвенных возвышений Баалу, чтобы сжигать в огне сыновей своих во всесожжение Баалу, чего Я не повелевал и не говорил, и что на ум Мне не приходило”, – говорит Б-г устами пророка Иермיהху (19:5). За это Он грозит “разрушить всю страну”. Естественно, что Он губит одного человека, даже самого преданного Ему, за готовность принести в жертву собственного ребенка. Недаром существует мидраш о том, что Ифтах похоронен в нескольких городах, ибо после исполнения клятвы он правил еще всего шесть лет, скитаясь по Израилю, и у него в разных местах отваливалась то рука, то нога, то пальцы... Этот капкан “однолюбия” к одной женщине, к одному ребенку и одному Б-гу был действительно трагичен. Только неамбициозный человек мог его бы преодолеть, но самодостаточность, самоуверенность, слепой эгоцентризм – самоубийственный бич иудеев, препятствие на пути к спасению и до сего дня.

Доказательством тому в спектакле стало великолепное актерское трио: И.Елизарьев – Ифтах, О.Елизарьева – его жена Яхида, З.Давидович и В.Бородовская – их дочь Яэль. Любящая семья распадается из-за преданности ее главы непосильным для человека высоким идеям.

Ифтах в изображении И.Елизарьева – личность свободная, независимая, гордая, бесстрашная, “солдат-герой”, цельный и ясный, побеждающий врагов легко и органично. И хотя его страх перед поражением и обращение к Б-гу вполне психологически объяснимы, в спектакле Ифтах воссоздан постановщиками и актером как человек, в поддержке не нуждавшийся и ее себе

“придуманый”. Однако самым сильным оказался именно момент его раздвоения, идущего от его глубокой веры в Б-га. Несгибаемость приводит его к метаморфозе, внешней мутации. Артист превращает своего героя из существа обычного в необыкновенного сверхчеловека с “неслушающимися” – деревенеющими рукой и ногой, убежденного в своем общественном предназначении и обязанности красиво, “с уважением” убить дочь... Столкновение чувства и долга оказывается для него неразрешимым, и половина его тела вдруг немеет, превращаясь в скрюченное чудовище – метафору конфликта, зримое обвинение амбициозности. Синий блестящий плащ и удлиненное белое покрытие головы, выделявшее напряженные глаза, блестяще дополняли образ звезды, сгорающей в “высоких слоях атмосферы”.

Яхида (О.Елизарьева) была его гармоничной половиной. Актриса нарисовала женщину любящую, счастливую, прекрасную мать, до конца борющуюся, как львица, за своего ребенка, не простившую любимому ее гибели и проклявшую его и мир, убивающий детей. Ее грубоватая примитивность, языческая чужеродность благодаря игре актрисы стала в спектакле голосом Б-га, самой природы, отвергающей неестественное убийство.

Однако высшей точкой трагедии стала тихая безмолвная сцена, когда Яэль (З.Давидович) вкладывала в слабеющую руку отца нож, которым он должен ее зарезать. Юная артистка неожиданно изобразила маленького “сверхчеловека”, зеркало своего родителя, как и он, призванного “осчастливить нацию”.

Заключительная сцена, в которой улыбающаяся Яэль под общие песни и танцы восходит на жертвенный алтарь, а ее отец застывает с маской горя – трагический ответ на вопрос о мнимой ценности юных “камикадзе”, которых Б-г никогда ни от кого не требовал и за которых наказывал потерей всего – даже страны...

Танахический спектакль З.Белевича – М.Азова в последнем сезоне стал примером многослойного, полифоничного метатеатра, возникающего напрямую из диалога с Б-гом, сложного интеллектуального спора, противостояния, внутреннего восстания, приводящего к противоположному результату, в котором высший свет и разум руководит действиями героев, определяя их жизнь и смерть.

И все-таки руководитель мира зависит от человека, от того, как он выполняет Его указания на земле, привнося на нее свет или тьму. Все – в человеке, и причины дисгармонии надо искать прежде всего в нем самом. Этой теме разрушительной духовной тьмы, которую распространяют вокруг себя сами люди, посвящен спектакль-концерт “Кабарет Левин” И.Гурьяна, построенный, так же как и предыдущие, как диалог-спор, провокативное отрицание Б-жьего

устройства, как сатирический многозеркальный типичный ежедневный израильский метатеатр, где многие привычные понятия перевернуты.

Спектакль начинается в полной темноте мерным “голосом Творца” (А.Нойман), с удовлетворением повествующего о своих замечательных делах – шести днях творения. Как известно, свет был создан сразу – вместе с землей, небом и тьмой. Однако здесь – в интерпретации Камерного – он возникал еле-еле, как слабые болотные блики только тогда, когда были созданы млекопитающие и человек... после “родовых мук” Всевышнего (эстетически точная работа художника по свету М.Чернявского!)

В одной из центральных сцен, отдыхая от тяжких трудов, постаревший, поседевший, уставший, умный, интеллигентный Б-г (Д.Керен) сидит в раю, отдыхая и почитывая книгу. К нему поступает очередной умерший (Н.Асулин). Сознывая свои грехи, он поначалу униженно просит снисхождения, чтобы не попасть в ад. Б-г понимающе прощает ему и дает место в раю за покаяние. Грешник распрямляется, наглеет и прогоняет Б-га, усаживаясь на его место с цинизмом победителя. “Да будет тьма!” – провозглашает человек, противостоящий силе Б-жьего света, фамильярно подмигивая залу, как сообщнику преступления...

Сатирическое творчество Хануха Левина, в основном его ранние юмористические ревью, предоставило постановщикам возможность создать блистательную актуальную трагикомическую картину в жанре музыкального свободного циркового кабаре, где клоуны не скрывают своей исповедальной связи с публикой и где каждый может поменяться ролью с любимым, в том числе и со зрителем, – как своим зеркалом. В палитре номеров о человеческих пороках одним из самых впечатляющих был момент под названием “Шустер”. На сцену в грязном розовом длинном домашнем халате, в теплых тапках в виде зайцев с огромными стоячими ушами, непричесанная и немтая, но в интеллигентных очках с мощной роговой оправой выходит “*гевеверт* Шустер” – учительница и классный руководитель подрастающего поколения (М.Грубер-Франк). Потрясенная тем, чему она учит в школе, к ней приходит мать ее ученика (Т.Кейнан), по-европейски подтянутая, в элегантном черном “английском” костюме, со скромной модной стрижкой, открытая, благоухающая, культурная... Их диалог – кульминация бессмыслицы, возведенной в ранг закона, представителем которого считает себя Шустер. И если она решила, что земной шар плоский, то этому должны верить все, ибо только она, по ее мнению, знает все. Сцена заканчивается тем, что просвещенная мама начинает сомневаться: а вдруг “*гевеверт* Шустер” права?! Ее колебания звучали для зрителя убийственно смешно...

Давящая наглость примитивного ограниченного мышления – первоисточник духовной тьмы, порождающей преступления. Об этом – веселый и грустный праздничный спектакль “Кабарет Левин”, напоминание о блистательном драматурге и режиссере – знатоке человеческих душ, изображенных им сквозь призму Израиля.

“Все мы, все мы – актеры / В театре у Господа Бога” – эти слова Николая Гумилева невольно вспоминаются, когда обзираешь картину сцены и жизни нашего времени. Остается только надеяться, что этот глобальный метатеатр в будущем не будет столь сложным и жестоким, как сейчас, и вечная тема Б-га на сцене окажется спасительной, как в трагедиях Древней Греции, где Б-г, появляясь сверху на специальном устройстве (“*deus ex machina*”) решал сразу и легко все проблемы... *Алевай!* А пока тяжелые взаимоотношения с Ним пытается осознать современный израильский театр.

P.S. Пока писалась эта статья, в “Габиме” появилась дилогия “Война как война” и “Ахиллесова пята” Илана Ронена по “Илиаде” Гомера и ее интерпретациям у Эсхила, Еврипида, Шекспира, Сартра, Жироду. Это была настоящая драма Троянской войны, от которой одинаково страдали и завоеватели, и побежденные. Концепция режиссера почти убеждала силой актерской самоотдачи, точно выстроенным действием в стиле греческой трагедии. “Война как война” звучала в духе современного левого мышления вполне убедительно по-человечески, творчески.

Однако вторая часть – “Ахиллесова пята” – оказалась бездоказательным нагромождением сцен. Это была уже комедия, где те же кровавые события представлены с точки зрения всеобщих слабостей и пороков – как человеческих, так и божеских. Идея о том, что источником войны, как было задумано у Гомера, являются боги Олимпа, их взаимоотношения, зеркально отраженные на Земле, откровенно осмеивается в авторском спектакле И. Ронена. Источником горя являются только сами люди, виноватые во всем, что они творят, – эта мысль, навязываемая всем действием, была настолько театрально неубедительна и слаба как в игре, так и в соединении мизансцен, что даже не хотелось с ней спорить... Это был далеко не метатеатр, а только его попытка – подступы к нему – в силу раздробленности общей картины.

Для нашей же темы важно, что высшие силы, правящие миром, появляются тут как реальные действующие лица. И хотя они выведены для осмеяния, их присутствие впечатляло своей художественной выразительностью больше слов. И в этом заслуга сценографа Мики Бен-Кнаан, визуально перевесившая неубедительное либретто режиссера.

Гармонично воссоздать метатеатр нашего времени удастся далеко не каждому. Однако жажда его осознать огромна, и поиски его продолжаются.

Генрих Горчаков

“ЖИЗНЬ – ЭТО МЕСТО, ГДЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ...”

Научный сотрудник музея “Яд ва-Шем” в Иерусалиме Арон Шнеер рассказал нам об истории еврейского движения в Риге 70-80-х годов.

Наряду с “чтениями по иудаике” были выступления самостоятельной студии “Мила” – исполнялись произведения литераторов-евреев. Лишь одно затесалось чуждое имя.

Жестокими, рвущимися из сердца и разрывающими его стихами “Поэмы Конца” блистательной М.Цветаевой начинали мы свое выступление.

Жизнь – это место, где жить нельзя:
Ев-рейский квартал...

Так не достойнее ль во сто крат
Стать вечным жидом?
Ибо для каждого, кто не гад,
Ев-рейский погром –
Жизнь...

.....

Право-на-жительство свой лист
Но-гами топчу!

Втаптываю! За Давидов щит –
Месть – в месиво тел!
Не упоительно ли, что жид
Жить не захотел?!
Гетто избранничеств! Вал и ров.
По-щады не жди!

В сём христианнейшем из миров
Поэты – жидаы!

Арон Шнеер подчеркивает, что стихи эти были для них программными. Не случайно Марину Цветаеву отличает особое отношение к евреям, как и особое отношение евреев к ней.

Профессор Сорбонны Вероника Лосская замечает:

Из разных источников цветаевского наследия хорошо известно ее чувство омерзения перед любыми формами антисемитизма (“Об одном парадоксе Марины Цветаевой”).

Приводит она и другое “стихотворное выражение чувств” Марины Цветаевой “к еврейскому народу” – это хорошо известное стихотворение “Евреям” (написанное в 1916 г. и опубликованное в 1924-м), которое заканчивается гневной филиппикой:

По всей земле – от края и до края –
Распятие и снятие с креста.
В последнем из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа!

Марина Цветаева всегда была на стороне тех, кто подвергается насилию, кто в этом мире отверженный, гонимый, преследуемый.

Не раз в своих работах я говорил о парадоксальности поэтического мышления Цветаевой.

Эта парадоксальность нужна ей для безоговорочного – безусловного – категорического утверждения провозглашаемых ею истин.

В “Поэме Конца”, конечно, нет никакой специальной “еврейской темы”. Но эта поэма развивает постоянную тему Цветаевой, что жизнь – “это место, где жить нельзя”.

Этот мир – “этот свет”, состоящий весь из жизни тел, не создан для поэта – для поэтического духа, который может истинно существовать только на *высотах*.

А мир “низин” – то есть наша реальная жизнь – отторгает поэта, обязательно отторгает, и Цветаева находит для утверждения этой истины – без каких-либо исключений – *реальный образ*: двухтысячелетняя человеческая история, которая гнала, преследовала, убивала еврея – “жида”...

Любопытна запись Цветаевой в мае 20-го года:

Откуда это у меня – с детства – чувство преследования? Не была ли я еврейкой в средние века?

Детство Марины Цветаевой родственно было связано с православной средой, где к евреям относились крайне негативно, в лучшем случае едва терпимо.

Но победу одержало влияние матери, Марии Александровны, хотя умерла она рано, когда Марине было всего четырнадцать лет.

В “Доме у Старого Пимена”, рассказывая об Иловайском, отце первой жены Ивана Владимировича – органическом юдофобе, – Цветаева пишет, что Иловайский уважал ее мать:

Он ей немало прощал, не только всю ее сущность, для него по существу дикую, но и самое для него в ней существенное: ее юдоприверженность: постоянную и в России, и за границей окруженность евреями, необъяснимую ни происхождением (полупольским), ни кругом (очень правым) – только Генрихом Гейне, только Рубинштейном, только еврейским гением и ее женским вдохновением, только ее разумом, только ее совестью (1933 г.).

В записной книжке за декабрь 1919 г. Цветаева, вспоминая о матери, пишет:

Ах, забыла! Страстная любовь к евреям, гордая, вызывающая, беспрекословная (только в 1919 г. я научилась слову “жид”) – тогда – в кругу Сергея Александровича (великий князь. – Г.Г.), старых монархистов – профессоров, – придворных! Помню, с особенной гордостью – чуть ли не хвастливо – впрочем, в это немножко играя – утверждала, что в ее жилах непременно есть капля еврейской крови, иначе бы их так не любила!

(В действительности в родословной Марины Цветаевой не было ни капли еврейской “прикрови”).

То же в анкете 26-го года:

Главенствующее влияние – матери (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к евреиству. Один против всех. Heroica).

Влияние такой матери осталось для Марины и ее сестры Аси незыблемым на всю жизнь, что дало право Цветаевой в письме к Сувчинскому сказать:

Евреев я люблю больше русских... (1927 г.).

Или ее запись в “Сводных тетрадах”:

У меня с каждым евреем – тайный договор, заключаемый первым взглядом (1925 г.).

В юбилейный год столетия рождения Марины Цветаевой, сама почти столетняя, Анастасия Ивановна Цветаева в интервью Маэль Фейнберг говорит:

Мы с Мариной никогда не общались с юдофобами.

Вот еще одно высказывание Марины Цветаевой в письме Юрию Иваску (1933 г.):

Я – с Утверждениями?? (журнальчик, издаваемый одной из эмигрантских групп в Париже. – Г.Г.) Уже звали и уже слышали в ответ: “Там, где говорят: еврей, подразумевают: жид – мне, собрату Генриха Гейне, – не место. Больше скажу: то место меня – я на него еще и не встану – само не вместит: то место меня чует как пороховой склад – спичку!”

“Собрата Генриха Гейне” в одном из стихотворений она назвала “брак мой тайный” – в соответствии с другой ее записью: “Есть браки таинственнее мужа и жены”. В другой ее записи:

Гейне, как все знают, еврей.

И вот еще одна запись, видимо, какой-то полемической тональности:

Всё это, и несомненно это, а не иное, уже было высказано тем евреем, за которого всех русских отдам, предам, а именно Генрихом Гейне...

Не потому, конечно, что Гейне – “еврей” или даже “еврейский гений”, а потому, что он *гений*, – и “еврей” не отдаляло и не приближало ее к восхищению гением, но она, очевидно, отводила чей-то *асемитский* упрек...

Это было высказано в 1919 году, в период ее службы в Комиссариате по делам национальностей...

Это были годы, когда создавалась канва ее будущей книги “Земные приметы”, так и оставшейся никогда не напечатанной.

Не нашлось издателя-смельчака на такую книгу, о которой она писала Бахраху в 1923 г.:

Рифы этой книги: контрреволюция, ненависть к евреям, любовь к евреям, прославление богатых, посрамление богатых...

Здесь все задеты, все обвинены и все оправданы.

Это книга ПРАВДЫ. – Вот.

НЕ. К словам “ненависть” и “любовь” она могла бы дописать и латышей, эстонцев, индусов, армян, русских...

Но выделяет евреев, потому что обращается к еврею и не хочет маскироваться перед ним.

Для Цветаевой “национальность не ничто, но не всё”.

Чтобы правильно научиться понимать Марину Цветаеву, которая считала себя русской, но никогда не русофильствовала (ее можно назвать и германофилкой, и гордилась она своей польской “прикровью”, и подчеркивала свою любовь к неграм...), – надо понять, что она вела отсчет совсем с других высот:

Но есть еще тайна: вещь, обиженная, начинает быть правой. Собирает все свои силы – и выпрямляется, все свои права на существование – и стоит. (NB! Действенность гонимых идей и людей!).

Разделяла она людей на плохих и хороших – вот ее основной подход к людям. Характерна для нее и такая запись:

Что мне дало славянство? – Право его презирать. (Раз – мое!)

Такой темперамент диктует Марине Цветаевой поистине уникальное высказывание:

Слава Богу, что я не еврейка! Мне и так уж кажется, что со мной говорят только из жалости (одна – и ребенок умер – и с мужем разлучена – и Аля такая худая – и к тому же талантливая, кажется).

При первом же “жидовка” я бы подняла камень с мостовой – и убила (1920 г.).

Публикация черновых материалов из отпущенного наконец на свободу цветаевского архива дала пищу для некоторых – не знаю уж, как помягче выразиться, – еврейских сектантов-националистов присоединить Цветаеву к своей коллекции иллюстраций того, что все русские писатели – независимо ни от здравого смысла, ни от политических или этических убеждений, ни даже от личной порядочности – под влиянием “коллективного бессознательного” – способны выражать антисемитские предубеждения.

Любопытно, что один из авторитетных идеологов этого сектанства Майя Каганская, обвинившая всю культуру Серебряного века в зараженности антисемитизмом (“Выготский и евреи”, 1997), – ранее о Цветаевой писала:

Трагическое еврейство Цветаевой (ибо это именно еврейство, а не ленивая “еврейская тема в творчестве...”) – не... плод ее любви к Эфрону”, а “как раз обратное... Она полюбила Эфрона, потому что в нем увидела – еврея” (журнал “22”, 1990).

Думаю, что нельзя согласиться с Вероникой Лосской, которая в своей статье “Об одном парадоксе Марины Цветаевой” упрекает Цветаеву в ее готовности при случае любыми аргументами отбиваться от предположения, что она или даже ее муж Сергей Эфрон причастны к еврейству.

По культуре, языку, мировоззрению, вероисповеданию Сергея Эфрона так же, как Пастернака или Мандельштама, нельзя считать не русским. Тем более что его мать была русской дворянкой, а отец принял православие.

Но Марина Цветаева никогда не отказывалась от еврейского происхождения Эфрона – наоборот, даже гордилась этим.

Ее резкий протест в письме к П.Сувчинскому и Л.Карсавину объясняется ее нежеланием, чтобы еврейское происхождение Эфрона использовали как политический фактор.

Более чем наивно подозревать Цветаеву в попытках скрыть или отказаться от еврейской “прикрови” своего мужа.

Начиная переписку с В.В.Розановым в 1914 году, она спешит сообщить:

Прадед его с отцовской стороны был раввином... в Сереже соединены – блестяще соединены – две крови: еврейская и русская.

А в 1933 году в письме к Вере Буниной описывает свое знакомство с “польскими бабушками” (две двоюродные сестры ее матери и их мать):

Все они моим приездом были счастливы, очевидно почуяв во мне свою бернацкую, а не мейновскую (“немцеву”) кровь. Кстати, в полной невинности говорят “жиды”, а когда я... сказала, что в моем муже есть еврейская кровь – та старая бабушка (83 года. – Г.Г.): “А жиды – разные бывают”. Тут и я не стала спорить.

Кого только не обвиняли наши сектанты в антисемитизме! И Пушкина, и Л.Толстого, и Чехова, и Бунина, и Блока... не желая понимать, что русская литература вовсе не антисемитская – она просто не семитская.

Тридцать лет мы ждали открытия цветаевского архива. И вот только стали появляться публикации из него – сразу объявились и любители отыскивать антисемитский криминал, как раньше антисоветскую крамолу.

Да, не будем отрицать того, что у Марины Цветаевой есть выражения, которые нам, евреям, не по вкусу, особенно в черновых записях 19-20-х годов.

Особенно отличается покровительствуемый сектантами некий филолог Л.Кацис – так что, можно сказать, открылось новое направление – “кацисоведение”: не столько исследователи, сколько следователи.

Если говорить о нелিপеприятностях в адрес евреев, то больше всего лично мне приходилось и приходится их слышать, даже в Израиле, от самих же евреев – и от тех, которые вовсе не собираются отказываться от своего еврейства.

Марина Цветаева и “больной вопрос”, то есть еврейский вопрос, – это большая тема, подробный анализ которой еще впереди.

Но как ни стараются обличители опорочить поэта, им не удастся опровергнуть, что Марина Цветаева – поэт уникального отношения к евреям.

Она любила евреев и любима ими.

В завершение я хочу перечислить имена тех евреев, с которыми она дружила, переписывалась, которыми она посвящала стихи и поэмы.

Эфроны Сергей и Петр, С.Парнок, Я.Сакер, С.Чацкина, О.Мандельштам, Л.Каннегиссер, М.Минц, Б.Закс, И.Эренбург, Е.Ланн, Э.Миндлин, П.Антокольский, Б.Пастернак, А.Вишняк, М.Слоним, Г.Альтшуллер, А.Бахрах, Л.Шестов, И.Путерман, Е.Тагер, С.Липкин и др.

Афула, декабрь 2001

А.-Б.Иегошуа

СИОНИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ?

От переводчика:

Мы предлагаем читателям журнала перевод текста лекции, прочитанной известным израильским писателем, лауреатом Государственной премии по литературе, профессором Хайфского университета А.-Б.Иегошуа 8 июня 2002 года в Нацрат-Илите. Во встрече с писателем участвовала группа русскоязычных и ивритоязычных интеллектуалов из Северного отделения Союза русскоязычных писателей Израиля и литературного объединения под руководством писателя Марка Азова, слушатели семинара “Иудаизм и израильская культура”, действующего в рамках кафедры для олим в сотрудничестве с колледжем Мейтар Иерусалим (“Иудаизм как культура”), в городской библиотеке Нацрат-Илита под руководством профессора Моше Гохлернера.

Тема лекции “Сионистская революция - есть ли у нее продолжение?” привлекла внимание своей актуальностью на современном этапе развития израильского общества и государства. А.-Б.Иегошуа – автор переведенных на многие языки мира (в том числе на русский) романов “Любовник”, “Господин Мани” и появившегося в 2001 году романа-бестселлера “Освобождающая невестка”, который стал предметом широкого обсуждения в средствах массовой информации.

Писатель известен своим активным участием в теоретических дискуссиях, связанных с определением сущности еврейского государства, его демократического характера, сторонником гуманистического иудаизма и плюрализма в развитии израильской культуры, стимулирования расцвета всех аутентичных культур, привезенных олим из различных стран исхода, а также культур всех этнических групп израильского государства в общем потоке израильской культуры.

Высказанные в лекции идеи и мысли вызвали живой интерес слушателей. Не все соглашались с концепцией лектора, и в ходе лекции возникла живая дискуссия.

Предлагаемый перевод сделан по аутентичному ивритскому тексту, присланному автором для перевода на русский язык, с максимальным соблюдением стиля и содержания рассуждений автора.

Моше Гохлернер

В понятии “революция” содержатся два обязательных элемента. Во-первых, революция предполагает радикальное изменение жизненного порядка, системы ценностей, структуры власти и общественной идеологии. В этом выражается существенная разница между понятием “революция” и понятием “переворот” или “переход власти”. Переворот не предполагает внесения существенных изменений в общественный порядок, в существующие жизненные ценности. Он только приводит к смене властных структур. Переход власти подразумевает внесение изменений в общественное устройство демократическими средствами. Революция вносит глубокие и более радикальные изменения в основы власти, которые сложились на протяжении поколений. Отсюда вытекает второй обязательный элемент революций – наличие плана, направления новой программы устройства жизни общества, и в этом отличие революции от хаоса.

Эти два элемента обязательны, чтобы присвоить какому-нибудь общественному явлению такое важное понятие как революция. Нельзя слишком широко употреблять это понятие. Можно ли присвоить сионизму ранг революции? На первый взгляд, ответ должен быть положительным. По крайней мере, первый элемент в сионизме существует: он требует от еврейского народа радикального изменения образа жизни, общественных ценностей, изменения географической среды обитания: переезд из стран рассеяния в старую-новую страну – на Родину.

Но содержала ли сионистская революция и второй элемент? Другими словами, предложила ли сионистская революция новую программу жизненного устройства общества, как это сделали французская или коммунистическая революции? Здесь мы должны быть более осторожны, ибо настоящий сионистский идеал не предлагал, по сути, ничего качественно нового. Наоборот, он предусматривал возвращение к давнему прошлому по молитвенной формуле: “Обновляй дни наши, как это было в древности”. Сионизм не предложил новой программы для еврейской действительности, а в принципе требовал возвращения к состоянию, которое существовало тысячелетия тому назад. Нормализация еврейской жизни по вышеприведенной формуле означала

восстановление формы бытия еврейского народа, которая существовала в еврейской истории на протяжении сотен лет в прошлом.

Я, понятно, преувеличиваю и обостряю это свое различие. Между тем, что было в прошлом существовании еврейского суверенитета на определенной территории перед разрушением Второго Храма и тем, что по идеологии сионизма будет в будущем независимом еврейском государстве – две тысячи лет. Но если бы сионизм с помощью волшебной палочки смог вернуть все то, что было в прошлом, включая естественное развитие общества и эволюции цивилизаций, которые произошли с тех пор во всем мире (метафорически – автомобили вместо лошадей), он бы, по-видимому, усмотрел в этом хорошее осуществление своего идеала.

Я намеренно оперирую здесь реальным минимальным определением понятия “сионизм”, определением, которое я отстаивал во многих статьях и бесчисленных лекциях. Сионизм – это не единая идеология, а общая платформа для различных идеологий, иногда даже противоположных.

В еврейской энциклопедии понятие “идеология” определяется так: систематическое сочетание идей, понятий, принципов, представлений и действий, в котором находит свое выражение особое мировое приятие секты, партий и общественного класса. Сионизм не подходит под такое определение понятия “идеология”, ибо в сионизме объединились различные и даже противоположные мировоззрения, такие, например, как социалистическое и даже марксистское вроде “А-шомер а-цаир” и ультраортодоксальное типа “Агудат Исраэль” или национально-религиозное, либерально-буржуазное, социал-демократическое, националистическое, фашистское и т.д. Все партии во всем их многообразии, которые участвовали в сионистских конгрессах, были сионистского толка и общим во всех их намерениях было создание в Эрец-Исраэль еврейского суверенного государства, которое по своей сущности будет открыто для любого еврея, желающего присоединиться к нему. В то же время они резко различались между собой своими программами. Их программы были как бы добавлением к общей программе сионизма, а не основной частью последней.

Метафорически можно сформулировать так: сионизм – это лекарство для определенной формы еврейской болезни, называемой галутом. Однако больные отличаются между собой: ультрарелигиозные и просто религиозные, либералы и социалисты, националисты и буржуазные политики и где-то даже романтики-анархисты. Каждому из них нужна особая дозировка или мера разбавления лекарства сионизма, хотя в основе – это лекарство для всех.

Посмотрим, что в точности имелось в виду в призыве к возвращению еврейского суверенитета по формуле “Обновляй дни наши, как в древности”. Независимость еврейского народа в своей стране и со своим языком суще-

ствовала довольно длительный период, около тысячи лет во время Первого Храма и в период Второго Храма. И, несмотря на то, что перерыв между двумя этими периодами был очень коротким – примерно 60-70 лет, в еврейском историческом сознании время еврейского суверенитета справедливо делится на два отдельных периода: период Первого Храма и период Второго Храма.

Имела ли формула “Обновляй наши дни, как в древности” в виду возвращение к этим двум периодам или возвращение к одному из них и к какому из них?

Хотя первый период, период ТАНАХа, был самым важным в духовном плане и, может быть, также с точки зрения ценностей сионизма, главным образом, в связи с рассказами ТАНАХа и прорицаниями пророков, модель возвращения назад была больше связана с периодом Второго Храма, чем с периодом Первого Храма. Само понятие “возвращение в Сион”, которое служило базовым понятием сионизма, взято, по крайней мере лингвистически, из модели первого возвращения в Сион из Вавилонского плена (“Шиват Цион”). Кроме того, имеются по меньшей мере еще четыре дополнительные причины:

Этот период более известен и ближе к нам с исторической точки зрения.

В период Второго Храма уже существовало еврейское рассеяние вне Эрец-Исраэль. Мне думается, что самые радикальные сионисты не рассчитывали на то, что в XX веке “возвращение в Сион” охватит весь еврейский народ. Исходное предположение большинства сионистского движения допускало, что значительная часть народа будет продолжать жить в галуте, как во времена Второго Храма, особенно в странах с демократическим режимом, которые стали более терпимы по отношению к своим еврейским гражданам.

Понятие “еврей” в период Второго Храма, как оно сложилось после вавилонского плена, больше соответствует тому, как воспринимал себя еврей-сионист или как понимает слово “еврей” сионистское движение, в то время как в период Первого Храма понятие “еврей” было недостаточно четким.

На протяжении большей части периода Первого Храма существовали два еврейских государства – Иудейское царство и царство Исраэль, которые временами воевали друг с другом. Такое состояние, конечно, не могло служить подходящей моделью для идеала сионистской революции, предполагавшего объединение всего еврейского народа.

Таким образом, несмотря на то, что ТАНАХ являлся книгой, служившей важной основой сионистской революции, вдохновлявшей многих руководителей и мыслителей сионизма и, в первую очередь, основателя государства Израиль Давида Бен-Гуриона, настоящий идеал и реальные намерения сионизма ориентировались на модель Второго Храма, а не Первого.

Подводя итог нашим рассуждениям об определении понятий, мы можем сказать, что определение “революция” для сионистского движения преуве-

лично и не совсем точно, если сравнивать идеалы последнего с настоящими революциями, которые произошли в истории человечества. Ибо это не революция *вперед*, к чему-то новому, а революция *назад*, к чему-то такому, что уже существовало, по крайней мере в своей основной форме, много сотен лет назад.

Более того, в более глубоком смысле мечта о возвращении не была чуждой еврею и до сионизма, тогда как, например, коммунистические идеалы равенства собственности, национализации средств производства, “каждому по потребности, от каждого по способности” были чуждыми, новыми и революционными для русского и китайца. Мечта о возвращении в страну отцов и возобновлении еврейской государственности существовала фактически в той или иной мере в виде модели внутреннего избавления в сердце каждого еврея. Поэтому нельзя утверждать, что сионизм должен был совершить радикальную революцию в мыслях и ценностях еврея, как должны были делать другие исторические революции по отношению к народам своих стран.

Несмотря на это, мы употребляем понятие “революция” по отношению к сионистскому движению, и, с моей точки зрения, в определенном смысле это оправданно. Вопрос в том, сможем ли мы совершить эту революцию и довести ее до логического конца, если учитывать настоящий диагноз еврейской проблемы, как я намерен представить ее перед вами в дальнейшем.

По моему мнению, мы в определенном смысле вправе употребить понятие “революция” по отношению к сионизму, так как в своей глубокой основе сионизм имеет целью нормализацию положения евреев, а это требует революционного подхода к самому определению понятия “еврей”, то есть изменения, исправления или, по крайней мере, ослабления существенного внутреннего противоречия, которое есть в евреях, противоречия, которое вызывает постоянное опасное трение со всем миром. И этот вызов – большая проблема.

Парадоксальным образом можно сказать, что сионистской революции удалось осуществить себя (по моему мнению, частично) благодаря тому, что она совершалась революционерами, действовавшими вне гущи еврейского народа. Если бы они должны были действовать внутри еврейской действительности, возможно, им не удалось бы основать государство. В определенном смысле сионистская революция совершилась в стерильных лабораторных условиях вне действительности еврейской общины, вне постоянного взаимодействия с внутренними силами еврейского народа. Ультрарелигиозные, религиозные, реформисты, автономисты вроде Дубнова, ассимиляторы, социалисты образца Бунда или просто мещане, ищущие покоя, торпедировали бы, каждый по своей причине, сионистскую революцию и задушили бы ее в зародыше, если бы она должна была совершиться в Варшаве, Вильнюсе, Ковно или Берлине.

На что это похоже? Это было бы похоже на то, как если бы коммунистические революционеры совершили коммунистическую революцию для начала на уединенном пустующем острове вне русской действительности, вне полицейской власти, царского режима и господства церкви, и только после этого соблазнили бы русских людей или заставили остальную часть русского народа присоединиться к созданной ими революционной реальности. Еврейский народ не мог помешать сионизму, так как последний фактически был осуществлен в далекой необитаемой стране, где в начале прошлого столетия жило менее половины процента еврейского народа (а перед Катастрофой европейского еврейства в 1939 г. жило только 2,5% еврейского народа). С определенной долей иронии можно сказать, что сионисты могли совершить революцию для еврейского народа, поскольку во многих смыслах они действовали вне еврейского народа.

Если это так, что же представляет собой сионистская революция (в ограниченном смысле, как я раньше отметил) и почему она еще борется за свое существование (и не только из-за арабов)? Почему, например, она трагическим образом потерпела поражение в выполнении своей самой срочной задачи по созданию суверенного еврейского государства перед Катастрофой европейского еврейства, устрашающие признаки которой нависали над его существованием с самого начала зарождения светского националистического антисемитизма в конце XIX века? (Само понятие “антисемитизм”, как мы его знаем, было введено в общественно-политическую лексику Вильгельмом Шерером в Германии в 1880 году, то есть за несколько лет до возникновения понятия “сионизм”. Эти два понятия связаны неразрывной связью, о чем свидетельствуют история Герцля и суд над Дрейфусом).

Почему, несмотря на пессимистический диагноз по поводу положения евреев и срочную необходимость решения “еврейского вопроса”, многим евреям было так трудно присоединиться к сионистской революции?

Чтобы понять сущность сионистской революции и необходимые радикальные изменения, которые должны произойти в самой сути еврейской идентификации, следует понять и принять один простой принцип. Речь идет об известном всем историкам явном факте, хотя чем больше лет проходит, тем больше я убеждаюсь, насколько до сих пор трудно евреям согласиться с ним, ибо признание его означает признание в определенной мере своей моральной ответственности за свою горькую судьбу. Сформулируем это так: галут не является состоянием, навязанным еврейскому народу, а состоянием, избранным самими евреями.

Правда, выбор сложный, нелегкий, болезненный и опасный, который совершается, чтобы решить или, вернее, убежать от решения фундаментально-

го исходного конфликта еврейской самоидентификации, возникшего в результате единственного в своем роде соединения, начинавшегося или обозначившегося в виде сильного стремления еще в Синайской пустыне соединить особую этническую сущность с особой религией (хотя последняя содержит в себе дух универсальных мечтаний и намерений). Это соединение было, по сути, парадоксальным и конфликтным, это было двуполое соединение, в котором был неприятный моральный привкус, и неудивительно, что в последних поколениях оно постоянно вызывает замешательство у самих евреев, что приводит к недоразумениям, сопротивлению и вражде по отношению к евреям со стороны мира. И это вдобавок к другим известным причинам антисемитизма, связанным с ксенофобией, неприятием чужого, проникшего в живую плоть другого народа. Здесь стоит сравнить это с судьбой армян, у которых тоже есть специфическое соединение национального и религиозного, хотя в более умеренной форме, чем у евреев.

Почему я называю это конфликтом и парадоксом? Я коснусь этого вскоре. Вначале я попытаюсь доказать самым кратким способом тот факт, что галут не был навязан еврейскому народу, а был выбран им самим с начала своей истории. Я ограничусь несколькими известными фактами из огромного обилия многих других.

Во-первых, зарождение еврейского народа произошло в галуте, в Египте. Его дальнейшее сплочение совершилось в пустыне. Именно там был поставлен специфический опыт по слиянию религии и нации. Галут – это животворящее состояние для еврейской самоидентификации. Не много имеется народов (а может, таковых вообще нет), рождение и формирование национального самосознания которых происходило *вне* своей территории.

Через 40 лет после разрушения Первого Храма, после того как персидский царь Ксеркс в 538 г. до н.э. разрешил евреям вернуться в Сион, большая часть еврейской общины не вернулась из Вавилона, а предпочла остаться в изгнании по доброй воле. Тем самым они вызвали гнев и даже ненависть вернувшихся в Сион, ибо в Эрец-Исраэль последние чувствовали, насколько галут совращающая и опасная опция, которая началась в Вавилоне, а далее все усиливалась. Это было очень опасно, как сказано в Талмуде: “Если бы все как один вернулись из Вавилонского изгнания, не был бы разрушен Второй Храм”.

Действительно, на протяжении периода Второго Храма во всем древнем мире существовало еврейское рассеяние, которое охватило более половины еврейского народа, и это несмотря на то, что евреи могли жить в Эрец-Исраэль. Страна на протяжении довольно длительного времени была под еврейским суверенитетом и автономна, не говоря уже о том, что функционировал в Иерусалиме сам Храм.

В конце существования Второго Храма количество евреев в Иудее достигло по меньшей мере 2000000. Нет никаких доказательств, что римляне изгнали их. Каждый историк Второго Храма засвидетельствует, что после военного поражения и разрушения Храма не было и не могло быть изгнано такое большое количество людей. Правда очень проста: евреи по своей воле понемногу покинули свою страну и присоединились к еврейским общинам рассеяния, которые давно существовали. На протяжении долгих лет изгнания после падения Рима евреи не вернулись на родину, и это несмотря на то, что евреям никогда не запрещалось селиться в Эрец Исраэль, как, например, запрещалось им на протяжении довольно длительного времени в истории селиться в Италии, Франции, Англии и других странах, куда они упрямо стремились вернуться. Евреи жили во всем бассейне Средиземного моря и в странах Ближнего Востока, но только не в Эрец-Исраэль. После изгнания из Испании сотни тысяч евреев устремились в страны Средиземноморского бассейна, где они и поселились, только не в Эрец-Исраэль. Евреи жили в условиях различных цивилизаций, религий и режимов, только не в Эрец-Исраэль, где после разрушения Второго Храма шесть раз сменялись власти. Несколько примеров: в начале XIX века общее количество евреев в мире равнялось примерно двум с половиной миллионам, а в Эрец-Исраэль жило в это же время только 5000 евреев. В начале XX века количество евреев в мире достигло 17000000, из которых только 50000 жило в Палестине. В XIX веке в такой красивой стране с богатой культурой, как Афганистан, находилось 40000 евреев, а в далеком отсталом Йемене жило в это же время 100000, не говоря уже о том, что в Ираке, Египте, Польше, Румынии, Ливии, Марокко в Северной Африке жили сотни тысяч евреев.

Евреи не возвращались в Эрец-Исраэль не потому, что они были так привязаны к местам, в которых жили. История еврейского народа – это история непрерывных скитаний и больших миграций евреев. Евреи меняли родину (и продолжают это делать на наших глазах) точно так же, как израильские путешественники сегодня меняют гостиницы. Но именно Эрец-Исраэль, которая всегда считалась домом, а не гостиницей, не удостоилась визита вечного скитальца. Да, евреи выбрали галут не из-за “горшка с мясом” и не из соображений безопасности. Евреи были страшными бедняками во многих местах, жили под жестокими и опасными режимами, равных которым не было. Предпочтение галута – это результат глубокого выбора, невротический шаг, и он был сделан, как сказано, еще 2500 лет назад. Дело в том, что галут, несмотря на все опасности более и унижений, связанных с ним, помог евреям легче перенести парадоксальность и конфликтную ситуацию своей самоидентификации, ибо только в галуте мог существовать тот мощный *modus*

vivendi, status quo, то перемирие между двумя кодами – национальным и религиозным, когда каждый из них, по самой своей природе, имеет свой идеал и интерес, отличные от интереса другого и каждый из них хочет быть ведущим, первым и доминантным в жизни народа. Правда, борьба между религиозным и национальным кодами происходит и у других народов, но у них религиозный код не является специфичным только для данного народа, он общий для многих народов, поэтому его столкновение с особым национальным кодом не такое острое и болезненное.

Столкновение между религиозной и национальной идентификацией явилось причиной религиозного (а не национального) восстания, которое привело к разрушению Второго Храма и к грандиозной войне, которая предшествовала этому. Таким образом, руководствуясь чувством самосохранения, еврейский народ предпочел жить в том месте, где не требуется реальной еврейской суверенности, то есть в том месте, где еврей не может обладать настоящей властью над другим евреем, еврей, по сути дела свободен по отношению к другому еврею и может по своей воле распоряжаться своей самоидентификацией. Только так мог народ сохранить амбивалентность своей самоидентификации со всей ее парадоксальностью, без того чтобы саморазрушиться. Более того, в таком состоянии проблематичный двойной переплетенный фитиль национальной и религиозной идентификаций становится в галуте преимуществом, и, тем самым, он еще больше усиливает связь с еврейскостью, ибо сплетенный фитиль дает еврею возможность сохранять свою идентификацию на чужбине больше, чем представителю любого другого народа, который, отправляясь в изгнание, через определенное время теряет свою идентификацию.

Правда, цена выживания в галуте была страшной как с точки зрения большого объема глубокой ассимиляции, так и физического уничтожения евреев, достигшего своей вершины в XX веке.

В конечном итоге из четырех-пятимиллионного народа в конце периода Второго Храма к началу XVIII века остался только один миллион евреев. Даже если принять во внимание большие эпидемии в средние века, речь идет о том, что многие евреи на путях изгнания отпали от еврейства.

Я говорю о парадоксальности двух сторон еврейской сущности. Религия по самой своей природе, особенно если речь идет не о религии какого-то племени, а о религии универсального значения, которая послужила источником зарождения двух других великих универсальных религий, говорит о Боге всего мира, которому принадлежат небеса и земля, и в словах своих пророков дает предсказания о будущем всего человечества, – эта религия не может по своей сути остановиться на национальной границе. Она не может требовать

от присоединяющегося к ней отказаться от своей Родины, изменить своему народу и присвоить себе чужую национальность и другую родину для того, чтобы удостоиться религиозного спасения и настоящей моральной близости к Богу. К этому добавим, что при замене своей национальности на другую этот новый прозелит обязуется в соответствии с принципом “все евреи поручители друг друга” также идентифицироваться (солидаризироваться) с явными светскими евреями, которые вообще не придерживаются той еврейской веры, которая понравилась ему. Такое требование никогда не выдвигалось никакой другой универсальной религией – христианством, исламом, будизмом и другими конфессиями. Такого рода требование нелогично и, смею сказать, даже отдает вызывающим чванством, ибо вопросы веры и духовности должны быть открытыми и доступными каждому человеку, кем бы он ни был. От него можно потребовать, чтобы он принял на себя обязанность соблюдать новые обычаи и культовые отправления – мицвот “делай” и запреты “не делай”, но неверно и не стоит требовать от него, чтобы он ради этого поменял свою национальную идентификацию и Родину на другую национальную самоидентификацию и другую Родину.

С другой стороны, второй элемент парадокса, касающегося этого особого объединения национальности и религии, тоже является проблематичным, ибо по своей природе и сущности нельзя обусловить принадлежность к определенной национальности какой-нибудь верой или принятием какой-нибудь системы ценностей. *Принадлежность к определенному народу безусловна*. Так же как принадлежность к определенной семье тоже безусловна. Правда, кажется, было бы хорошо и приятно, если бы народ, к которому мы принадлежим, состоял только из людей, думающих и ведущих себя, как мы. Мне было бы хорошо и приятно, если бы налоги, которые я плачу, армейская служба, которую я отбываю, были бы в рамках общины людей, верующих, думающих и действующих, как я. Так же как я был бы доволен, если бы все члены моей семьи придерживались всех тех ценностей и верований, которых придерживаюсь я. Однако в реальности такого не бывает и не стоит требовать, чтобы было.

“Гитлер мой брат” – писал Томас Манн, великий немец, один из самых больших и наиболее настойчивых врагов немецкого фюрера и нацизма, хорошо зная, что если бы у Гитлера был сын, он, Томас Манн и его дети, должны были бы взять его под крыло своего народа, заботиться о его благополучии и воспитании. Принадлежность к определенному народу, как и к определенной семье, не зависит ни от каких условий. Даже изменника народа можно заключить в тюрьму или подвергнуть смертной казни, но нельзя лишить его национальности, так же как сын-убийца не перестает быть членом своей семьи.

Сионизм, который выбрал в качестве модели “революционного возвращения” модель Второго Храма, не намеревался затронуть и изменить основной парадокс, касающийся самого строения ДНК еврея. Он не пытался развязывать этот гордиев узел между религией и национальностью (а не только между религией и государством). Более срочные жизненно необходимые потребности мешали сионизму (хотя не некоторым из его мыслителей) даже попытаться заняться этой проблемой. Страх и ужас от усиливающегося конфликта между евреями и светской национальной самоидентификацией в Центральной и Восточной Европе отодвинули любое глубокое обсуждение как сущности добровольного пребывания евреев в галуте, так и революционной необходимости в корне изменить это.

“Если вы не уничтожите галут, галут уничтожит вас”, – так определил Жаботинский кратко и в одном предложении срочность сионизма. Поэтому, не вникая глубоко в суть “еврейского вопроса”, сионизм поспешил сделать все возможное, чтобы быстро нормализовать еврейское существование путем восстановлении еврейского суверенитета и независимости на определенном кусочке земли в Эрец-Исраэль. Жизненная необходимость в нормализации была на первом месте по срочности, более важной, чем любые другие выяснения. Поэтому период Первого Храма, когда существовало определенное разделение между еврейской религией и еврейской национальностью, евреи, которые не придерживались еврейской религии и занимались идолопоклонством, считались все-таки сыновьями Израиля (хотя это осуждалось пророками) не мог служить моделью мечты о новом возвращении, ибо такая модель могла оттолкнуть даже тех немногих, которые откликнулись на сионистский призыв.

Есть ли сегодня возможность продолжить сионистскую революцию в направлении мечты о возвращении к периоду самого ТАНАХа? Можно ли вернуться к месту, где было напряжение между религией и национальностью, но где тем не менее существовало хотя бы юридически разделение между двумя этими элементами? Можно ли по-новому заниматься разрешением этого существующего парадокса, который, с моей точки зрения, является корнем горького конфликта, имеющегося внутри нас, а также между нами и нашим политическим и географическим окружением? Это трудная и почетная задача, равной которой нет.

На первый взгляд уже в наши дни заметны первые бутоны возвращения к модели еврейской самоидентификации периода Первого Храма. Это двусторонний процесс идентификации, от которого происходят как наша специфика, так и наши беды.

Например, в последние 150 лет четко обосновалась среди большинства еврейского народа полная легитимность светского еврея, не соглашающегося

ся верить в еврейского Бога и его Тору. Более того, в последнее время мы в определенной мере признаем олим-христиан, прибывших из СНГ, которые воинскую присягу приносят на Новом Завете и это в то время, когда их самоидентификация с еврейским народом, как бы ни пытались подвергнуть ее сомнению, является их единственной национальной самоидентификацией, и конечно же, это относится и к их детям. Существует также, например, признание того, что вера в восточные религии, такие как буддизм, которым подвержены молодые евреи-израильтяне или американские евреи, не противоречит их еврейству.

С другой стороны, мы видим в галуте евреев Моисеевой религии или разного рода прозелитов в смешанных браках, которые все больше и больше утверждают, что их единственная национальная самоидентификация – это национальность народа того государства, в котором они живут: американская, канадская или французская, а вот их связи с еврейством все более ослабевают. Мы ведь не можем сказать, например, что ортодоксальный еврей Либерман, который был кандидатом в вице-президенты США и остальные евреи – члены Сената и Конгресса США или евреи – премьер-министры и министры в странах Европы имеют ту же еврейскую национальную самоидентификацию, как израильтяне или другие евреи в рассеянии.

Но это только отдельные проявления, и нельзя знать, предвещают ли они новый процесс, который будет развиваться дальше, или они останутся отдельным эпизодом в еврейской и израильской истории, в которой двойное переплетение фитиля национально-религиозной идентификации все время даже укрепляется.

Я не знаю, что скажет будущее. Нормализация части евреев достигла своей цели в создании еврейского государства, и этим, собственно говоря, закончился сионизм, и, с точки зрения сионизма, остался только закон о возвращении и все, что связано с ним, как остаток и след сионистского характера государства. (Кстати, закон о возвращении существует и у других народов как, например, у немцев, венгров и в будущем он будет существовать и в палестинском государстве, которое, я надеюсь, вскоре возникнет). Однако хочет ли и может ли радикальная сионистская революция, как ее понимали некоторые сионисты, реализовать себя до конца? Это ведь означает проникновение в глубины еврейской истории, чтобы попытаться внести медленные, осторожные и подконтрольные исправления в то, что было установлено как болезненное и противоречивое объединение у горы Синай.

Мы, народ, который демографически все время должен соизмеряться со своим окружением как в рассеянии или в галуте, так и в Эрец-Исраэль. Освобождение или медленный разрыв между национальной и религиозной иден-

тификациями, а не только между государством и религией, оставит иудаизм для многих евреев как важный элемент культуры и искусства в их самоидентификации как личности, хотя они сами могут принадлежать к другой религии (как, например, католицизм является важным эстетическим и культурным элементом в сознании французов, мусульман или евреев). Такой разрыв может привести к новым присоединениям к обеим частям классической еврейской сущности.

В мире будущего, в котором религия еще будет удовлетворять важную и реальную потребность сущности человека, существует, с моей точки зрения, большая вероятность возникновения новой тяги к еврейской религии, лишенной национальных ограничений или в намного более ослабленном их виде. Вследствие этого в ней могут раскрыться новые духовные источники, мистические, абстрактные, моральные без четкой и ясной связи с национальностью и эти элементы могут привлечь к себе многих из неевреев, которые сегодня ищут духовную пищу в глобальном технологическом мире.

С другой стороны, в Израиле, при посредстве израильской гражданственности, которая, к нашей общей надежде, будет все время усиливаться среди христианских и мусульманских меньшинств, возможен дополнительный шаг в сторону исторической еврейской сущности, как это случилось у других народов.

Это и есть великая задача в продолжении сионистской революции, и это не только жизненно важная задача для далекого будущего, но и завершение моральной задачи и требования, которые, с моей точки зрения, лежали в основе истоков сионизма – требовать от еврея осознать свою ответственность по отношению ко всем элементам еврейской действительности. Если речь идет о национальной самоидентификации, то идентификация, не обусловленная религией, открыта для любой веры, и это подходящее условие для любой национальной самоидентификации. Если же это касается религии, то это должна быть религия, открытая для представителей различных наций.

Я не наивен. Процесс начала ослабления юридической связи между религией и еврейским этносом – это процесс сложный, ни с чем не сравнимый, это сложная, трудная внутренняя операция, чреватая опасностью вызвать сильное сопротивление. Ее нужно совершать медленно, с большой осторожностью, чтобы не сломать сердцевину самой сущности еврейства. Но это может стать и большим благодеянием и открыть новые горизонты, так, как это случилось 200 лет тому назад благодаря легитимности признания евреев-атеистов. Поэтому, даже если эта работа будет продолжаться многие годы, стоит начать ее или, по крайней мере, начать думать о ней, и чем раньше, тем лучше.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АЗОВ Марк – писатель (драматург, прозаик, поэт, сценарист). Сатирик и юморист, автор произведений для Аркадия Райкина (в том числе наиболее популярные: “Количество-качество”, “Пирикур”, басни с прописными моральями – многие из них стали анекдотами, публиковались на 16-й полосе “Литературной газеты”). Пьесы М.Азова и фильмы по его сценариям идут в стране и за рубежом. Песни на стихи М.Азова писали композиторы Максим Дунаевский, Александр Флярковский, Александр Журбин и другие. Перу М.Азова принадлежат также повести и рассказы (в том числе фантастика и детектив), сказки для детей. В Израиле вышел сборник “Галктика в брикетах”.

Марк Азов родился в 1925 году на Украине. Участник Отечественной войны. Окончил филологический факультет Харьковского университета. С 1956 года – в Москве. С 1994 года – в Израиле. Председатель Северного отделения Союза русскоязычных писателей Израиля (СРПИ). Главный редактор журнала “Галилея”, автор и актер театра “Галилея”.

Живет в Нацрат-Илите.

БАТКИН Вильям – по образованию горный инженер. Автор стихотворных сборников “Надежда” и “Пойте песни о верности”. Последняя книга – сборник сонетов – вышла в Израиле. Член СРПИ.

Репатриировался из Харькова в 1996 г. Живет в Бейтар-Илите.

БОГОЛЮБОВ Ицхак – родился в гор. Чечерске (Белоруссия) в 1929 г. До войны жил в Гомеле, во время войны – в Восточном Казахстане и в гор. Иваново. В 1947 г. с золотой медалью закончил среднюю школу в Минске. В 1953 г. окончил Московский авиационный институт, откуда был направлен на завод оборонной промышленности в Ригу. В Риге прожил 19 лет. Занимался научными исследованиями, в частности руководил разработкой и внедрением первой в СССР системы управления промышленным объединением с помощью ЭВМ (компьютера). Преподавал экономику, экономическую кибернетику и производственную эстетику в Латвийском университете и в Институте повышения квалификации руководящих работников промышленности Латвии. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1972 г. репатриировался в Израиль. Работал в лаборатории исследования операций Министерства связи Израиля. В 1977 г. переехал в Южную Африку. Работал чертежником, инженером, консультантом по производительности труда и управлению экономическими объектами. В 1995 г. вернулся в Израиль, чтобы окончательно заняться литературой.

Публикуется в периодических изданиях Израиля и Австралии. Написал свыше ста пятидесяти сказок и майс (бытовых рассказов). Издал шесть книг сказок и майс, издает еще восемь книг.

Живет в Афуле.

БОГОСЛАВСКИЙ Марк – родился в Харькове, участник второй мировой войны, дважды ранен. Окончил Харьковский университет, филолог. Преподавал в Институте культуры, поэт, литературовед: три книги стихов и книга статей. Печатался в “Новом мире”, “Юности”, “Литературной Грузии”. В “Иерусалимском журнале” вышла подборка его стихов, в 2002 г. – сборник “Наука осени”. В Израиле с 2000 г.

Живет в Нетании.

ВАЛТОНЕН Лиля – по образованию биолог. Окончила Дальневосточный государственный университет. Работала в Биолого-почвенном институте АН СССР. Печаталась в периодике в Прибалтике и Израиле. Член литературного объединения “Галилея”.

Репатриировалась в 1994 г. из Эстонии. Живет в Нацрат-Илите.

ВЕЙЦМАН Марк – поэт, окончил Литературный институт им. Горького, автор стихов для детей “Мой папа ученик” (1975), “Счастливый билет” (1980), “Пора каштанов” (1983), “Шестой урок” (1985), “Спросите меня” (1988), “Понедельник – день веселый” (1989), “Лирические приключения” (1991), книг “Моление о памяти” (1995), “Репортаж из Эдема” (1998). В 2002 году вышла 10-я по счету книга лирики “Третья попытка”.

Член СРПИ, член Союза писателей СССР, член Союза писателей Украины. Член международного ПЕН-клуба, печатался в “Знамени”, “Юности”, “Неве”, “Огоньке”, “Радуге”, “Авроре”, “22”, “Иерусалимском журнале” и др. Лауреат литературной премии им. Б.Горбатова (1983).

В Израиле с 1996 г. Живет в Холоне.

ВЕКСЛЕР Суня (Александр Кузьминский) – родился в 1955 году на Камчатке. Жил и работал в Иваново. По профессии – инженер-механик. Один из руководителей литературного клуба “Аэлита”, член редколлегии самиздатского журнала и редактор литературного приложения к местной газете. Участник фестиваля любителей фантастики “Аэлита” в Свердловске и семинара писателей там же. Публикует стихи в местной прессе, в журнале “Галилея”. Член литературного объединения “Галилея”, Нацрат-Илит.

В Израиле с 1995 года.

ВИГУТОВ Александр – бывший бакинец, инженер-электрик.

В Израиле с 1991 г. Живет в Афуле.

ВЛАДИМИРОВА Лия (*Юлия Дубровкина*) – сценарист, драматург, прозаик, поэт.

Родилась в 1938 г. в Москве. Окончила сценарный факультет ВГИКа. В 1973 г. переехала с мужем Яковом Хромченко и дочерью Ириной в Израиль.

Автор пяти поэтических книг: “Связь времен” (Израиль, 1975), “Пора предчувствий” (Израиль, 1978), “Снег и песок” (Израиль, 1982), “Стихотворения” (Израиль, 1988), “Мгновения” (Москва, изд-во “Цветущий посох”, 1992).

Репринт книги стихов “Стихотворения” вышел в Москве, в изд-ве “Советский композитор” в 1990 г. с предисловием Фазиля Искандера, с выдержками из рецензий Валентины Синкевич, Ирины Одоевцевой, Василия Бетаки.

Почти вся книга стихов “Связь времен” перепечатана альманахом “Laterna magica”, Москва, изд-во “Прометей”, 1990 г.

Участница поэтической антологии “Свет двуединый” под редакцией Евгения Витковского, Москва, изд-во АО “Х.Г.С.”, 1996 г. и антологии “Строфы века – 2” Евгения Витковского.

В 1998 г. в апрельском номере журнала “Новый мир” напечатана большая статья Александра Солженицына “Четыре современных поэта”. Четвертый раздел этой статьи посвящен творчеству Лии Владимировой.

Автор книги прозы “Письмо к себе”, Израиль, 1985 г.

Печаталась в русской периодике Израиля, США, Франции, Германии.

Член СРПИ.

Живет в Нетании.

ВОГМАН Георгий – прозаик, поэт, автор рассказов, повестей “Падают осенние листья” (1964), “Всегда впереди” (1966), “Рожденное в 21-м” (1969), “Кавалер вечной славы” (1965), “Полинка” (1971), “Дорога к людям” (1986), “За последней чертой” (1993). Переведен на татарский, узбекский, чешский языки. Автор восьми киносценариев.

Лауреат премии чехословацкого журнала “Свет социализма” (1962). Специальная премия за лучший литературный сценарий на Всесоюзном фестивале документальных фильмов (1984). Лауреат международного Пушкинского поэтического конкурса (1-я премия, 1988).

Член Союза писателей СССР, член Союза журналистов СССР, член СРПИ.

В Израиле с 1995 г. Живет в Бней-Браке.

ВОЛОВИК Александр – поэт, прозаик, автор более десяти стихотворных сборников на русском языке и иврите, сборников рассказов, книги пере-

водов стихов Иегуды Амихая, двух антологий ивритской поэзии в переводе на русский язык и др. Член СРПИ.

В Израиле с 1976 г. Живет в Иерусалиме.

ГОЛЬДБЕРГ Анатолий – львовянин, крупный ученый математик, доктор наук, профессор Львовского университета. После репатриации работает в научно-исследовательском секторе Бар-Иланского университета.

В Израиле с 1997 г.

ГОРТ Вера – поэт, автор сборников стихов и переводов “Один плюс один не два”, “Эфемеры Галактиона Табидзе и Веры Горт”, “Псалмы царя Давида, жреца Асафа, трех Кораховых сыновей – певцов, Моше-пророка, царя Шломо, Эйтана-мудреца...”

Член СРПИ. В стране с 1973 года.

ГОРЧАКОВ (Эльштейн) Генрих – прозаик, литературовед, автор книги “О Марине Цветаевой. Глазами современника”. В Израиле выпустил книги “Л-1-105”, “Судьбой наложенные цепи”, “Тайны поэзии”. Член СРПИ, лауреат премии СРПИ (1996).

В Израиле с 1994 года. Живет в Афуле.

ГОРЧАКОВА-ЭЛЬШТЕЙН Лия – родилась в Москве, окончила Московский государственный педагогический институт. Филолог. Учитель русского языка и литературы. Публиковала статьи, очерки, эссе в “Учительской газете”, журналах “Столица”, “Литература в школе”. Публикуется в газетах “Новости недели”, “Вечерний Иерусалим”, “Индекс а-Галиль”, журнале “Галилея”. В 2001 году вышла книга Л.Горчаковой “В поисках собеседника”. Член литературного объединения “Галилея”.

В Израиле с 1994 года. Живет в Афуле.

ГОХЛЕРНЕР МОШЕ – профессор, автор более чем двухсот печатных работ и нескольких монографий, изданных Харьковским и Московским университетами. Родился в гор. Ровно, окончил Харьковский университет, заведовал кафедрой иностранных языков и психологии Харьковского сельскохозяйственного института. В настоящее время руководит семинаром культуры при библиотеке Нацрат-Илита, преподает в улпане.

ДАНИЛОВА Полина – знакома читателям по израильской периодической печати.

Репатрировалась в 1993 г. из Норильска. Живет в Нацрат-Илите.

ДИБНЕР Фаина – киевлянка, печаталась в журнале “Юность”, в израильской периодике, в альманахе “Роза ветров”. Выпустила сборник рассказов “Цыганочка с выходом”.

В Израиле с 1991 г. Живет в Нацрат-Илите.

ДОБИН Владимир – поэт, журналист, автор пяти книг, в том числе стихотворений и поэм “Христос” (1989), “Полдень” (1995), “Поздний свет” (1995), “Горькое вино” (1998). Член Союза журналистов СССР и Союза журналистов Израиля. Член международного ПЕН-клуба, член СРПИ. Лауреат премии Союза журналистов СССР.

В Израиле с 1992 г. Живет в Ришон ле-Ционе.

ЕЧМАЕВА Нина – родилась в Москве. Закончила Горьковский институт иностранных языков. Печатается в периодике, в 1998 г. выпустила сборник стихов “Поминальная свеча”, в 2000 г. – сборник “Элегия”.

Репатриировалась в 1993 г. Живет в Нацрат-Илите.

ЗАМСКИЙ Михаил – врач-терапевт. Родился в 1939 г. Окончил медицинский институт в Черновцах. Систематически начал писать стихи около трех лет назад, до настоящего времени не публиковался.

Репатриировался в 1979 г. Живет в Лоде.

ЗАРЕЦКАЯ Злата – театровед, доктор искусствоведения, руководитель Иерусалимского театрального клуба, автор книги “Феномен израильского театра” (1997) и многих статей об израильском театре. Член СРПИ.

В Израиле с 1990 г. Живет в Маале-Адумим.

ЗИЛЬМАН Виктор – родился в Киеве, закончил биофак Черновицкого университета по специальности физиология и психология. Кандидат наук, автор ряда научных работ, учебников и пособий. Печатается в местной прессе.

В Израиле с 1991 г.

ЗНАКОВСКАЯ Любовь – поэт, автор пяти книг, из которых четыре вышли в Крыму и Москве, а пятая – “С Кинеретом в обнимку” – в Израиле в 1999 г. Репатриировалась в 1997 г. из Симферополя. Была преподавателем русской словесности, мировой художественной культуры, педагогики, истории.

Живет в Твери, руководит литобъединением “Волны Кинерета”.

ЗОРИН (Бен-Натан) Фредди – родился в 1949 г. в Баку. Поэт и радиожурналист. Автор трех поэтических сборников – “Берег родного дома” (1995), “Близкая даль” (1997), “Долгий миг” (2000). Публикуется в израильских и зарубежных периодических изданиях. Член СРПИ.

В Израиле с 1990 г. Живет в Ашдоде.

ИЕГОШУА Алеф-Бет – родился в Иерусалиме в 1936 г. Окончил факультет литературы и философии Иерусалимского университета. Профессор Хайфского университета, почетный профессор Принстонского и Чикагского университетов.

Творчество А.-Б.Иегошуа разнообразно по жанрам (рассказы, романы, драматургические произведения, публицистика). Писатель удостоен многих

премий как в нашей стране, так и за рубежом. Среди них – премия Бялика и Государственная премия Израиля. В 2002 г. его роман “Овобождающая невестка” получил премию им. Сапира. Произведения А.-Б.Иегошуа переведены на 22 иностранных языка, в том числе на русский (романы “Любовник” и “Господин Мани”, а также многие рассказы).

Писатель принимает активное участие в обсуждении актуальных проблем еврейского народа, израильского общества и Государства Израиль.

ИТКИНСОН Владимир – родился в Санкт-Петербурге. Закончил факультет журналистики и филологии, работал редактором многотиражки. Участник второй мировой войны. Выпустил четыре книги очерков о ветеранах Великой Отечественной войны. Пишет стихи и рассказы.

Репатриировался в 1989 г. Живет в Нацрат-Илите.

КАЛИНЕЦ Елена – родилась в Киеве, окончила Киевский институт культуры, работала инструктором по культурной работе в ДК Института гражданской авиации. Пишет стихи и песни. Печаталась в газете “Индекс а-Галиль” Член литературного объединения “Галилея”.

В Израиле с 1991 г. Живет в Нацрат-Илите.

КЕРЛЕР Иосиф (1918-2001) – израильский поэт, писавший на языке идиш. Детские годы провел в Крыму, в еврейском колхозе. Учился в Одесском машиностроительном техникуме, посещал литературную студию. Печататься начал с 1935 г. Учился в театральной студии при ГОСЕТе. Воевал, был трижды ранен. В 1947 г. приехал в Биробиджан. В 1950 г. был арестован за “еврейский буржуазный национализм”, освобожден в 1955 г. Со временем начал печататься в израильских и американских газетах на идиш. Боролся за выезд в Израиль. Репатриировался в 1971 г. Издал ряд стихотворных сборников.

КОГАН София – по профессии инженер-конструктор, строитель. Бывшая одесситка. Печатается в газете “Индекс а-Галиль”.

Репатриировалась в 1992 г. Живет в Афуле.

КОЛГАНОВ (Фридлянд) Леонид – поэт, автор книг “Осеннее очищение” (1989), “Бесснежные метели” (1991), “Пламя суховея” (1995), “Слепой рукав” (поэмы, 1996) и др.

В Израиле с 1992 г. Живет в Кирьят-Гате.

КРАСНОГОРОВ (Файнберг) Валентин – драматург, публицист, автор пьес “Настоящий мужчина” (1976), “Кто-то должен уйти” (1978), “Несколько часов из жизни мужчины и женщины” (1984), “Собака” (1998), “Прелести измены” (1989), “Этот слабый женский пол” (1990), “Давай займемся сексом” (2002) и др. Книги “Подражание молниям” (1988), “Юстус Либих” (1984), “Четыре стены и одна страсть” (1997).

Член Союза писателей СССР, член Союза театральных деятелей СССР, член СРПИ.

В Израиле с 1991 г. Живет в Хайфе.

КРЕМЕНЧУГСКИЙ Петр – киевлянин, по образованию юрист. Впечатления Великой Отечественной войны, жизни в Грузии, Азербайджане, Туркмении и других местах легли в основу его рассказов. Публикуется в периодической печати.

В Израиле с 1994 г. Живет в Нацрат-Илите.

КРЕСТИНСКИЙ Александр – родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в 1928 г. Закончил философский факультет ЛГУ. Работал учителем психологии, логики и русского языка, затем – в редакции детского журнала “Костер”. Выпустил более 15 книг прозы и стихов для детей. Первый сборник лирических стихов “Отзовется душа” вышел в свет в 1990 г., второй – “Тихий рокер” в 1993-м. Третья и последняя в России книга “Нищие неба” – в 1997 г. Недавно закончил книгу стихов “Дорога на Яффо”. Член Союза писателей СССР, член СРПИ.

В Израиле с 2000 г. Живет в Бат-Яме.

ЛЕВИН Михаил – родился в Москве, детство прошло на Арбате. Сын Нохима Левина, главного редактора ЕАК (Еврейского антифашистского комитета), расстрелянного в Лефортовской тюрьме в 1949 г. Мать репрессировали, М. Левина отправили в детскую тюрьму – Даниловский монастырь, через год – в сибирскую ссылку.

Стихи пишет с 14 лет. Печатался в Москве, Риге, Норильске, в Израиле. Участвовал в художественных выставках в Риге, Хайфе, Иерусалиме.

ЛЕВИН Ханох – известный израильский писатель и драматург, начавший свою творческую жизнь в начале 70-х гг. прошлого века. Лауреат многочисленных литературных премий. Его произведения переведены на многие языки. Наиболее полное собрание сочинений Хануха Левина насчитывает шестнадцать томов. Вниманию читателя представляются произведения, не вошедшие в число опубликованных. Это несколько последних рассказов из наследия Хануха Левина, а также и один из самых первых, заново отредактированный Менахемом Пери согласно начальной рукописи автора. Рассказы опубликованы в сборнике “Новая антология” (издательство “Киббуц ха-меухад”, Тель-Авив, 2000).

ЛЕВИНЗОН Рина – поэт, автор многочисленных стихотворных сборников. Переведена на арабский, иврит, немецкий. Лауреат литературной премии им. Рафаэли, лауреат первой премии на 13-м Международном конгрессе поэтов. Член СРПИ. Член международного ПЕН-клуба.

В Израиле с 1976 г. Живет в Иерусалиме.

ЛЕЗИНСКИЙ Михаил – автор сорока книг, член Союза писателей Крыма, член Союза русских, украинских и белорусских писателей, член Международного сообщества писательских союзов, член СРПИ.

Заместитель председателя по прозе Союза русскоязычных писателей Хайфы и Севера, председатель литературного объединения “Рыжий дельфин” (“Дольфин джиджи”). Дипломант премии им. Льва Толстого (Севастополь); неоднократный победитель всеукраинских конкурсов на короткий рассказ.

В Израиле с 1996 г. Живет в Хайфе.

ЛЕЙДЕРМАН Юрий – поэт, автор трех сборников стихов. Член литературного объединения “Рыжий дельфин”.

В Израиле с 1992 г. Живет в Хайфе.

ЛУНИНА (Каплан) Людмила – поэт, автор стихотворных сборников “Огонь в ночи” (1982), “Станный сом” (1986), “Страна души” (1989). Член Союза писателей Казахстана, член Союза журналистов Казахстана, член СРПИ.

В Израиле с 1997 г. Живет в Кирьят-Гате.

ЛУРЬЕ Люба – переводчик с иврита. В Москве работала научным сотрудником Института психиатрии. Член литературного объединения “Рыжий дельфин”.

В Израиле с 1991 года. Живет в Хайфе.

ЛЮБАРСКИЙ Роман – по образованию учитель-словесник, по профессии – журналист. Публикации в журналах “ArtLine”, “Ренессанс”, “Склянка Часу”, “Всесвітня література в середніх навчальних закладах України” (Харьков, 1998), “Скифия” (Канев, 2000). Автор двух поэтических сборников: “Время звезд и дождей” (1995), “О природе любви” (1998).

Живет в Иерусалиме. В 1998-1999 гг. жил в Верхней Галилее, в кибуце Кфар ха-Наси.

ЛЮКСЕМБУРГ Григорий – поэт, прозаик, автор книг “Стихи и проза” (1975), “Ворота Газы” (1985), переводов с иврита Ури-Цви Гринберга.

В Израиле с 1972 г. Живет в Иерусалиме.

МИНАКОВ Станислав – поэт, переводчик, критик. Родился в 1959 г. в Харькове, окончил Харьковский институт радиоэлектроники. Публикуется с 1981 г. в Харькове, Киеве, Москве, Вильнюсе и т.д.

Выпустил четыре книги стихов и переводов из английской поэзии. Член национального Союза писателей Украины. Живет в Харькове.

МИНКИНА Елена – по профессии врач, работает в Хайфе. Автор книги “Пройдет 100 лет”, опубликованной в Москве. Член хайфского литературного объединения “Рыжий дельфин”. Член СРПИ.

МИРОШЕНСКИЙ Даниил (Дани) – поэт, бард, член СРПИ. Родился в Молдавии, закончил пединститут. Спортсмен, тренер по гребле. Печатался в журналах “Кодры”, “Колумна”, “Горизонт” (Кишинев), в коллективном сборнике “Дельтаплан”. Тренирует команду гребцов на Кинерете. Лауреат первого фестиваля авторской песни в Иерусалиме. В 1998 г. публиковался в альманахе “Ветка Иерусалима”, выступает в программах радиостанции “РЭКА”, печатается в периодике, выпустил книгу стихов “Поднять якоря”.

В Израиле с 1990 г. Живет в Мигдаль ха-Эмеке.

НАДЕЛЬ Леон – очеркист, автор эпиграмм, “лимериков”, палиндромов, афоризмов, публикуемых в газетах, журналах, приложениях “Бэсэдэр?” и “Семь сорок”.

По профессии инженер-электрик.

Репатриировался из Харькова в 1990 г. Живет в Афуле.

НАРЫЖНЫЙ Виктор – родился в Херсоне. Кадровый военный, офицер МВД. За 20 лет службы (1973-1993) побывал и на юге, и на севере – от Афганистана до Норильска. После выхода в отставку и до репатриации в 1995 г. жил в Умани. В Израиле издал два романа “Проклятые евреи” и “Не верь, не бойся, не проси”, которые относит к жанру триллера. Сейчас работает над философским детективом “Упокой душу мою”. Все три произведения опираются на фактический материал.

Живет в Нацрат-Илите.

НИЭЛЬ (Нелли Глузман) – родилась в Ташкенте. Училась на биофаке Ташкентского университета. С 1991 г. живет в Иерусалиме, окончила Иерусалимский университет. Пишет стихи. Первая публикация – в московском журнале “Юность” (2002, № 6). Публикуется также в интернете.

ОЗЕРОВСКАЯ Нехама – репатриировалась в Израиль из Одессы в 1991 г. Учительница русского языка и литературы. Стихи печатала в периодике. В Израиле издала сборник “Я не пишу стихов о юности”.

Живет в Кирыат-Яме.

ПАПЕРНИКОВ Иосиф – израильский поэт, писавший на идиш. В 1924 году приехал в Эрец-Исраэль, работал на стройках. С 1929 по 1933 гг. жил в Польше, затем окончательно вернулся на историческую родину. Боролся за развитие идишской литературы и равноправие идиша и иврита. Был связан с сионистским рабочим движением, стал поэтом трудового Израиля. Опубликовал более 20 сборников стихов, перевел на идиш С.Есенина.

ПАРЧИНСКАЯ Анна – харьковчанка, закончила Калининградский технологический институт, по образованию инженер-конструктор, работала библиотечкарем, печаталась в российских журналах “Смена” и “Библиотечкарь”, в местной печати. Репатриировалась в 1990 г.

ПОЛОГОНКИН Юрий – приехал в Израиль из Москвы. Журналист. Образование высшее. Работал редактором-консультантом Агентства печати Новости, комментатором радио и телевидения, корреспондентом газеты “Советская культура”. Автор книг “Прогулки по Нацрат-Илиту с Менахемом Ариавом”, “Колымский преферанс”, “Евреи разных национальностей”.

Живет в Нацрат-Илите.

РАБКИН Борис – поэт и бард. Родился и жил на Украине, закончил Харьковский политехнический институт. Публикуется в периодической печати.

В Израиле с 1996 г. Живет в Нацрат-Илите.

РЕАК-ГОФШТЕЙН Анна – поэт, прозаик, журналист. Жила и работала в Донецке. Репатриировалась в 1991 г. Печатается в израильской периодике. Готовит к изданию книгу прозы “Дорога на родину”. Член редакционной коллегии (ответственный секретарь) журнала “Галилея”. Возглавляет культурный центр репатриантов в Нацрат-Илите, где и живет.

РОЗЕНБЕРГ Борис – инженер-физик и инженер-строитель, закончил Ленинградский технологический институт и Московский институт стали и сплавов. Служил в Советской Армии, работал начальником локаторной станции. Стихи пишет с 1970 г. Печатался в газетах, в издательстве Томского университета.

В Израиле с 1994 г. Участник поэтического театра в Кирьят-Гате. С 2001 года живет в Иерусалиме.

РОНКИН Михаил – поэт, автор четырнадцати сборников стихотворений, из них пяти сатирических – в соавторстве с Эммануилом Прагом. Более четверти века занимался переводами на русский язык стихов киргизских поэтов. В Израиле, куда приехал в 1993 г., выступает преимущественно как публицист, печатается в русскоязычной прессе. Член Союза писателей СССР, член СРПИ.

Живет в Афуле.

СЕЛИССКИЙ Александр – прозаик, поэт, автор сборника рассказов и повестей “Поймать муху” (1996).

В Израиле с 1993 г. Живет в Акко.

СУПОНИЦКИЙ Юрий – родился в Черновцах, закончил мединститут в Тюмени. Служил в ЦАХАЛе. Работает по специальности. Публикует стихи и прозу в израильской русскоязычной периодике. В 1998 г. выпустил книгу стихов “Возвращаясь, всегда забываешь”, в 2001-м – “Откровения осени”. Член редакционной коллегии журнала “Галилея”. Член СРПИ.

В Израиле с 1990 г. Живет в Афуле.

СУСЛЕНСКИЙ Яков – общественный деятель, автор книги воспоминаний “Я жил в XX веке”. Окончил Одесский институт иностранных языков, преподавал английский в Молдавии и на Украине. С 1970 по 1977 гг. отбывал наказание “за антисоветскую пропаганду и агитацию” в мордовских лагерях и Владимирской тюрьме. В Израиле – с 1977 г. Организатор и руководитель Общества еврейско-украинских связей (за что президентом Украины ему присвоено в 1993 г. звание заслуженного деятеля культуры Украины), член Всемирного конгресса еврейских общин.

Живет в Иерусалиме.

ТУМАНОВА Зоя – поэт, прозаик-фантаст, эссеист и переводчик. Окончила Среднеазиатский университет, филолог. Член Союзов писателей СССР и Узбекистана. 20 своих поэтических книг – и множество в ее переводах с узбекского. Публиковалась в Москве и за пределами СССР. Печатается в журнале “Звезда Востока”, в газете “Правда Востока”, выступает по радио. Почетный председатель Ахматовского клуба “Мангалочий дворик”. Живет в Ташкенте.

ФИШЕЛЕВА Анна (1923-2001) – участница второй мировой войны. Училась в Харьковском университете, была литредактором и библиотечным работником. В Израиль репатрировалась в 1994 г. Жила в Нацрат-Илите. Публиковалась в периодике, выступала на радио РЭКА. В 1997 г. выпустила сборник стихов “Дожди. Деревья”. В 2001 г. посмертно вышел сборник “Города. Дороги”.

ФРИДБЕРГ Грегори – родился на Алтае, жил в Литве. Член президиума Сионистского форума. Фотохудожник. Работал в Союзе художников Израиля, позднее – медицинским фотографом в больнице “Ха-Эмек” в Афуле. Был представлен на шестнадцати индивидуальных и групповых художественных выставках. Один из инициаторов издания и член редакционной коллегии журнала “Галилея”. Пишет стихи и прозу.

В Израиле с 1979 г. Живет в Нацрат-Илите.

ХРОМЧЕНКО Яков – режиссер, сценарист, драматург, прозаик, поэт.

Родился 15 марта 1924 г. в Одессе, с малых лет жил в Москве. Московскую среднюю школу окончил 14 июня 1941 г. В 1943 г. закончил Подольское артиллерийское училище, после чего был направлен на фронт, на передний край. Командовал взводом 45-мм противотанковых пушек. После одного легкого и трех тяжелых ранений в боях на Днепровском плацдарме, после многих операций и долгих месяцев госпиталей поступил в октябре 1944 г. во ВГИК на режиссерский факультет и в том же месяце был арестован по обвинению в попытке создания в стенах госпиталя молодежной антисоветской организации.

Пробыл в тюрьмах, в лагерях и ссылке, которая должна была быть *вечной* (в городе Инта Коми АССР) 12 лет. В 1956 г. реабилитирован: “Приговор отменить и дело прекратить за отсутствием состава преступления”.

В том же году вернулся в Москву и вновь поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который и окончил в 1961 г. В 1963 г. снял художественный фильм “Шурка выбирает море” по сценарию Юлии Дубровкиной.

В 1973 г. вместе с женой Юлией Дубровкиной и дочерью Ириной переехал в Израиль. В 1975 г. в Израиле снял документальный фильм “Дети ГУЛАГа” – о бывших и настоящих политзаключенных советских тюрем и концлагерей.

Публиковался в русской периодике в Израиле, США и Германии. Один из авторов сборника “Поэзия в концлагерях”. Участник антологий “Строфы века – 1” и “Строфы века – 2”.

В 1998 г. в Иерусалиме, в изд-ве “Скопус”, вышла в свет книга стихов Якова Хромченко “Берез весеннее вино”. (Автор предисловия “В ожидании чуда” – Елена Аксельрод.)

Член СРПИ. Живет в Нетании.

ЦИВИН Роман – жил во Львове, окончил Львовский университет, кандидат филологических наук. Журналист, корреспондент радио РЭКА, литературовед. Член редакционной коллегии журнала “Галилея”.

В Израиле с 1990 г. Живет в Нацрат-Илите.

ШАБТАЙ Яков – израильский писатель, почитаемый читателями и критикой. Известен прежде всего как мастер короткого рассказа с характерным для него стилем, а также как автор двух романов, вышедших в свет в 1997 и 2000 годах.

ШМИДТ Лия – родилась в Киеве в 1983 г. По окончании школы поступила в “Михлелет Эмек Исраэль” на факультет социологии. В 1999 г. примкнула к движению ролевиков, поклонница творчества английского писателя Дж.Р.Р.Толкиена и мира Арды, описанного им. В фэндоме известна как Эланор Гэмджи, хоббит. Ее работы есть на многих интернет-сайтах и сетевых журналах, посвященных ролевому движению.

Вместе с родителями репатрировалась в Израиль в 1993 г. Живет в Нацрат-Илите.

ЯБЛОНСКАЯ Дора – родилась в Риге, по работе занимается бухгалтерским учетом, для души – поэзией и Каббалой.

В Израиле с 1990 г. Живет в Кирьят-Моцкине.

СОДЕРЖАНИЕ

“Я ДЕРЕВОМ БЫЛА...”

Памяти Анны Фишелевой. Стихи и воспоминания 3

Елена Минкина

ПОЛАНИЯ. Повесть 22

“И ВСЕ-ТАКИ ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЖИТЬ...”

Стихи и переводы Рины Левинзон и Александра Воловика 41

Анна Реак-Гофштейн

ХАМСИН. Повесть 47

“ИЩУ ДОРОГУ, ЧТО ВЫВОДИТ К БОГУ...”

**Стихи Суни Векслера, Юрия Лейдермана, Романа Любарского,
Леонида Колганова, Бориса Розенберга, Михаила Ронкина,
Любови Знаковской 71**

Марк Азов

**ЖИТИЕ ВАЛААМОВОЙ ОСЛИЦЫ,
РАССКАЗАННОЕ ЕЮ САМОЙ. Рассказ 81**

“СТРАНА МОЯ...”

**Стихи Владимира Добина, Фредди Зорина,
Григория Люксембурга 97**

Лия Горчакова-Эльштейн

В ПОИСКАХ СОБЕСЕДНИКА. Письма. Продолжение 104

“А ДАТЫ... КАК СОЛДАТЫ...”

Стихи Лии Владимировой и Якова Хромченко 131

Ицхак Боголюбов

ЖЕЛЕЗНАЯ КОЖА. Рассказ 139

Зоя Туманова. Стихи 144

**Валентин Красногоров (Файнберг)
ПРЕПАРАТ-3. ВЫБОР. Рассказы 146**

“ЭТО СТРАННО...”

**Стихи Виктора Зильмана, Юрия Супоницкого,
Дани Мирошенского, Нины Ечмаевой, Полины Даниловой,
Елены Калинец, Лили Валтонен, Лии Шмидт.
Стихи Иосифа Паперникова и Иосифа Керлера
в переводе с идиш Владимира Иткинсона 155**

**Яков Шабтай
ПРОТОКОЛ. Рассказ
Перевод с иврита Любы Лурье 169**

**Ханох Левин
НЕСКОЛЬКО КОРОТКИХ РАССКАЗОВ
Перевод с иврита Любы Лурье 177**

**Вера Горт
СТИХИ И ПСАЛМЫ 183**

**Анатолий Гольдберг
ПИСЬМА И.В.ОСТРОВСКОМУ
Предисловие Романа Цивина 189**

**“Я ЖИЛ В ЭПОХУ ЛОШАДЕЙ...”
Стихи Марка Богославского, Марка Вейцмана,
Александра Крестинского, Михаила Левина,
Александра Селисского 216**

**ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ
Рассказы Петра Кременчугского,
Якова Сусленского, Фаины Дибнер, Георгия Вогмана 226**

“В СЕБЯ ЗАГЛЯНЕМ...”

**Стихи Нехамы Озеровской, Ниэли, Михаила Замского,
Доры Яблонской, Людмилы Луниной 242**

Юрий Пологонкин

ТЕНИ ЭМИГРАЦИИ. Путевые заметки 248

Михаил Лезинский

**ПРОЩАЛЬНЫЕ ГУДКИ НАД ГРАФСКОЙ ПРИСТАНЬЮ
Очерк 273**

Фредди Зорин (Бен-Натан)

**КОГДА СМЕХ – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Воспоминания 285**

Борис Рабкин

ТЕАТР. Венок сонетов 289

Злата Зарецкая

МЕТАТЕАТР НАШЕГО ВРЕМЕНИ 296

Генрих Горчаков

“ЖИЗНЬ – ЭТО МЕСТО, ГДЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ” 303

Алеф-Бет Иегошуа

**СИОНИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ –
ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ?
Очерк: 309**

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 322

